

ISSN 2225-5346  
e-ISSN 2686-8989

**БФУ** БАЛТИЙСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА

**IKVUFU** IMMANUEL KANT  
BAL TIC FEDERAL  
UNIVERSITY

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:  
BAL TIC ACCENT

2025

Том 16  
Vol.

№ 3

ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: PRAGMALINGUISTICS:  
В ПОИСКАХ СИНТЕЗА IN SEARCH OF SYNTHESIS  
СЛОВО — КУЛЬТУРА — ЭПОХА WORD — CULTURE — EPOCH

Издательство Immanuel Kant  
Балтийского федерального Балтийского федерального  
университета им. Иммануила Канта Press  
2025

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ  
АКЦЕНТ  
2025  
Том 16  
№ 3

Калининград :  
Изд-во БФУ  
им. И. Канта, 2025.  
230 с.

Учредитель  
Балтийский  
федеральный  
университет  
им. Иммануила Канта

Редакция  
Адрес: 236041, Россия,  
Калининград,  
ул. А. Невского, 14

Издатель  
Адрес: 236041, Россия,  
Калининград,  
ул. А. Невского, 14

Типография  
Адрес: 236001, Россия,  
Калининград,  
ул. Гайдара, 6

Издание  
зарегистрировано  
в Федеральной службе  
по надзору  
в сфере связи,  
информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций.  
Свидетельство  
о регистрации  
СМИ ПИ  
№ ФС77-46308  
от 26 августа 2011 г.

*Редакционная коллегия*

*Михаил Васильевич Ильин*, доктор политических наук, профессор, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия) — главный редактор; *Сурен Тигранович Золян*, доктор филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — главный научный редактор; *Алексей Николаевич Черняков*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — ответственный редактор; *Наталья Сергеевна Автономова*, доктор философских наук, Институт философии РАН (Россия); *Наталья Михайловна Азарова*, доктор филологических наук, Институт языкознания РАН (Россия); *Хенрик Баран*, Университет штата Нью-Йорк (Нью-Йорк, США); *Томас Венцлова*, профессор, Йельский университет (США); *Димитр Веселинов*, доктор филологических наук, профессор, Софийский университет им. Святого Климента Охридского (Болгария); *Ив Гамбье*, доктор лингвистики, профессор, Университет Турку (Финляндия); *Стефано Гардзонио*, Пизанский университет (Пиза, Италия); *Игорь Николаевич Данилевский*, доктор исторических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Валерий Закиевич Демьянков*, доктор филологических наук, профессор, Институт языкознания РАН (Москва, Россия); *Вера Ивановна Заботкина*, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (Россия); *Николай Николаевич Казанский*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия); *Максим Анисимович Кронгауз*, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Александр Васильевич Лавров*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт русской литературы РАН (Россия); *Иван Борисович Микиртумов*, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия); *Владимир Александрович Плунгян*, доктор филологических наук, академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Россия); *Джеймс Расселл*, профессор, Гарвардский университет (США), Иерусалимский университет (Израиль); *Игорь Витальевич Силантьев*, доктор филологических наук, Институт филологии СО РАН (Россия); *Игорь Павлович Смирнов*, профессор, Констанцский университет (Германия); *Питер Стайнер*, профессор, Университет Пенсильвании (США); *Су Кван Ким*, Университет иностранных языков Хангук (Сеул, Южная Корея); *Григорий Львович Тульчинский*, доктор философских наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Татьяна Валентиновна Цвигул*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия); *Цзиньлин Ван*, Чанчуньский университет КНР (Чанчунь, Китай); *Татьяна Владимировна Черниговская*, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, а также индексируется в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, Scopus, ядре РИНЦ.



Дата выхода в свет 03.09.2025 г.

© БФУ им. И. Канта, 2025

SLOVO.RU:  
BALTIC ACCENT  
2025  
Vol. 16  
№ 3

Kaliningrad :  
I. Kant Baltic Federal  
University Press, 2025.  
230 p.

*Founders*

Immanuel Kant Baltic  
Federal University

*Editorial office*

14 A. Nevskogo St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236041

*Address*

14 A. Nevskogo St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236041

*Publishing house*

6 Gaidara St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236001

The opinions expressed  
in the articles are private  
opinions of the authors  
and do not necessarily  
reflect the views  
of the founders  
of the journal

Mass Media  
Registration Certificate  
PI № FS77-46308,  
on 26 August, 2011

*Editorial board*

Prof. *Mikhail V. Ilyin*, National Research University Higher School of Economics (Russia) – Editor-in-Chief;  
Prof. *Suren T. Zolyan*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Scientific Editor; Dr *Alexey N. Chernyakov*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Executive Editor-in-chief;  
Prof. *Natalia S. Avtonomova*, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Nataliya M. Azarova*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Henryk Baran*, State University of New York Albany (New York, United States); Prof. *Tatiana V. Chernigovskaya*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Igor N. Danilevskii*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Valerii Z. Demyankov*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); Prof. *Yves Gambier*, University of Turku (Finland); Prof. *Stefano Garzonio*, Università di Pisa (Pisa, Italy); Prof. *Nikolai N. Kazansky*, academician, the Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistic Research (Saint Petersburg, Russia); Prof. *Soo Hwan Kim*, Hankuk University of Foreign Studies (Seoul, South Korea); Prof. *Maxim A. Krongauz*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Alexander V. Lavrov*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Ivan B. Mikirtumov*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Vladimir A. Plungyan*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, V.V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *James R. Russell*, Harvard University (USA), the Hebrew University of Jerusalem (Israel); Prof. *Igor V. Silant'yeo*, Institute of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Igor P. Smirnov*, University of Konstanz (Germany); Prof. *Peter Steiner*, University of Pennsylvania (United States); Dr *Tatyana V. Tsoigun*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia); Prof. *Grigorii L. Tulchinskii*, St. Petersburg School of Social Sciences and the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Tomas Venclova*, Yale University (USA); Prof. *Dimitar Vesselinov*, Sofia University 'St. Kliment Ohridski' (Bulgaria); Prof. *Jinling Wang*, Changchun University (Changchun, China) Prof. *Vera I. Zobotkina*, Russian State University for the Humanities (Russia)



© Immanuel Kant Baltic  
Federal University, 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i> .....	6
ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: В ПОИСКАХ СИНТЕЗА	
<i>Ильин М. В.</i> Прагматика семиозиса и оязыковления .....	7
<i>Шмелев А. Д.</i> Еще раз о феномене прагматической обязательности .....	30
<i>Кобозева И. М.</i> Коннекторы – штатные сотрудники в Дискурсе и совместители в Прагматике .....	40
<i>Ирисханова О. К.</i> Когнитивная прагматика как прагматика полимодальная: анализ интерсубъективного позиционирования в устном диалоге .....	54
<i>Bondareva L., Budarina A.</i> The phenomenon of heterogeneity of the speech subject in German retrospective discourse .....	73
<i>Радбиль Т. Б.</i> Имплицитная оценочность по данным квантитативного корпусно-дискурсивного анализа: «свершиться» vs «совершиться» в языке отечественных интернет-СМИ .....	84
<i>Zolyan S. T.</i> Pragmatics beyond cognition: a perspective of Charles Peirce's unfinished conception for (bio-)semiotics .....	98
<i>Цвигун Т. В., Черняков А. Н.</i> Идеология в сумках почтальонов: к прагматике почтовой марки .....	117
СЛОВО – КУЛЬТУРА – ЭПОХА	
<i>Руднев Д. В., Зеленин А. В.</i> «Атлеты веры, атлеты сцены...»: лингводискурсивный анализ деривационного гнезда в русском языке XVIII – начала XX века .....	134
<i>Салбиев Т. К.</i> Инновационные смыслопорождающие структуры на раннем этапе сложения литературной традиции: опыт Коста Хетагурова .....	154
<i>Костомарова К. П.</i> Что такое <i>хорошо</i> : к истории оценочных прилагательных в языке раннесоветской эпохи .....	169
<i>Савина Т. В.</i> Семиотика концепта «новый советский человек» в творчестве братьев Стругацких: от цикла «Мир полудня» до романа «Град обреченный» .....	189
<i>Зейферт Е. И.</i> Роль канонического жанра идиллии в высоком бидермейере: к постановке проблемы .....	205

## CONTENTS

<i>From the editor</i> .....	6
PRAGMALINGUISTICS: IN SEARCH OF SYNTHESIS	
<i>Ilyin M. V.</i> The pragmatics of semiosis and linguisation.....	7
<i>Shmelev A. D.</i> Pragmatic obligatoriness revisited .....	30
<i>Kobozeva I. M.</i> Connectives – full-time employees in discourse and outsourcers in pragmatics.....	40
<i>Iriskhanova O. K.</i> Cognitive pragmatics as multimodal pragmatics: an analysis of intersubjective positioning in spoken dialogue.....	54
<i>Bondareva L.M., Budarina A. O.</i> The phenomenon of heterogeneity of the speech subject in German retrospective discourse.....	73
<i>Radbil T. B.</i> Quantitative corpus analysis of implicit evaluativeness: the case of ‘sovershit’sya’ and ‘svershit’sya’ in Russian internet discourse.....	84
<i>Zolyan S. T.</i> Pragmatics beyond cognition: a perspective of Charles Peirce’s unfinished conception for (bio-)semiotics .....	98
<i>Tsvigun T. V., Chernyakov A. N.</i> Ideology in the mailman's bags: towards the pragmatics of the postage stamp.....	117
WORD – CULTURE – EPOCH	
<i>Rudnev D. V., Zelenin A. V.</i> "Athletes of faith, athletes of the stage...": linguistic and discursive analysis of the derivational family in Russian from the 18th to the early 20th centuries.....	134
<i>Salbiev T. K.</i> Innovative meaning-generating structures in the early formation of a literary tradition: the case of Kosta Khetagurov.....	154
<i>Kostomarova K. P.</i> What is good: to the history of evaluative adjectives in the language of the early Soviet period .....	169
<i>Savina T. V.</i> Semiotics of ‘the new Soviet man’ concept in the works of the Strugatsky brothers: from the “Noon Universe” to the “Doomed City” .....	189
<i>Zeyfert E. I.</i> The role of the canonic genre of the idyll in high Biedermeier: formulating the problem .....	205

## ОТ РЕДАКЦИИ

По техническим причинам ряд статей тематического номера «Прагмалингвистика: в поисках синтеза» (Слово.ру: балтийский акцент. 2025. №2), подготовленного редакцией совместно с приглашенными соредакторами В.В. Фещенко, И.В. Зыковой и О.В. Соколовой, был перенесен в следующий выпуск журнала. Сегодня мы завершаем публикацию, но намерены вернуться к этой проблематике в будущем году и рассчитываем на обсуждение изложенных концепций и методов с учетом дискуссионного характера материалов, увидевших свет в текущем году.

Второй раздел настоящего выпуска посвящен ключевой и традиционной для журнала теме отражения эпохи и культуры в слове, а также проблемам воздействия слова на их формирование. Так неожиданно высветилась связь между двумя разделами — это оформление прагматики в системах семантики и реализация семантики в моделях прагматики.

*С. Т. Золян*

## FROM THE EDITOR

Due to technical reasons, several articles originally intended for the thematic issue “Pragmalinguistics: In Search of Synthesis” (Slovo.ru: Baltic Accent, 2025, No. 2), prepared by the editorial team in collaboration with guest co-editors V.V. Feshchenko, I.V. Zykova, and O.V. Sokolova, have been carried over into the present issue. With this release, we conclude the publication of the thematic cluster. At the same time, we plan to return to this line of research in the coming year and encourage further discussion of the proposed concepts and methodological approaches, especially given the inherently debatable nature of many contributions published over the course of the year.

The second section of this issue is devoted to a theme both central and longstanding for the journal: the reflection of cultural and historical epochs in the word, as well as the word’s active role in shaping them. This juxtaposition has unexpectedly revealed a deeper connection between the two thematic sections — the structuring of pragmatics within semantic systems and the realization of semantics within pragmatic models.

*Suren Zolyan*

# ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: В ПОИСКАХ СИНТЕЗА

---

УДК 003; 007.51; 81-13

## ПРАГМАТИКА СЕМИОЗИСА И ОЯЗЫКОВЛЕНИЯ

*М. В. Ильин*

Центр междисциплинарных исследований Института научной информации  
по общественным наукам РАН,  
Россия, 117418, Москва, Нахимовский проспект, 51/21  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,  
Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20  
Поступила в редакцию 30.04.2025 г.  
Принята к публикации 16.05.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-1

Предложена герменевтическая интерпретация попытки гётевского Фауста толковать смысл евангельского слова λόγος, первых трех стихов Евангелия от Иоанна, а также первых трех стихов книги Бытия. Анализ герменевтических построений позволяет соотнести их, а также само явление генезиса с авторской моделью рекурсии с инверсивным переключением. Следующим шагом становится использование данной модели для трактовки и понимания прагматического момента как действующего начала смыслообразования и общения. Радикальное расширение прагматики выводит ее за пределы собственно семиотики и позволяет трактовать как буквально безграничную сферу человеческих действий или даже шире – вселенской агентивности (agency). В этом своем качестве расширяющаяся сфера действенного смыслообразования уже несводима более к практикам и аналитическим правилам работы с дискретными знаками. Требуется их методологическое и терминологическое различение. Соответственно, изучение расширенного семиозиса становится делом складывающейся семиозики, а принципов и правил соединения дискретных знаков в законченные высказывания – уже привычных семиотик. Сходная потребность назрела в нынешней лингвистике. Она заключается в том, чтобы различать расширенное использование языковых способностей для прагматически мотивированного общения или оязыковления (languageing), с одной стороны, и суженные традиционные схемы построения текстов и высказываний на основе нормативных словарей и формальных грамматик – с другой. Статья содержит очерк основных подходов к изучению оязыковления и формирования соответствующих научных традиций.

**Ключевые слова:** слово, λόγος, verbūt, дело, πράγμα, āctus, действующие силы, agency, прагматика, семиотика, семиозика, знаковые системы, возможности общения, оязыковление, переязыковление

В статье продолжено обсуждение темы о соотношении различных трактовок семиотики в лингвистике и других научных дисциплинах, начатое в журнале «Слово.ру: балтийский акцент» (Циммерлинг 2023;

---

© Ильин М. В., 2025

---

Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, № 3. С. 7–29.



Ильин 2023; Золян 2023; Чебанов 2023; Циммерлинг 2024). Предлагается пойти дальше привычного разграничения различных семиотик — обратиться к расширенному пониманию прагматики и связать его с разными порядками смысло- и речеобразования, которые создают новые пространства и практики. Среди последних одно из наиболее многообещающих начинаний — *оязыковление* (languageing). Однако главным действующим лицом станет *прагматика* (прагматикá) — всеобщее начало всякого дела и его конец, действенное завершение.

Начать рассуждения о прагматике уместно с обращения к двум прецедентным текстам — фрагменту гётевского «Фауста», где описана попытка главного героя толковать смысл евангельского слова *λόγος*, и первым трем стихам Евангелия от Иоанна. Для статьи в журнале «Слово...» это кажется вполне уместным. Более того, такой ход позволяет не только герменевтически толковать многочисленные смыслы слова *λόγος*, но еще и сопрячь по крайней мере три важные разновидности контекстов — лингвистическую, семиотическую и прагматическую.

### 1. Логос: герменевтическое толкование ключевого слова

Начнем с сугубо «прагматической» трактовки Логоса гётевским Фаустом («Фауст», строки 1225–1238; ниже цитируется перевод Б.Л. Пастернака). Тот испытывает разные способы перевода первого стиха Евангелия от Иоанна:

Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort!" Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, Ich muß es anders übersetzen, Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: Im Anfang war der <i>Sinn</i> . Bedenke wohl die erste Zeile, Daß deine Feder sich nicht übereile! Ist es der <i>Sinn</i> , der alles wirkt und schafft? Es sollte stehn: Im Anfang war die <i>Kraft</i> ! Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat Und schreibe getrost: Im Anfang war die <i>Tat</i> !	«В начале было Слово». С первых строк Загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слова, Чтоб думать, что оно всему основа. «В начале мысль была». Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу Не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? «Была в начале сила». Вот в чем суть. Но после небольшого колебания Я отклоняю это толкованье. Я был опять, как вижу, с толку сбит: «В начале было дело», — стих гласит.
---	--

Весьма показателен ряд эквивалентов Логоса. Первым появляется традиционный вариант *слово* (das Wort). Далее языковой акцент сдвигается на мыслительный — смысл (der Sinn). Тем самым к языковой способности добавляется когнитивная. Неудивительно, что следующий шаг сопряжен уже с многозначным немецким словом *die Kraft*, где значения мощи дополняются семантикой способностей, умений и общего потенциала. Это уже кумулятивное приближение к совокупному потенциалу действия. Завершает же весь ряд реализация накопленных возможностей — само прагматическое дело, практическое деяние (die Tat).



Рискну посостязаться с Фаустом и предложить свой перевод не только отдельных слов, но всего первого стиха Евангелия от Иоанна. Он состоит из трех синтагм, каждая из которых является как будто бы самостоятельным утверждением, отдельной фразой.

Первая синтагма или высказывание — *Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος* — представляется простой и ясной. Она открывается устойчивым словосочетанием с наречным функционалом как отправной основой для следующего за ним предиката *ἦν* — *был* (третье лицо имперфекта базового глагола существования *εἶμι*). Завершается синтагма-фраза подлежащим *ὁ λόγος* в именительном падеже. *В начале было слово.*

Вторая синтагма-утверждение открывается союзом *и* (*καί*), за которым сразу повторяется уже известное подлежащее *ὁ λόγος* с тем же предикатом, но уточненным уже не наречно (как? — в начале, исходно), а с помощью дополнения *πρὸς τὸν θεόν* в винительном падеже (восприимчик действия) с управляющим предлогом *πρὸς* (*к*, в сторону) для прояснения направления действия, обращенного к Богу. *И слово было к Богу.*

Третье заявление вновь открывается союзом *и* (*καί*), что подчеркивает статус это синтагмы как еще одной, уже третьей версии основного утверждения. Однако оно сформулировано на новый лад. Сначала идет существительное «Бог» в номинативе, затем подлежащее в том же имперфекте третьего лица, за которым ожидается прямое дополнение в винительном падеже, например *ὁ λόγον*. Однако дополнение, вопреки грамматической логике, оборачивается еще одним подлежащим в именительном падеже — *ὁ λόγος*. То ли Бог был словом, то ли слово было Богом, то ли нечто было то Богом, то словом. Фактически получается мифологическое взаимное отождествление Бога и слова: *θεὸς ἦν ὁ λόγος* — *Бог был(о) слово*. Можно даже попытаться перефразировать по-русски: *Бог и слово были друг другом.*

Семиотически и лингвистически все это вкупе можно воспринимать и понимать как большой одновременно коммуникативный и перформативный акт, складывающийся из отдельных шагов по формуле рекурсии с инверсивным переключением: шаг перформативного вступления «в начало» (*ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος*), затем отклоняющийся по некоей еще неясной траектории шаг уточнения принадлежности (грамматически дательной «передаче», но имплицитно также родительности) — *ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν*.

Иоанн — лишь пророк действительного протагониста перформативного высказывания. Последний именуется Логосом, Богом и характеризуется как тот, кто создавал все, и без кого не создано ничего, что не могло быть создано. Провозглашение самосвершающегося предложения создателя и перводвигателя всего строится не в констативной грамматике текста, а перформативном формате смыслообразования. В устах Иоанна слово самого Логоса и всех его ипостасей нельзя редуцировать к чисто грамматическому обозначению тождества между одним именем существительным и другим. Фактически происходит нечто иное — раскрытие прагматической диспозиции в ее динамике и в постепенном усложнении.



Три утверждения первого стиха — это три такта целостного смыслообразования, самодостаточного акта семиозиса до, через и в охвате отдельных слов или знаков. В пирсовских терминах эти такты напоминают первичность и иконы (чистое наличие — *ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος*), затем вторичность и индексы (функциональной связи — *ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν*) и наконец третичность и символы (бесконечного, всеохватывающего и умножения смыслов — *θεὸς ἦν ὁ λόγος*). Тем самым возникает самоподкрепляющаяся прагматическая рекурсия. Она сначала предстает пока зыбкой протограмматической прагматикой, которую дальше уточняет семантика, потом закрепляет синтактика, и наконец вновь и уже отчетливо обобщает уже новая гиперграмматическая прагматика.

Нечто подобное повторяется и дальше. Совокупно три синтагмы образуют аналогичную триадическую конструкцию. Первые два стиха традиционного членения Евангелия от Иоанна образуют строфы из трех строк (синтагм) каждая:

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,  
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,  
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν,  
πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο,  
καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

В евангельском тексте прагматическую развертку вселенского сотворения образуют три творящие начала, обозначенные как *ὁ λόγος*, *ὁ θεός* и указательное местоимение *οὗτος*. За счет Иоаннова благовествования мы также оказываемся сопричастны общей прагматической развертке происходящего от века и извечно. Благовествование открывается нашему пониманию и всем возможным интерпретациям. Вот первый способ услышать слово (= Логос) в его персонификации как деятеля (в функции *подлежащего*):

В начале было слово-логос,  
и слово было к Богу,  
и были Бог и слово друг другом.

Этот же (субъект — *οὗτος*) был с начала тому Богу,  
все через (предлог генетива *δι'*) него самого (*αὐτοῦ*) создано,  
и помимо (*χωρὶς*) него самого не создано ничего, что ни создано.

А вот и второй способ услышать слово (= исполненное Иоанном речение). Тут акцент с подлежащего переносится на предикат, то есть на само действие. Казалось бы, перед нами все то же повествование, но только в его процессуально развернутой действенной (и перформативной, и прагматической) *сказуемости*:

В начале было речение-творение,  
и речение было к Богу,  
Бог и речение-творение были друг другом.



Это же (речение) было с начала у того Бога,  
все через него самого создано,  
и без него самого не создано ничего, что ни создано.

Замысел и промысел (*purport* по Ельмслеву) евангельского текста состоит в еще не разделенном единстве творца (деятеля) и его деяния (творения). В первой строфе намечена прагматическая развертка трех движущих моментов всеобщего самосотворения. Во второй — прагматика вновь развертывается посредством трех актов смыслообразования: от исходной констатации через установление связи к закольцовыванию всей строфы в бесконечном апофатическом умножении символизации.

Важно, что обе строфы явлены в своем трехтактном развертывании и в образовании самовоспроизводящегося и самоуглубляющегося герменевтического круга. В нем буквально раскрывается всеобщее самотворение, или генезис. Анализ трех фраз стиха позволяет соотнести словесное сложение стиха и само явление генезиса с авторской моделью рекурсии с инверсивным переключением.

## 2. Действенная прагматика дел

Предыдущий экскурс к начальным строкам Евангелия от Иоанна вовсе не претендует на толкование сакрального текста. Он предназначен для лучшего понимания не столько остающегося таинственным *Логоса*, сколько того, что может быть названо *прагматическим моментом*.

Под прагматическим же моментом, или, иначе, действенным импульсом, понимается некое сохраняющееся и усиливающееся (ср. лат. *momentum*) за счет закольцовывания (ср. евангельские повторы-возвращения) воздействие (*πράγμα, impulsus, импульс*) или просто усиливающееся действие.

Обратимся теперь к исходным греческим словам *πράγμα* (дело, действие, дела, занятия и т. п.), *πραγματικά* (прилагательное среднего рода во множественном числе 'деловые' и, переносно, 'совокупность деяний или сфера деятельности'), *πραγματεία* ('обобщенные дела, занятия и даже магические воздействия').

Существительное *πράγμα*, глагол *πράσσω* и уже упомянутые слова *πραγματικά* и *πραγματεία* возводятся к индоевропейскому этимону *\*per-*, смысл которого связан с движением. В русском и других славянских языках этот этимон существенно не проявлен, а представлен периферийно, например в словах *пар* и *паром*. Однако у славян да и в целом во всей индоевропейской традиции получил развитие сходный по смыслу этимон *\*d<sup>h</sup>eh<sub>1</sub>-*, который самым непосредственным образом связан с действиями и деяниями. Данный этимон может предполагать также локализацию действия и размещение сделанного (ср. предполагаемую глаголом *деть* локализацию — «деть куда-то»). Соответственно, у нас базовый глагольный корень *de* так и звучит почти без изменений, как индоевропейский *\*d<sup>h</sup>eh<sub>1</sub>-*. От него образованы слова *деть*, а также *вдеть*, *одеть*, *раздеть*, *задеть*, *продеть* и т. п. Однако есть и парный глагол *де-*



лать. Тут к исходной основе добавлено еще индоевропейское оформление  $*d^heh_1-l$ , что в русском дало базовый и крайне продуктивный глагол *делать* и его производные.

Как уже отмечалось, происходит радикальное расширение прагматики и включение в ее сферу не только собственно человеческих действий и деятельности, но также биологической и всеобщей агентивности (*agency*). Тем самым обновляющаяся понятийная и вербальная номенклатура опирается не только на традиционные греческие ресурсы, включающие *прагматику, практику, прагматичность / практичность, праксис* и прочие слова и термины этого ряда. Используется также латинская номенклатура, включающая слова *акт, агент, актер, активность* и т. п. Наши русские слова из синонимического запаса поддержки традиционной греко-латинской научной номенклатуры начинают утверждаться в научных дискурсах как важные альтернативные возможности концептуализации новых для современной науки сторон человеческой деятельности и даже действенности процессов всеобщего развития.

Для получения всестороннего представления о прагматике и прагматичности следует в полной мере учесть подсказку русских слов *деятельность, действенность* и *дельность*. Заслуживают более гибкого и широкого использования существительные *дело, действие* и *деяние*, а в еще большей мере — очевидно недоиспользованные и практически не терминологизированные глаголы *деять, деть* и *делать*.

Это тем более уместно, так как любой субъект общения возникает из связывания отдельных действий, дел и деяний. Они суть проявления и результаты обобщенных возможностей (способностей, условий и т. п.) *деять* и *делать*. В английском языке и научных дискурсах для их обозначения используется обобщенный термин *agency*. Его русский вариант можно было бы назвать порождающим, или начальным, *действованием*, а его принцип — *действенностью*.

Любое дело, например приготовление пищи, обустройство жилища, написание стихов или резьба по дереву, — это одновременно и инструкция, и память. Конечно, можно выявить и реконструировать память без инструкции, а можно таким же образом получить инструкцию без памяти. Однако каждая из них в отдельности будет лишь какой-то стороной деятельности или деяния. Даже алгоритм, то есть инструкция по поводу порядка и характера каждой операции, отнюдь не равнозначен делу в его полноте и целостности, а служит лишь его инструментальной стороной. Дело возникает, когда алгоритм вместе с памятью, а также с ощущением нехватки и стремлением восполнить ее встраивается в жизнь некоего существа или даже в функционирование сложной молекулы, сложенной (*folded*) таким образом, что появляются новые собственные конфигурации и возможности себя воспринимать и контролировать. Тогда такие существа или даже свернутые (*folded*) в себе и на себя молекулы смогут стремиться восполнить нехватку, выбирать необходимое для этого, а также наличные в памяти и алгоритмах образцы. Вот тогда появится, проявится и осуществится способность к



действию — *agency*, агентность и агентивность или действие и ответственность того, что будет происходить в ходе запущенных таким образом процессов (Ильин 2023).

Прагматический генезис общения и смыслообразования мог бы решительнее и порой удачнее концептуализироваться наряду с использованием привычной семиотической номенклатуры также с помощью слов *деятельность* и *говорение*, *дело*, *прагма* и *говор*, *прагматика* и *фатика* (от греч. *φᾶτος* — произносимый), включая фатическое общение (*phatic communion*) и соответствующую функцию.

С учетом того, что прагматика предполагает действие, а значит, и темпоральную развертку, требуется отразить эту сторону в концептуальном и терминологическом аппарате. Одна из возможностей заключается в более активном использовании глагольных форм, например причастий, деепричастий и инфинитивов или на крайний случай отглагольных существительных, чему могла бы способствовать разработка эпигенетической концепции прагматики. По аналогии с биологической и геологической эпигенетикой, а также расширенным эволюционным синтезом (*evo-devo*) она могла бы включать исходный морфогенез и последующее развитие прагматических явлений и прагматики в целом. Подобная концепция могла бы встроиться в развитие уже имеющих в науке представлений о семиотической прагматике. Исходным моментом эпигенетической концепции мог бы быть морфогенез протосемиозиса еще без семиотики, но уже с протопрагматикой. В ходе развития в подобное неполное, «эмбриональное» образование постепенно встраиваются семантика и синтактика. Они делают насыщаемую прагматику содержательно нагруженной. Целостность же развития достигается за счет того, что новая, уже завершающаяся гиперпрагматика закольцовывает семиозис и придает ему полноту.

Что касается крайне слабо изученной исходной протопрагматики, то эмпирической базой ее исследования могли бы стать примеры тоски по общению, формирования мотиваций к общению, того, как «песня зреет». Особенно интересны в этом отношении побудительные реплики, например холофрастические гипероптативные высказывания, предполагающие помимо смутного оптатива еще и зародышевые императивы, перформативы и т. п.

Как бы то ни было, новые научные подходы к прагматике выводят ее за пределы собственной семиотики и расширительно трактуют ее одновременно и как буквально безграничную сферу человеческих действий, и как новую междисциплинарную область изучения подобного рода явлений.

### 3. Оязыковление

Многие коллеги сокрушаются, что в нынешней лингвистике начинает ощущаться если и не тень застоя, то подобие нехватки новых начинаний и подходов. Интересных публикаций и идей немало, но



они вполне вписываются в устоявшиеся берега испытанных доктрин и неспешно движутся вдоль них. Подобные суждения небеспочвенны, но у меня несколько иное восприятие ситуации. За тишиной академической рутины то тут, то там слышатся весьма непривычные речи, которые, может быть, не бросают ей вызов, но очерчивают поверх нее новые предметные области и методологические новации. В этом отношении весьма показательны попытки все более широкого круга коллег выделять оязыковление (*linguaging*) как то, что всегда находилось фактически в центре лингвистических исследований, но не распознавалось как их действительное ядро. Более того, некоторые из наиболее активных исследователей оязыковления обращаются к фундаментальным проблемам и пытаются расширить и углубить как саму языковую и коммуникационную сферу языка, так и ее онтологию вкупе с методологией и способами ее концептуализации и моделирования. Сошлюсь лишь на недавние публикации о *Языке с большой буквы* (*Language with capital L*) (Demuro, Gurney 2021; Cowley 2024).

Впрочем, об этих новациях речь пойдет далее особо, а пока было бы уместно кратко охарактеризовать оязыковление. Это сравнительно новое направление в лингвистике, которое проблематизирует наивные, но общепринятые представления о цельном, завершенном и даже совершенном языке с его нормативными словарями и грамматиками, неизблемыми правилами произношения и правописания, пунктуации и стиля. Представители этого направления делают предметом своего изучения феномен, который они также называют оязыковлением. Он связан с фактическим осуществлением того, что мы привычно считаем языком, со всем тем, что порождает пусть несовершенные, но вполне достаточные способы совместных вербальных взаимодействий людей. При всей неполноте и неокончателности эти способы куда точнее и целостнее представляют практику вербального общения людей, чем заведомо идеализированные схемы, правила и нормы школьного языка, отдельно взятые речевые практики, словари и грамматики, а главное — противостоящие друг другу и уже утрачивающие свежесть языковедческие доктрины и учения.

Отправным моментом является связь процессов оязыковления с языковым самоосуществлением, а значит, и с коренным феноменом лингвистики. Существуют четыре сферы, где это проявляется наиболее мощно: усвоение языковых способностей младенцами и овладение родным языком, научение детей и взрослых иностранному языку, перевод с языка на язык и, наконец, глоттогенез, возникновение общих языковых способностей человеческого рода, а также отдельных языков и языковых семей.

Все эти четыре основных потока научного творчества, их ответвления и параллельные усилия, казалось бы, не выходят за рамки традиционной лингвистики. Каждый из них в той или иной форме развивается уже давно и вполне вписывается в привычные рамки языкознания. Да и нынешние новации так или иначе вполне приспособляемы к тому, чему учат в школах и университетах. Однако на практике оязыков-



лением наряду с лингвистами занимаются специалисты самых различных профилей. Так, в первое направление наряду с лингвистами вовлечены также психологи и даже нейрофизиологи. Но в последнее время и лингвисты, и психологи столкнулись с множеством проблем, которые требуют междисциплинарного объединения усилий. Ему помогают все более популярные концепции распределенного языка (*distributed language*) и распределенного сознания (*distributed consciousness*).

В традиционной лингвистике прямо противоположный поход — вынести за скобки все избыточное и оставить системные принципы и закономерности языка в самом узком и строгом его понимании. Фердинанд де Соссюр, признававший, что язык — социальный и психологический феномен, все же выделил узкий предмет лингвистического изучения — структурируемую за счет бинарных оппозиций или различий систему правил и алгоритмов для речевой коммуникации; ее он и назвал языком<sup>1</sup> (*langue*).

Приверженцы противоположного расширительного и распределительного подхода, например эколингвисты или исследователи оязыковлечения, считают подобную редукцию обманчивой и разрушительной. Они констатируют, что в этом случае целостные феномены общения подменяются некими абстрактными схемами. Подобные схемы могут быть полезным инструментом, но только для самих лингвистов. Действительное общение во всей его полноте к ним принципиально нередуцируемо. У каждого отдельного общающегося своя незаконченная и противоречивая версия того, что соссюрианцы называют *langue*. На деле приходится иметь дело с некими зыбкими эпизодами практического поиска взаимного понимания друг друга людьми с собственными версиями правил и алгоритмов общения. Они изменчивы и противоречивы, как и все общее облако распределенного языка.

В поведении младенцев сначала вообще трудно различить что-то помимо физиологических реакций, которые запрограммированы генетически. Но в результате взаимодействия, прежде всего с матерью, но также с окружением, у них появляются зеркальные реакции. Мать, во-первых, играет свою роль, а во-вторых — имитирует ребенка. Соответственно, ребенок в ответ играет свою роль и имитирует мать. И получаются две взаимно «зеркальные» имитации. Благодаря связи и закреплению этих имитаций ребенок научается действовать, как другой. Он начинает понимать другого, использовать ресурсы голоса, жестов и прочих действий. В конечном счете формируется совместный репертуар средств общения, а с ним и общий язык. Этот маленький язык для двоих за счет новых туров оязыковлечения пересекается с другими языками. Формируются новые языки и так *ad infinitum*. Этот процесс проходит множество туров и этапов на протяжении нескольких месяцев. Ребенок преодолевает несколько порогов (*thresholds*), а точнее, растянутых во времени каскадов изменений — соматических, психических, поведенческих, вербальных. И каждый такой каскад позволяет обрести

---

<sup>1</sup> См. об этом термине ниже.



еще один новый язык или языки. Так что точно нельзя сказать, в какой момент ребенок начинает говорить и мыслить. В своем стремительном развитии маленький человечек накапливает навыки общения, усваивает один за другим все новые «языки» и добавляет их друг к другу. Это растянутый процесс, а не одномоментное и окончательное заучивание четких инструкций со словарем, грамматикой и прочими лингвистическими конструкциями.

Что значит говорить? Осмысленное взаимодействие с матерью начинается гораздо раньше начального «говорения». Произносить какие-то фразы получается позже. И только спустя время, в три года или в девять лет, наконец появляется субъект, который в состоянии пользоваться великим и могучим русским языком или не менее великим французским и т. д. В промежутке множество порогов, или каскадов трансформации, или каскадов, связанных с переделыванием коммуникативных забот в способности, а способностей в возможности.

Трансформация коммуникативных забот в способности — это новое направление науки (Розов 2021; 2022). Трактовка Розовым глоттогенеза напоминает обретение языковых способностей младенцами. Опять каскады трансформаций и пороги. Появляются некие существа, у которых достаточно развиты способности, позволяющие им общаться. Но это коммуникация еще «немая», без языка и речи — только с выкриками и подвываниями. Когнитивные процессы еще не вполне мышление. Они, видимо, контекстуальны, расплывчаты и неустойчивы. Но налицо очень сильная потребность в эффективном общении в ответ на вызовы выживания.

Речевые практики воспроизводят сохраненные в памяти следы-эпизоды произошедших событий, а также навыки-алгоритмы деятельности. Первые фиксируют в памяти коммуникативные процессы и их эпизоды, вторые — коммуникативную порождающую систему кодирования. Такое разделение и соединение все более закрепляющихся навыков кодирования и актуальных, здесь и сейчас происходящих процессов кодирования и декодирования пока, к счастью, зыбко, что облегчает осуществление каскадов изменений.

Подобный образ развития человеческой вокализации и мышления в корне противоречит господствующим в нынешней лингвистике схемам. Наши дорогие коллеги ориентированы на изучение языков как если бы они были устойчивыми и четко регламентированными практиками, опирающимися на логичные системы правил и алгоритмов. Такое представление о языке сформировалось в ответ на вызов — формирование больших наций и модернизацию (рационализации, унификации) их повседневных практик, включая коммуникативные. Предельную четкость подобный подход приобрел в учебном «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра в редакции А. Сеше и Ш. Балли — именно в этом учебном, а значит доктринальном и неизбежно догматическом пособии. В своих исследовательских работах и даже оранжерейных рукописях Соссюр был куда гибче. А тут он жестко развел *речь* (*parole*) и *яз* (*langue*), зыбко соединив их в изменчивом облаке живого языкового общения и творчества под именем *langage*.



Понимание и перевод соссюровских терминов *langue* и *langage* неизменно вызывает трудности. В отечественной традиции *la langue* лингвисты упорно переводят как *язык*, опираясь на заключительную фразу Курса: «Для лингвистики единственным и истинным объектом (*unique et véritable objet*) является *la langue*, рассмотренный в самом себе и для себя (*la langue envisagée en elle-même et pour elle-même*)» (Saussure 1971, p. 374). Что же, им привычно уже называть языком реконструируемые ими системы правил. Но как быть с живым языком всех нас? Для его обозначения профессиональные (доктринальные, структурные, нормативные и т.п.) лингвисты используют сбивающие с толку выражения типа «речевой деятельности». Мною предложен прямо противоположный путь: именовать языком как раз живой язык всех нас, а структурные лингвистические построения называть новообразованным словом *яз*, весьма созвучным с парным ему *речь*.

В готовящейся к изданию «оранжерейной рукописи» Соссюра переводчик этого более точного отражающего соссюровскую концепцию текста Д. С. Золотухин предлагает именовать *le langage* словосочетанием *языковой феномен*, что в содержательном отношении достаточно точно. Однако *la langue* он по-прежнему переводит как *язык*, не решаясь идти против устоявшихся профессиональных предпочтений. С этим можно было бы в принципе смириться, когда бы это не мешало читателю понять, что Соссюр фактически говорит о реконструируемых лингвистами нормативных или структурных схемах.

В связи с этим в данной статье я выдвигаю новое предложение — оставить обыденное употребление в русском языке слова *язык* непрофессионалам в их повседневном общении. Лингвистам же именовать языковой феномен или целостное явление языкового общения и мышления термином *оязковление* (*linguaging*), а реконструируемую ими его структурную основу — термином *яз*. Терминологические различия между синонимами *le langage* и *la langue* разумно оставить на волю самих французских лингвистов. Для нас же нелишним было бы освежить свои знания университетской латыни и этимологии. Французское слово *langage*, как и каталанское *llenguatge* и кастильское *lenguaje*, итальянское *linguaggio* и португальское *linguagem* произошло из реконструируемого слова вульгарной латыни *\*linguaticum* от лат. *lingua* (язык) и суффикса *-atic-*, указывающего на состояние или процесс, вызванные действиями или агентами. Само же слово *\*linguaticum* и поначалу производные фактически означало манеру или практику говорения, общения.

Получается, что именование языка как коммуникативного феномена и как органа речи в романских языках вкупе с сильно лексически романизованным английским проделало следующее развитие. Метафорический перенос позволил использовать имя органа речи для обозначения всего языкового феномена. Затем возникло слово для обозначения манеры и способов говорения с использованием суффикса *-atic-*. В английском поначалу были термины-метафоры: германский *tongue* или *tong*, а также романский *langue*. Следом появилась «смешанная» переделка вульгарной латыни сначала в виде макаронического словечка *linguaging*, а затем и полностью германизованного *tonging*.



В последние несколько десятилетий слово *linguaging* вошло в науку. Оно используется для концептуализации того, что можно по праву назвать семиогенезом или семиопозисом (Золян 2021). Фактически это почти одно и то же. Прекрасно, что существует такой плюрализм терминологии. Он помогает показать, что речевые акты сохраняют следы прежних коммуникативных взаимодействий.

#### 4. Оязыковление в поисках идей и терминов

Данный раздел уместно начать с истории и характеристики английского слова *linguaging*, которое стало своего рода маркой для всего представляемого научного направления. В английском языке это слово звучит вполне естественно и непринужденно [ˈlæŋgwɪdʒɪŋ]. Оно использовались в очень близком к нынешнему значению на протяжении веков — во всяком случае уже с шекспировских времен. Только в последние годы оно приобрело несколько специфических значений. В остальном с незапамятных времен современные понятия оязыковления фактически сливались с крайне размытыми значениями и смыслами слов для языка как особой человеческой способности и связанных с ней практик, например *язык, γλώσσα, lingua, Sprache, taal, мова, язык, jazyk* и т.д. Мои примеры и лингвистический кругозор, по сути, ограничены индоевропейскими языками, однако можно вполне уверенно предположить, что ситуация расплывчатой полисемии слов для языка является универсальной чертой древнейших представлений о языке и их вербализаций, которые в основном сохранились и в последующем.

Слову *linguaging* посвящена отдельная статья в Оксфордском словаре английского языка (OED)<sup>2</sup>. В ней перечислены ранние употребления с 1702 года. Однако педагог Ричард Малкастер использует его куда раньше в книге о воспитании детей (Mulcaster 1582), а поэт Ричард Лавлес пишет в поэме «Саранча» (*Lucusta*) о «наилучшем оязыковлении этого повествования» (*best linguaging this story*) в 1649 году.

Особенно интересен пример Малкастера, вкладе которого в английскую педагогику ренессансной поры и о его книге охарактеризовал Уильям Нельсон в статье о тюдоровских грамматических школах (Nelson 1952). В своем сочинении Малкастер употребил следующие слова *learning* 66 раз и *schooling* 2 раза; *writing* 19 раз и *penning* 11 раз; *speaking* 5 раз и *talking* 1 раз; *reading* 2 раза и *translating* 2 раза; *linguaging* (в написании *lāguaging*) всего 1 раз. Он ни разу не использует слова *tonging*, хотя сам нередко вспоминает об английском и иностранных языках (*english and foren tungs*).

Как бы то ни было, слово *learning* стало все чаще употребляться английскими лингвистами во второй половине прошлого века — например, известным языковедом и педагогом Питером Даути (Peter Dougherty), который в близком смысле использовал также выражение *language*

<sup>2</sup> В том же словаре *tonging* зафиксирован с 1584 года.



*in use*<sup>3</sup>. Он подчеркивал: «Однако, если верно, что язык опосредует культурные ценности, то деятельность оязыковления (the activity of languaging) является точкой (*point*, то есть фактически интерфейсом. — М.И.), в которой внутренний мир личностного конструкта (personal construct) встречается с внешним миром» (Doughty 1972, p. 25). Очень важно, что Даути был в числе первых, которые стали противопоставлять язык омертвленный и живой: «В этой статье я хочу подойти ко всему вопросу преподавания родного языка с точки зрения того, что я называю “языком для жизни” (language for living), то есть способа, которым люди используют язык, чтобы оставаться людьми, поддерживать свою жизнь в этом мире. Это тот способ использования языка, который мы можем назвать “естественным”. Ему противостоит способ использования, который доминирует в формальном образовательном контексте, — “язык для изучения” (language for learning). Этот способ явно связан с явной передачей содержания формальных знаний как самоцели и, следовательно, неестественен, поскольку это не то, что мы делаем в свободной ситуации нашего взаимодействия с миром (engagement with the world), ситуации, в которой мы изначально изучаем язык и поддерживаем его” (Doughty 1979, p. 62). В конечном счете Даути настаивает: «С точки зрения этой теории изучения и использования языка, он (ученик. — М.И.) предстает как *обладающее врожденной языковой способностью животное* (an innately competent languaging animal) (курсив мой. — М.И.), которое выучило свой язык и научилось использовать его в свободных ситуациях своей естественной среды обитания (Ibid., p. 68).

Примерно в это же время за океаном чилийский биолог Умберто Матурана использовал придуманный им инфинитив *lenguajear* («язычить», использовать язык), еще больше (в сравнении с *lenguaje*) акцентировав процессуальный смысл термина. Сам Матурана определил слово *lenguajear* так: «Язычить: неологизм, обозначающий акт быть (al acto de estar) в языке, не ассоциируя этот акт с речью, как это было бы при использовании слова ‘говорить’ (hablar)» (Maturana 1989, p. 78). В одной из первых публикаций (возможно, самой первой, где этот неологизм использовался) он со своим соавтором Сюзанной Блох пояснял: «Наше существование происходит внутри язычить (*lenguajear*), и пока мы живем в язычить, мы можем различать себя в рефлексии и отсюда использовать язык (*lenguaje*) как инструмент, создавая его в качестве отправной точки или экзистенциальной основы для дальнейших рекурсий в поведенческих координатах» (Maturana, Bloch 1985, p. 245). За счет своей языковой новации Матурана акцентировал деятельностьную составляющую языка и речи, но прежде всего эволюционно приобретенную человеческую способность вербально общаться и вытекающие из этого практические возможности.

<sup>3</sup> Кстати, похожую формулу *language in action* использовал известный канадский, а потом американский ученый и политик Самуэль Хайакава еще в 1939 году в названии книги, затем переизданной и расширенной (Hayakawa 1941). В еще более позднем издании он расширил свою формулу — *language in thought and action* (Hayakawa 1949).



Слово *languajejar* сохраняет все особенности глагольной формы инфинитива, но при этом часто снабжается определенным артиклем *el*. Тем самым его исходная и спонтанная «глагольность» дополняется грамматически наведенной «именной» функциональностью. Отсутствие определенного артикля зачастую можно объяснять как использование нулевого, однако попадаются и случаи неясной грамматической интерпретации.

Стремление использовать при концептуализации изучаемых явлений и создании терминов глагольные формы вместо именных далеко не случайно. Имена существительные настроены на обозначение предметов и вещей. Даже если обозначаемый объект не вполне «вещен» (облако, заря, радость), обозначение именем существительным добавляет предметности и объектности, в некотором смысле даже объективности. Совсем другое дело — глагол. Он не именует, а выражает и даже скорее отражает характеристики процессов, а не вещей. Именованье процессов, втискивание их в рамки имен ведет к реификации или «овеществлению». Такая номинализация чревата существенными трудностями и даже может закончиться мыслительным просчетом. Мы начнем, например, считать дискретным предметом чью-то жизнь. Можно сделать ее предметом разбирательства в суде. Тогда ничего не стоит кого-то лишить жизни, как шляпы или ботинок, а не убить или погубить.

Наш выдающийся лингвист А. В. Кравченко данный мыслительный просчет именует реификационным. Более того, он справедливо считает, что этот просчет не только корежит и искажает обыденное мышление, но и деформирует лингвистическое мышление за счет господства в нынешнем языкознании реификационной доктрины — «взгляда на язык как на нечто внешнее по отношению к людям как мыслящим деятелям, как вещь или инструмент (код), используемый для передачи мысли (тоже «вещи». — М. И.) из одной головы в другую» (Kravchenko 2016, p. 103).

И язык, и речь именуются с помощью существительных. Словесная форма *оязыковление* добавляет важный оттенок процессуальности, но оно остается существительным причем даже не отглагольным. В этом отношении *languaging* куда адекватнее. Не вполне ясен, однако, грамматический статус этой инговой формы. Это может быть и герундий, и отглагольное существительное, и причастие настоящее времени. Для интерпретации нужен синтаксический анализ, а не только трактовка самой инговой формы.

Инфинитив типа *languajejar* еще удачнее для концептуализации процессов, чем причастия или отглагольные существительные. Однако примеры буквально единичны. Нужны смелость и готовность не только использовать непривычные слова, но и строить крайне необычные, кажущиеся неправильными выражения, фразы и даже целые пассажи. Такой смелостью обладал Мартин Хайдеггер. Его знаменитый труд назван в русском переводе «Бытие и время», хотя точнее было бы «Быть и время». Надо признать, что замена слов *бытие*, или *экзистенция* (это



слово Хайдеггер также использует как отдельный термин), на слово *быть* было бы яркой находкой. Слово *быть* звучит как существительное женского рода, но при этом остается глагольным инфинитивом. Хайдеггер даже создал целый набор терминов на основе этого слова: *Dasein, In-der-Welt-sein, Sein-zum-Tode, Mitsein* и т. п.

К сожалению, Хайдеггер не сумел найти замену слову *die Sprache*, 'язык'. Его замена на *Sprechen* не очевидна — тем более в сравнении с *Sein*. Но зато он дал блестящие определения языка, разъяснения, что это такое, а чаще — как это бывает. Самое удачное, на мой взгляд, по-немецки звучит так: *Sprache ist lichtend-verbergende Ankunft des Seins selbst*. Перевести не просто. Выдающийся философ и лингвист В. В. Бибихин передал так: *Язык есть просветляюще-утаивающее явление самого Бытия*. Все прекрасно. Поменял бы форму одного лишь слова: *Язык есть просветляюще-утаивающее явление самой Быти*. Тут язык называется явлением, точнее неоконченным появлением. А дальше это постепенное появление оказывается одновременно утаивающим нечто, но просветляющим образом. Получается — просветляюще утаивающее появление самой Быти. Можно иначе и уже с пояснением: именно утаивающая недосказанность появления и проявления языка просветляет такую же недосказанность быти (о некоторых языковых играх Хайдеггера см.: (Ilyin 2024)).

## 5. Основные парадигмы оязыковлени

Фундаментальной основой для формирования прагматически и процессуально ориентированного подхода к языку и коммуникации можно считать концепции особых человеческих способностей. В их числе учение Локка о человеческом разумении и о трех ветвях познания, включая семиотику как работу со знаками. Оно было переосмыслено и развито в трех кантовских критиках трех когнитивных способностей. Эти идеи были удачно уточнены Фридрихом Шиллером в его представлениях о трех ключевых побуждениях (Triebe) людей. В том же русле Вильгельм Гумбольдт подчеркивал деятельностную сторону языка, его связь с мышлением и жизненной практикой. Наконец, важную роль сыграла разработка прагматизма Чарльзом Пирсом, Уильямом Джеймсом, Джоном Дьюи и Фердинандом Шиллером.

Непосредственным предвосхищением расширенного деятельностного подхода к языку стали идеи языковых игр (Sprachspiel, language-game) и жизненных форм (Lebensform, form of life) Людвига Витгенштейна, а также его концепция семейного сходства (Familienähnlichkeit, family resemblance), что позволяло связать вербальное общение с совместной практикой и мышлением. Столь же важными, пожалуй, стали и представления Джона Остина о повседневном языке (ordinary language), а также разработанные им приемы установления связи между высказываниями, их ситуативным смыслом и прагматикой соответствующих действий. На этой основе во второй половине прошлого века началось формирование частных научных парадигм изучения оязыковлени.



Кроме того, в должной мере еще только предстоит оценить такие инициативы, как структуралистский ревизионизм русских формалистов, пражского и копенгагенского лингвистического кружков, прежде всего М. М. Бахтина, Л. Ельмслева и Р. О. Якобсона. Особенно важными представляются исследования Якобсоном функциональной стороны языка, а также формирование в их развитие метапрагматики его учеником и последователем М. Сильверстайном. Не менее значителен вклад выдающегося бельгийского лингвиста Э. Бюиссанса (Buysens 1943; Бюиссанс 2016), еще одного ярчайшего наряду с Ельмсловом функционального ревизиониста сосюррианского структурализма. Он фактически ввел в науку понятие дискурса, ставшее отправным моментом развития дискурсного анализа в его различных модификациях и направлениях. Наконец, важным источником вдохновения и идей послужило творчество американского философа У. Селларса (Sellars 1956; 1962; 1967), чье соединение традиций прагматизма с аналитической философией и некоторыми идеями логического позитивизма открыло новые возможности понимания языка и оязыковления (Cowley 2017; 2019; 2024; Seiberth 2021).

По существу, все эти начинания так или иначе были связаны с неудовлетворенностью лингвистической ортодоксией, предполагавшей, что языки — это отдельные явления, своего рода «вещи», которые можно «обнаружить» у пользователей, «обладающих» ими как собственностью, расположить эти «предметы» на карте, «выучить» и «преподать» ученикам, «использовать» их и проводить с ними прочие манипуляции. Считалось и до сих пор считается, будто язык всего лишь инструмент, только код, с помощью которого совершенно отдельная от него мысль переносится из одного отдельного «контейнера» в другой, из одного человеческого сознания в другое. Несогласие с подобной онтологией, если она заслуживает такого названия, как раз и стимулировало поиски иных способов понимания языка и работы с ним.

Ключевой фигурой и участником наметившихся в науке сдвигов стал Тамаш Шебек, натурализовавшийся в США как Томас Себеок, — один из создателей расширенной и одновременно интегративной мультидисциплинарной семиотики, прежде всего биосемиотики, и столь же расширенного и интегративного подхода к языку и языкознанию. Себеок создал два продвигавших эти новации журнала «Языковые науки» (Language Sciences) в 1968 году и «Семиотика» (Semiotica) в 1969 году. Обратите внимание на названия журналов. Науки о языке стоят во множественном числе, что не только подчеркивает междисциплинарность, но также укорененность самого языка в человеческой психике и практиках. Название семиотического журнала также транслитерирует общенаучный эллинизированный термин *σημειωτική* латиницей. Тем самым подчеркивается всеобщий, а значит интегрирующий характер начинания, а самой семиотике придается трансдисциплинарный характер. Этот важный символический жест был воспринят и повторен уже самым первым семиотическим изданием — «Трудами по знаковым системам», который также вынес на обложку титул *Σημειωτική*.



Другим ядром новаций, послуживших формированию расширенного подхода к языковым феноменам, включая оязыковление, стал функционализм. Важный вклад внесли уже упомянутый Р. О. Якобсон, а также А. Мартине (Martinet 1969; 1975; 1989) с его идеей двойного членения и датские функционалисты с их вниманием к прагматике и дискурсу (Dik 1968; 1980; 1987; 1989; 1997; Harder 1995; 2010). Однако наибольшую активность и продуктивность функционалистские начинания приобрели в Англии. Своего рода персонализированным фокусом этих усилий стал Майкл Халлидей, успешно сотрудничавший с уже упоминавшийся Питером Даути и также использовавший термин «оязыковление». С одной стороны, он развивал функционалистские идеи своего учителя Джона Фёрса (Firth), а с другой — стал интеллектуальным центром для более молодых коллег. Образовалось два пересекающихся круга его последователей. Один был более академическим, связанным с разработкой халлидеевской функционально-системной грамматики, а затем и более широкой функционально-системной лингвистики. Тут термин *система* использовался для последовательной замены и вытеснения термина *структура* в ходе радикальной ревизии структурализма. Другой круг включал социально ангажированных молодых интеллектуалов поколения 1968 года, которые связывали свои научные поиски с активной социальной критикой и сформировали так называемую критическую лингвистику (*critical linguistics*). Многие входили в оба круга, причем Г. Кресс и Б. Ходж сформировали на основе халлидеевской идеи социальной семиотики как измерения человеческого общения еще и научное направление социальной семиотики, а затем и мультимодального анализа (*multimodal analysis*) коммуникации.

Как бы то ни было, намеченный Халлидеем подход был не просто адекватным, но крайне благоприятным для того, чтобы послужить теоретико-методологической рамкой для сотрудничества его самого с Даути, а затем постепенного проникновения подхода в научный дискурс коллег. Правда, до определенного времени использование слова *linguaging* не влекло его терминологизации вопреки склонности самого М. А. К. Халлидея к созданию новых терминов типа *register*, *field*, *tenor*, *mode* относительно дискурса или *unit* и *class*, а также *system* и *function* плюс *metafunction* относительно языка.

В своем стремлении освободиться от ограничений структурализма Халлидей перенес внимание на более гибкое и широкое понятие системы. Он также стал иначе — значительно шире — трактовать функции и ввел понятие метафункций. Важным было и более гибкое использование предложенного Хомским различия глубинных и поверхностных структур, да еще и по отношению к гораздо более широкой фактуре. Возникшая в результате системная функциональная грамматика, а потом и лингвистика открыли новые исследовательские возможности.

Но этого было недостаточно для адекватного и достаточно полного перехода от сфокусированных на отдельных лингвистических объектах



исследований к изучению действительной связанности процессов, в которые включены и в которых разлиты моменты вербального общения. Халлидей продолжал упорно настаивать на вполне автономном лингвистическом характере своих занятий, а не на их человековедческом, антропологическом значении и предназначении, тем более не на общенаучном характере.

Важным шагом стала идея Теренса Дикона об интенциональности как зеркальной дополнительности интенциональности, понятий, однако она все еще остается резервом для исследователей оязыковления. Равным образом сказывается невольная самозамкнутость когнитивных исследований. Начинания Э. Рош, а также Дж. Лакоффа и М. Джонсона не преодолели рамок строго когнитивных прототипов и метафор без их расширения и перевода в языковые, политические, социальные и деятельностные версии. Сдержанность и концентрация на конкретных, но не амбициозных исследовательских проектах ведет к тому, что проработка потенциала метафор и метафоризации сравнительно поверхностно затронула проблематику перевода даже в рамках переязыковления (*translanguaging*). Также изучение фреймов фокусируется на специфических случаях и лишь эпизодически связывается с изучением длительных и крупных процессов.

Радикальное общенаучное расширение семиотики Томасом Себеком и создание им биосемиотики оставались поначалу практически незамеченными лингвистами. Исключением стала книга Ю.С. Степанова (1971), в которой он посвятил целый раздел понятию биосемиотики. Удивительным образом деятельность Тартуско-московской семиотической школы, ориентированной на семиотику культуры, начала постепенно ослабевать, но взамен мощно развернулась Тартуско-копенгагенская школа, ориентированная на освоение проблематики биосемиотики.

В этой ситуации некоторым лингвистам соблазнительной показалась многообещающая экологическая проблематика. Возникло даже целое направление эколлингвистики, которая стремилась «изучать взаимодействие между данным языком и его окружением» в самом широком смысле (Иванова 2007, с. 34). Данное направление связано с изучением роли языка в жизнеобеспечивающих взаимодействиях людей, других видов и физической среды. В то же время «в эколлингвистике выделяют два направления: “экологическая лингвистика”, которая “отталкивается” от экологии и метафорически переносит на язык и языкознание экологические термины, принципы и методы исследования, изучает связь и воздействие языков друг на друга, и “языковая экология”, которая рассматривает выражение в языке экологических тем, опираясь на языкознание и его методы» (Иванова 2012, с. 259).

Поначалу на передний план вышла кажущаяся социально значимой цель — показать, как лингвистика может быть использована для решения ключевых экологических проблем, от изменения климата и потери биоразнообразия до экологической несправедливости. Тут осо-



бенно активными были Э. Хауген (Haugen 1972) и близкие к нему исследователи. Другая, более основательная цель эколингвистики – разработать лингвистические концепции, которые рассматривают человека не только как часть общества, но и как часть больших экосистем, от которых зависит жизнь. На ее основе постепенно сложилась новая версия эколингвистики с упором на естественное развитие языковых практик и на их трактовку в духе оязыковления. В этом важную роль сыграл журнал *Language Sciences* (см. его обзор его спецвыпуска: (Суховерхов 2014)).

## 6. Революция оязыковления

На наших глазах происходит революция в лингвистике. Она связана с перенесением внимания на феномен оязыковления. Все больше внимания уделяется мультимодальному общению как целостному единству всех практик и процессов общения с фокусировкой на вокализацию и вербализацию. Происходит переход от закрытого и догматического механицистского структурализма к открытому и критическому эволюционному прагматизму в трактовке человеческого общения вообще, а вербального в особенности.

Один из главных протагонистов «революции оязыковления» Стивен Коули резюмирует: «...за последние 60 лет лингвистика ворвалась в академию. Сначала, бросая вызов кантовской имманентности, Селларс [напр., Sellars 1960; 1967] проследил явные и неявные суждения до языка. Позже Матурана [напр., 1988] развил мнение, что человеческие наблюдатели конструируют миры, опираясь на лингвистику. В то время как все живые существа зависят от структурных связей, человеческие миры связывают лингвистику с праксисом и консенсуальными областями. В последнее время лингвистика стала объектом внимания общих и прикладных лингвистов, изучающих, в частности, партикулярность [Becker 1991], смыслообразование [Swain 2006] или творчество в поэзии [Lee, in press] и транслингвистику [Li 2018]. Теоретически человеческая диалогичность [Linell 2009] распределяет смысл в пространстве и времени. Отрицание привилегированного положения языка лежит в основе энактивной лингвистики [Bottineau 2017; Bondi 2017] и радикальной эколингвистики [Steffensen, Cowley 2021]» (Cowley 2021, p. 2).

Исследования оязыковления и использования языка переместились с периферии лингвистики, когнитивных исследований, семиотики, образования и преподавания языков к ядру соответствующих дисциплин, а теперь проникают в самое сердце наук о жизни и гуманитарных наук, обещая стать их интеграторами. Важнейшую роль в этом играют такие начинания, как энактивизм и в целом 4E-познание (4E cognition) и практики (к ним Поль Тибо добавляет *9Es of languaging* (Thibault 2020)), распределенный язык и сознание (оязыковление и мышление), расширенная экология человека и т. д.



Исследование выполнено в рамках госзадания ИНИОН РАН.

### Список литературы

Бюиссанс, Э., 2016. Абстрактное и конкретное в лингвистических фактах: речь-дискурс-язык. *Политическая наука*, 3, с. 209–216. [Buysens, E., 2016. On the abstract and the concrete in linguistic facts: Speech – discourse – language. *Political science (RU)*, 3, pp. 209–216 (in Russ.)] EDN: XCGBPH.

Гибсон, Дж., 1988. *Экологический подход к зрительному восприятию*. М. [Gibson, J.J., 1988. *Ekologicheskii podkhod k zritel'nomu vospriyatiyu* [The Ecological Approach to Visual Perception]. Moscow, p. 464 (in Russ.)].

Золян, С. Т., 2021. Семиопозис: становление значения в молекулярной генетике и биосемиотике. *Критика и семиотика*, 1, с. 57–77. [Zolyan, S. T., 2021. Semiopeosis: formation of meaning in molecular genetics and biosemiotics. *Critique and Semiotics*, 1, pp. 57–77 (in Russ.)] EDN: MAEGCO, <https://doi.org/10.25205/2307-1737-2021-1-57-77>.

Золян, С. Т., 2023. Откуда же метод берется? О самодостаточности семиотических объектов. *Слово.ру: балтийский акцент*, 14 (4), с. 137–152. [Zolyan, S. T., 2023. Where does the method come from? On the self-sufficiency of semiotic objects. *Slovo.ru: Baltic accent*, 14 (4), pp. 137–152 (in Russ.)] EDN: OOOIQN, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2023-4-8>.

Иванова, Е. В., 2007. Эколингвистика и роль метафоры при описании экологических проблем. *Вестник Челябинского государственного университета*, 13, с. 34–38. [Ivanova, E. V., 2007. Ecolinguistics and the role of metaphor in describing environmental problems. *Bulletin of Chelyabinsk State University*, 13, pp. 34–38 (in Russ.)] EDN: NBNMTL.

Иванова, Е. В., 2012. Экологическое сознание и эколингвистика. *Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета*, 7, с. 252–262. [Ivanova, E. V., 2012. Ecological consciousness and ecolinguistics. *Vestnik of South-Ural State Humanities-Pedagogical University*, 7, pp. 252–262 (in Russ.)] EDN: NPJGVM.

Ильин, М. В., 2023. Модели свертывания и развертывания во всеобщей эволюции мироздания. *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин*, 3 (4). М., с. 174–209. [Ilyin, M. V., 2023. Models of folding and unfolding in the general evolution of the universe. In: *METHOD: Moscow Yearbook of Social Studies*, 3 (4), pp. 174–209 (in Russ.)] EDN: BYLHDG, <https://doi.org/10.31249/metod/2023.04.10>.

Розов, Н. С., 2021. Происхождение языка: коэволюция коммуникативных забот и знаковых структур. *МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин*, 1 (2), с. 115–146. [Rozov, N., 2021. The origin of language: co-evolution of communication concerns and sign structures. In: *METHOD: Moscow Yearbook of Social Studies*, 1 (2), pp. 115–146 (in Russ.)] EDN: SUYYOQ, <https://doi.org/10.31249/metodannual/2021.11.08>.

Розов, Н. С., 2022. Происхождение языка и сознания. Как социальные порядки и коммуникативные заботы порождали речевые и когнитивные способности. Новосибирск. [Rozov, N., 2022. *Proiskhozhdenie yazyka i soznaniya. Kak sotsial'nye porядki i kommunikativnye zaboty porozhdali rechevye i kognitivnye sposobnosti* [The origin of language and consciousness. How social orders and communicative concerns generated speech and cognitive abilities]. Novosibirsk (in Russ.)] EDN: TVUIDI.

Степанов, Ю. С., 1971. Семиотика. М. [Stepanov, Yu. S., 1971. *Semiotika* [Semiotics]. Moscow (in Russ.)].



Суховерхов, А. В., 2014. Современные тенденции в развитии эколлингвистики. *Язык и культура*, 3 (27), с. 166–175. [Sukhoverkhov, A. V., 2014. Current trends in the development of ecolinguistics. *Language and Culture*, 3 (27), pp. 166–175 (in Russ.)] EDN: STQRAT.

Циммерлинг, А. В., 2023. Конкретно: синтактика без семиотики. *Слово.ру: балтийский акцент*, 14 (3), с. 125–153. [Zimmerling, A. V., 2023. Really: syntactics without semiotics? *Slovo. ru: Baltic accent*, 14 (3), pp. 125–153 (in Russ.)] EDN: VNJAWQ, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2023-3-9>.

Циммерлинг, А. В., 2024. Грамматика. Лингвистика. Язык (ответ дискуссантам). *Слово.ру: балтийский акцент*, 15 (1), с. 187–194. [Zimmerling, A. V., 2024. Grammar. Linguistics. Language. *Slovo. ru: Baltic accent*, 15 (1), pp. 187–194 (in Russ.)] EDN: GHZEIW, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2024-1-11>.

Чебанов, С. В., 2023. Нужна ли часть вне целого? (К статье А. В. Циммерлинга «Конкретно: синтактика без семиотики»). *Слово.ру: балтийский акцент*, 14 (4), с. 153–169. [Chebanov, S. V., 2023. A part outside the whole? (To Anton Zimmerling's article "Really: syntactics without semiotics?"). *Slovo.ru: Baltic accent*, 14 (4), pp. 153–169 (in Russ.)] EDN: EBYOKU, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2023-4-9>.

Buysse, E., 1943. *Les langages et le discours*. Bruxelles.

Cowley, S. J., 2017. Entrenchment: A view from radical embodied cognitive science. In: Schmid, H. J., ed. *Entrenchment and the Psychology of Language Learning: How we Reorganize and Adapt Linguistic Knowledge*. Berlin, pp. 409–431, <https://doi.org/10.1037/15969-019>.

Cowley, S. J., 2019. The return of languaging: Toward a new ecolinguistics. *Chinese Semiotic Studies*, 15 (4), pp. 483–512, <https://doi.org/10.1515/css-2019-0027>.

Cowley, S., 2021. Meaning comes first: languaging and biosemiotics. *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 15 (2), pp. 1–18, <https://doi.org/10.4396/2021200>.

Cowley, S. J., 2024. Languaging and practices: Intimations of a singular ontology. *Linguistic Frontiers*, 7 (1), pp. 39–53, <https://doi.org/10.2478/lf-2024-0007>.

Demuro, E. and Gurney, L., 2021. Languages/languaging as world-making: the ontological bases of language. *Language Sciences*, 83, 101307, <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2020.101307>.

Dik, S. C., 1968. *Coordination: Its implications for the theory of general linguistics*. Amsterdam.

Dik, S. C., 1980. Seventeen sentences: Basic principles and application of functional grammar. *Current approaches to syntax*. Brill, pp. 45–75.

Dik, S. C., 1987. Some principles of functional grammar. *Functionalism in linguistics*. Vol. 20, pp. 81–100.

Dik, S. C., 1989. *The theory of functional grammar. Vol. 1: The structure of the clause*. Berlin; New York.

Dik, S. C., 1997. *The theory of functional grammar. Vol. 2: Complex and derived constructions*. Berlin; New York.

Doughty, P., 1972. Pupils also use language to live: A defence of a linguistic approach to language study for the classroom. *English in Education*, 6 (1), pp. 18–28.

Doughty, P., 1979. Language for living: A principled approach to teaching mother tongue. *McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill*, 14 (1), pp. 61–69.

Harder, P., 1995. *Functional semantics: theory of meaning, structure and tense in English*. Berlin; New York.

Harder, P., 2010. *Meaning in mind and society: A functional contribution to the social turn in cognitive linguistics*. Berlin.



- Haugen, E., 1972. *The ecology of language: Language science and national development*. Stanford.
- Hayakawa, S. I., 1941. *Language in action*. Camden.
- Hayakawa, S. I., 1949. *Language in thought and action*. New York.
- Ilyin, M., 2024. Doing language (s) and other communicative practices. *Linguistic Frontiers*, 7 (1), pp. 23–31, <https://doi.org/10.2478/lf-2024-0005>.
- Kravchenko, A. V., 2016. Two views on language ecology and ecolinguistics. *Language Sciences*, 54, pp. 102–113, <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2015.12.002>.
- Martinet, A., 1969. *Langue et fonction*. Paris.
- Martinet, A., 1975. *Studies in functional syntax*. München.
- Martinet, A., 1989. *Fonction et dynamique des langues*. Paris.
- Maturana, H. and Bloch, S., 1985. *Biología del emocionar y Alba Emoting: Respiración y emoción, bailando juntos. Entrelazando Lenguaje y emoción*. Santiago de Chile.
- Maturana, H., 1989. Lenguaje y realidad: el origen de lo humano. *Archivos de Biología y Medicina Experimentales*, 22 (2), pp. 77–81.
- Mulcaster, R., 1582. *The first part of the elementarie vvich entreateth chfeleie of the right writing of our English tung*. Available at: <https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A07881.0001.001?view=toc> [Accessed 01.03.2025].
- Nelson, W., 1952. The teaching of English in Tudor grammar schools William Nelson. *Studies in Philology*, 49 (2), pp. 119–143.
- Saussure, F., 1971. *Cours de linguistique générale*. Paris.
- Seiberth, L. C., 2021. The role of languagings in Sellars' theory of experience. *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 15 (2), pp. 19–48, <https://doi.org/10.4396/2021205>.
- Sellars, W., 1956. Empiricism and the Philosophy of Mind. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, 1, pp. 253–329.
- Sellars, W., 1962. Philosophy and the scientific image of man. *Frontiers of science and philosophy*, 1, pp. 35–78.
- Sellars, W., 1967. Some remarks on Kant's theory of experience. *Journal of Philosophy*, 64, pp. 633–647.
- Thibault, P. J., 2020. *Distributed languaging, affective dynamics, and the human ecology*. Vol. 1: *The sense-making body*. Vol. 2: *Co-articulating self and world*. Routledge.

### Об авторе

Михаил Васильевич Ильин, доктор политических наук, главный научный сотрудник, ИНИОН РАН; ординарный профессор, НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-6278-374X

E-mail: mikhaililyin48@gmail.com

### Для цитирования:

Ильин М. В. Прагматика семиозиса и оязыковления // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 7–29. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-1.





## THE PRAGMATICS OF SEMIOSIS AND LINGUISATION

*Mikhail V. Ilyin*

Centre for Interdisciplinary Research, Institute of Scientific Information on Social Sciences,  
Russian Academy of Sciences,  
51/21 Nakhimovsky Prospekt, Moscow, 117418, Russia  
HSE University,  
20 Myasnitskaya St., Moscow, 101000, Russia  
Submitted on 30.04.2025  
Accepted on 16.05.2025  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-1

*A hermeneutical interpretation of Goethe's Faust's attempt to interpret the meaning of the Gospel word λόγος, the first three verses of the Gospel of John, and the first three verses of the book of Genesis is proposed. The analysis of these hermeneutical constructions makes it possible to relate them – as well as the phenomenon of genesis itself – to the author's model of recursion with inversive switching. The next step is to use this model to interpret and understand the pragmatic moment as the active beginning of meaning-making and communication. The radical expansion of pragmatics extends it beyond the bounds of semiotics proper, enabling it to be conceived as a virtually boundless sphere of human action – or more broadly, of universal agency. In this capacity, the expanding sphere of effective meaning-making is no longer reducible to practices and analytical rules of working with discrete signs. This requires their methodological and terminological distinction. Accordingly, the study of extended semiosis becomes a matter of emerging semiotics, and the principles and rules of combining discrete signs into complete statements become familiar semiotics. A similar need has emerged in contemporary linguistics: the need to distinguish between the expanded use of linguistic capacities for pragmatically motivated communication – or languaging – and the more narrowly defined traditional models of text and utterance construction based on normative lexicons and formal grammars. The article contains a sketch of the main approaches to the study of verbalisation and the formation of the corresponding scientific traditions.*

**Keywords:** *word, λόγος, verbum, case, πράγμα, āctus, acting forces, agency, pragmatics, semiotics, semiotics, sign systems, possibilities of communication, olingualisation, relingualisation*

*The article was prepared as part of the state assignment of INION RAS.*

**The author**

*Dr. Mikhail V. Ilyin, Professor, Principal Research Fellow at the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAS); Professor, HSE University, Moscow, Russia.*

ORCID ID: 0000-0001-6278-374X

E-mail: mikhaililyin48@gmail.com

**To cite this article:**

*Ilyin, M. V., 2025, The pragmatics of semiosis and linguisation, Slovo.ru: Baltic accent, Vol. 16, no. 3, pp. 7 – 29. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-1.*



## ЕЩЕ РАЗ О ФЕНОМЕНЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ

*А. Д. Шмелев*

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,  
Россия, 119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2  
Поступила в редакцию 19.11.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-2

*Рассмотрено явление прагматической обязательности. Это понятие иллюстрируется на материале русских дискурсивных маркеров (в частности, частиц вдруг и разве). Дано определение прагматической обязательности: отсутствие в тексте прагматически обязательного языкового выражения приводит к утрате связности или порождает ложную импликацию. Проанализирована прагматическая обязательность дискурсивных маркеров. Обсуждается появление прагматически обязательных дискурсивных маркеров в переводе при отсутствии непосредственных стимулов в оригинальном тексте.*

*Отдельно охарактеризована прагматическая обязательность при употреблении собственных имен и при рассказывании анекдотов. На основе понятия «мысленное досье» сформулирован прагматический принцип употребления собственных имен, предполагающий наличие у адресата речи каких-то сведений о носителе имени. Описана прагматическая обязательность дескрипции при интродуктивном употреблении собственных имен, а также выявлен художественный эффект ее отсутствия при первом появлении имени персонажа в художественном тексте.*

*Проведено разграничение рассказывания анекдота и смежных речевых жанров – цитирования анекдота и напоминания анекдота. Обоснована необходимость метатекстового ввода при рассказывании анекдота, возможность «перетекания» напоминания анекдота в рассказывание анекдота. Приведены примеры рассказывания анекдота, замаскированного под напоминание анекдота, в письменных текстах, адресованных неопределенному кругу читателей.*

**Ключевые слова:** прагматическая обязательность, дискурсивное слово, имя собственное, анекдот

### **1. Прагматически обязательные дискурсивные маркеры в переводных текстах**

В статье речь пойдет о явлении прагматической обязательности. Это понятие было введено в (Шмелев 2001) и более подробно разработано в (Levontina, Shmelev 2005). Сущность прагматической обязательности заключается в том, что отсутствие некоторой языковой единицы в тексте может привести к утрате связности или породить ложную импликацию.

При обсуждении прагматической обязательности в указанных работах речь шла о дискурсивных маркерах. Так, в (Шмелев 2001) рас-



смагриваемое понятие было введено в связи с использованием дискурсивного слова *вдруг* в условных клаузах, а в (Levontina, Shmelev 2005) понятие прагматической обязательности иллюстрировалось употреблением частицы *еще* в некотором типе высказываний о будущем.

Используя оборот *если вдруг...*, говорящий дает понять: 'Хотя для этого нет непосредственных причин, я хочу учесть и эту возможность, поскольку произойти может все что угодно'. Использование слова *вдруг* в такой ситуации часто бывает прагматически обязательно, так как его отсутствие в условном придаточном могло бы породить речевую импликацию 'говорящий считает реализацию данного условия весьма вероятной'.

Общий смысл высказываний вида *еще p* с частицей *еще* в значении, рассмотренном в (Levontina, Shmelev 2005), заключается в следующем. По мнению говорящего, адресат речи может полагать, что *p* уже никогда не будет иметь места; а говорящий сообщает адресату, что *p* будет иметь место, хотя, возможно, не в ближайшем будущем (напр., если кто-то уходит и говорит: *Я еще вернусь*).

Прагматически обязательные дискурсивные маркеры появляются в переводах с иностранных языков, даже если в тексте оригинала для них нет непосредственного стимула. Вполне вероятно, что переводчики вставляют их в текст почти автоматически, интуитивно ощущая, что без них текст был бы прагматически неадекватным. Приведем два примера того, как в придаточной клаузе условия в переводе появляется слово *вдруг*, из Национального корпуса русского языка (НКРЯ):

1. Why, if ever I DID fall off — which there's no chance of — but **IF I did** — 'Но даже если б я УПАЛ — что совершенно исключается, — но даже **ЕСЛИ** б это *вдруг* случилось...' [Lewis Carroll. Through the Looking-Glass and what Alice found there (1871) | Льюис Кэрролл. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье (Н. Демурова, 1967)].

В оригинальном тексте по поводу условия, обозначенного в придаточной клаузе, говорится *there's no chance*, и если бы в переводе не было слова *вдруг*, можно было бы подумать, что *Humpty Dumpty* (в русском переводе Шалтай-Болтай) считает свое падение вероятным, а это прямо противоречило бы его утверждению, что оно «совершенно исключается».

2. This threadbare alibi was not intended for the patching up of past tenses in case anything went wrong, for nothing could go wrong... 'Это шитое на живую нитку алиби предназначалось не для латания прошлого на случай, *если вдруг* что-то не сладится, — ибо «не сладится» ничего не могло...' [Vladimir Nabokov. The assistant producer (1952) | Владимир Набоков. Помощник режиссера (С. Ильин, 1990—2000)].

Поскольку «“не сладится” ничего не могло», условие 'на случай, если что-то не сладится' в русском переводе содержит слово *вдруг*, указывающее на чрезвычайно малую вероятность реализации этого условия.



Обратим внимание на то, что в оригинальных текстах нет никакого непосредственного стимула для появления в переводе слова *вдруг*: оно полностью обусловлено прагматическими факторами. В следующем примере в оригинале можно найти непосредственный стимул для *вдруг* (слово *suddenly*), но и здесь наличие в переводе этого слова можно считать прагматически обязательным, поскольку иначе могло бы создаться впечатление, что Фрэнк считал вполне вероятным, что Скарлетт О'Хара начнет при нем раздеваться:

3. It was easy to cry, because she was so cold and miserable, but the effect was startling. Frank could not have been more embarrassed or helpless if she had suddenly begun disrobing. 'Ей ничего не стоило заплакать, потому что она продрогла и чувствовала себя такой несчастной, но это произвело на Фрэнка поистине ошеломляющее впечатление. *Если бы она вдруг* принялась при нем раздеваться, он едва ли был бы более смущен и растерян' [Margaret Mitchell. *Gone with the Wind*, Part 2 (1936) | Маргарет Митчелл. Унесенные ветром, ч. 2 (Т. Кудрявцева, 1982)].

Другая группа примеров касается появления в переводе вопросительного предложения дискурсивного слова *разве*. Функция вопроса с этим словом заключается в том, чтобы обсудить необходимые предпосылки ситуации, находящейся в фокусе внимания (см.: (Булыгина, Шмелев 2001)). Часто это реакция на реплику собеседника, пресуппозиция которой или условия успешности соответствующего речевого акта противоречат предшествующим представлениям говорящего, так что он останавливает собеседника, фиксируя это несоответствие. Два примера из НКРЯ:

4. "Your young master." "Master! How is he my master? Am I a servant?" 'Ведь это же ваш молодой хозяин! — Хозяин? Почему это он мой хозяин? *Разве* я прислуга?' [Charlotte Brontë. *Jane Eyre* (1847) | Шарлотта Бронте. Джейн Эйр (В. Станевич, 1950)].

Мисс Эйр возмущена тем, что ей сказали «ваш молодой хозяин», потому что, по ее мнению, «хозяин» может быть только у прислуги, а предположение, что она сама вроде прислуги и потому у нее может быть «хозяин», противоречит ее представлениям.

5. "What girl are you?" "O, Frank — don't you know me?" said the spot. "Your wife, Fanny Robin. 'А кто вы, как вас зовут, девушка? — О, Фрэнк, *разве* ты не узнаешь меня? — отвечала тень. — Я твоя жена, Фанни Робин' [Thomas Hardy. *Far from the Madding Crowd* (1874) | Томас Гарди. Вдали от обезумевшей толпы (М. Богословская, Н. Высоцкая, 1970)].

Вопрос «кто вы, как вас зовут?» уместен, если говорящий не знаком с адресатом речи или не узнает его; но странно не узнавать собственную жену. (Впрочем, Фанни в момент этого разговора не была женой Фрэнка, хотя и хотела выйти за него замуж.)



Часто прагматически обязательным оказывается наличие некоторого дискурсивного маркера, но выбор конкретного маркера остается до некоторой степени произвольным. Если я начал читать книгу и она мне понравилась с первых страниц, я могу сказать *Кажется, это хорошая книга*, *Как будто это хорошая книга* или *Вроде это хорошая книга*, употребив показатель неуверенности (напр., *кажется, как будто* или *вроде*). Но фраза без такого показателя была бы прагматически неадекватна, поскольку имплицировала бы, что я прочел книгу целиком или хотя бы значительную ее часть и у меня есть основания для более уверенной оценки. По этой же причине показатель неуверенности нужен, если говорящий не читал книги, а судит о ней с чужих слов (но тогда наряду с дискурсивными маркерами *кажется, как будто* и *вроде* можно использовать эксплицитную отсылку к чужой оценке *говорят*).

Итак, свойство прагматической обязательности более всего характерно для дискурсивных маркеров. Однако это свойство может быть присуще и другим языковым выражениям. В следующих двух разделах речь пойдет о прагматической обязательности при интродуктивном употреблении собственных имен и при рассказывании анекдотов.

## 2. Стандартное и интродуктивное употребление собственных имен

Различение стандартного и интродуктивного употребления собственных имен опирается на прагматический принцип, описанный в (Шмелев 1989) в рамках «неокаузальной теории», разработанной автором указанной статьи. Для простоты обсудим этот принцип на материале антропонимов, хотя, вообще говоря, он применим ко всем собственным именам. Сущность прагматического принципа заключается в следующем: в отсутствие специальных показателей интродуктивности имя собственное может быть употреблено с референцией к конкретному лицу, если адресат речи, по мнению говорящего, располагает какими-то сведениями о носителе имени. Эти сведения можно представить себе хранящимися в «мысленном досье» носителя имени в соответствующем участке памяти адресата речи. Иными словами, стандартное референтное употребление имени собственного возможно, если говорящий предполагает, что у адресата речи есть некое «мысленное досье» носителя имени. Нарушение этого принципа может повлечь за собою коммуникативную неудачу.

Если у говорящего нет прагматической пресуппозиции о наличии в памяти адресата требуемого «мысленного досье», то, прежде чем использовать имя собственное для референции, он должен представить носителя имени адресату (то есть дать инструкцию открыть в сознании новое «досье»). Последующие употребления имени позволяют адресату речи его пополнить.

Высказывания, посредством которых говорящий представляет адресату речи носителя имени, могут быть названы интродуктивными ак-



тами. Способы языкового оформления интродуктивных актов могут быть различны. К ним относятся, например, остенсивные высказывания (*Знакомьтесь, это Петя*), а также случаи, когда употребление имени собственного сопровождается дескрипцией (иногда вместо дескрипции используется неопределенное местоимение, например *некто Петров*; это означает, что необходимые сведения для пополнения «мысленного досье» будут представлены далее). Не описывая подробно все разнообразие способов языкового оформления интродуктивных актов, заметим, что в ситуации, когда адресат речи не располагает «мысленным досье» носителя имени, использование интродуктивного акта можно считать прагматически обязательным. При отсутствии интродуктивного акта возникает импликатура, что, по мнению говорящего, такое «мысленное досье» у адресата речи уже есть.

Если в обычной коммуникации нарушение прагматического принципа может привести к коммуникативной неудаче, то в художественных текстах это часто используется как прием, как раз и направленный на порождение имплицатуры 'адресат речи располагает сведениями о носителе имени', поскольку корректное стандартное употребление имени собственного возможно лишь в том случае, если адресату известен референт. Таким образом, текст строится как обращенный к адресатам, которые уже введены в курс дела, и, чтобы иметь возможность понимать текст, читатель вынужден воображать себя человеком, уже имеющим представление о соответствующем персонаже. Художественный эффект такого приема может быть различен. В частности, можно упомянуть эффект «автоадресации» и эффект предназначенности для «узкого круга посвященных».

При «автоадресации» нет противопоставления говорящего и адресата. Так, в частности, строятся произведения, в которых сюжет движется не событиями, а воспоминаниями повествователя. В тексте, адресованном «вспоминателем» самому себе, нет необходимости представлять действующих лиц; любой объект, известный повествователю, тем самым известен и адресату.

В текстах, адресованных «узкому кругу посвященных», нет отождествления говорящего и адресата. Однако текст ориентируется на лиц, которым хорошо известны описываемые реалии. Поэтому степень информированности говорящего и адресатов здесь опять-таки одинакова. Так обстоит дело, в частности, в так называемой «светской повести», как бы обращенной к салонной аудитории и повествующей об «общих знакомых». Для «светской повести» характерен тон непринужденного разговора о предметах, известных собеседнику, в ней нередко встречаются намеки на общих знакомых, игра аллюзиями. Иногда там тоже текст строится как воспоминания повествователя, но это не воспоминания, обращенные к самому себе, — скорее повествователь делится своими воспоминаниями с кем-то, принадлежащим тому же кругу.

В текстах, основу которых составляет несобственно-прямая речь, субъект несобственно-прямой речи обычно сразу бывает назван по



имени, без специальной интродукции (описание ведется «изнутри», но в третьем лице). Нет нужды представлять персонажа, поскольку повествование ведется именно с его точки зрения. Вспомним начало рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»:

6. В пять часов утра, как всегда, пробил подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

Имя собственное *Шухов* появляется без сопровождающих пояснений, и дальнейшее повествование представляет собою его несобственно-прямую речь, лишь изредка прерываемую авторскими отступлениями. Для других имен собственных персонажей первое появление имени сопровождается пояснением. Приведем несколько примеров из самого начала рассказа: «его первого бригадира Кузёмина»; «Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий»; «сосед Шухова баптист Алёшка»; «Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг».

Повесть «Раковый корпус» строится на основе чередования несобственно-прямой речи разных персонажей. Начало повести — несобственно-прямая речь Русанова (и дальнейшее повествование в первой и второй главе строится на ней же):

7. Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус». Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный.

Но повторим, что видимое нарушение прагматического принципа в примерах такого рода только подтверждает его значимость. Возможно, многие встречали людей, которые говоря о своих знакомых, называют их по имени без интродукции, нисколько не заботясь о том, известен ли носитель имени собеседнику. Мы вправе сделать вывод, что либо эти люди ошибочно полагают, что их знакомые известны всем, либо они пренебрегают коммуникативными правами собеседников. Использование без интродукции собственных имен персонажей в художественном тексте лишь внешне выглядит как пренебрежение коммуникативными правами читателя. В действительности, как мы видели, это показатель того, что текст по своему формальному построению ориентирован вовсе не на читателя, а на фиктивного адресата, которому соответствующий персонаж прекрасно известен (иногда в роли фиктивного адресата выступает сам этот персонаж).

Иными словами, как в бытовой речи, так и в художественном тексте использование имени собственного без представления имплицитует,



что, по мнению говорящего, адресат уже располагает «мысленным досье» носителя имени. Если это предположение ложно, то, как уже говорилось, в обычной коммуникации это может быть причиной коммуникативной неудачи, а в художественном тексте это может быть приемом, особым образом очерчивающим круг адресатов, на которых формально ориентирован текст.

### 3. Рассказывание анекдота: метатекстовые вводы

С особым типом прагматической обязательности мы сталкиваемся, когда имеем дело с характеристиками речевых жанров. Это можно иллюстрировать на примере речевого жанра рассказывания анекдота.

Прежде всего необходимо отличить речевой жанр рассказывания анекдота от смежных речевых жанров — цитирования анекдота и напоминания анекдота.

При цитировании анекдота говорящий исходит из того, что анекдот уже известен слушателям. При этом анекдот может цитироваться полностью, но чаще говорящий ограничивается какой-то одной фразой. В последнем случае, если рассказчик специально не сообщит, что цитирует анекдот, слушатели могут не определить, что это цитата, а воспринять ее просто как ходящее выражение. Тогда цитата превращается в крылатое изречение, или мем, но жанр цитирования анекдота разрушается. По-видимому, не все носители русского языка осознают как цитаты из анекдотов такие выражения, как *белый и пушистый* или *доказывай, что ты не верблюд*.

При напоминании анекдота говорящий тоже исходит из того, что анекдот уже известен слушателям. Однако напоминание может быть косвенным, включать лишь указание на тему анекдота, на обстоятельства, при которых он был рассказан, на человека, от которого он был услышан (*ты как тот раввин из анекдота, или помнишь такой анекдот?, или помнишь любимый анекдот Владимирской епархии?*). Иногда напоминание анекдота включает цитату из него, и тогда напоминание похоже на цитирование. Напр.:

8. Ну это как старýй анекдот / *картошку сажаем / на-нау-наутро выкапываем*. [В.С. Степин, В.Г. Буданов. Беседа В.Г. Буданова со В.С. Степиным (2009)]

Но в отличие от цитирования анекдота, при напоминании говорящий всегда дает понять, что напоминает анекдот (чаще всего эксплицитно употребляя слово *анекдот*), и если оказывается, что слушатели не знают анекдота, говорящий может перейти к его рассказыванию.

Важное свойство речевого жанра рассказывания анекдота заключается в том, что говорящий должен предварить рассказывание особым метатекстовым вводом, обычно включающим слово *анекдот* (см., напр.: (Шмелева, Шмелев 2002, с. 29–31)). В качестве метатекстового ввода мо-



гут использоваться такие фразы, как *Давай(те) расскажу анекдот...; Хочешь, анекдот расскажу?* и т. д. Этим анекдот отличается, например, от речевого жанра шутки (шутки никогда не предваряются «метатекстовым» вводом типа *Я сейчас пошучу; Давайте я пошучу; Хотите, я пошучу* и т. п.).

Иногда «метатекстовый» ввод приходится делать более подробным, давая слушателям дополнительную информацию, необходимую для понимания анекдота. Ср.:

9. *Знаете советский анекдот двадцатых годов?* Кто как расшифровывает ВСНХ: Коммунисты — «всем скверно, нам хорошо». Нэпманы — «воруй смело, нет хозяина». А евреи — «холера на советскую власть».

Впрочем, даже при наличии такого метатекстового ввода современные слушатели понимают этот анекдот с некоторым напряжением. Во-первых, они могут уже не помнить подлинной расшифровки указанной аббревиатуры (*Высший совет народного хозяйства*), а во-вторых, им может потребоваться усилие, чтобы понять, что расшифровка «холера на советскую власть» представляет собою расшифровку ВСНХ, прочитанного справа налево (ср.: (Там же, с. 60—61)).

Когда напоминание анекдота перетекает в рассказывание анекдота, именно попытка напоминания играет роль метатекстового ввода. Собственно, метатекстовые вводы иногда строятся как попытка напоминания: *Знаете анекдот о...?; Слышал анекдот о...?* Если оказывается, что слушатели знают анекдот, рассказывание не происходит.

Но иногда говорящий, не будучи уверен, знают ли слушатели анекдот, строит его рассказывание как напоминание. Это особенно часто происходит, когда анекдот «рассказывается» в письменном тексте, предположительно адресованном неопределенному кругу читателей. Ср.:

10. Помните анекдот, когда жена при соседке назвала мужа сифилитиком, а тот врывается на кухню: «Сколько раз повторять: не сифилитик я, а филателист!» [Сергей Шерстеников. Доктор твоего // Автопилот. 2002. 15 янв.].

11. Знаете, как в том анекдоте... чем отличаются уроки от пар?... тем, что в школе учатся, а в институте парятся [Форум: Школа или универ где легче?] (2006)].

Но в любом случае, если рассказать анекдот, не предварив его каким-то метатекстовым вводом, слушатели будут в недоумении. Они могут спросить: «Ты что, анекдот рассказываешь?» Поэтому наличие метатекстового ввода можно считать прагматически обязательным для речевого жанра рассказывания анекдота.

#### 4. Заключительное замечание

Итак, мы видим, что понятие прагматической обязательности применимо не только к дискурсивным маркерам, но и к языковым единицам другой природы. Однако общая закономерность остается в силе:



высказывание осталось бы грамматически правильным и в отсутствие прагматически обязательных показателей, но оно стало бы прагматически неадекватным или порождало бы имплицатуры, не предусмотренные говорящим.

Именно это свойство позволяет использовать отсутствие прагматически обязательных показателей в целях непрямого выражения требуемого смысла. Однако сама возможность такого использования свидетельствует о прагматической обязательности соответствующих языковых выражений.

### Список литературы

Бульгина, Т. В., Шмелев, А. Д., 1987. О семантике частиц *razve* и *neuzheli*. *Научно-техническая информация*, 10, с. 21–25. [Bulygina, T. V. and Shmelev, A. D., 1987. On the semantics of particles *razve* and *neuzheli*. *Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya* [Scientific and technical information], 10, pp. 21–25 (in Russ.)].

Шмелев, А. Д., 1989. Пробный камень теории референции. *Вопросы кибернетики. Семиотические исследования*. М., с. 49–80. [Shmelev, A. D., 1989. The touchstone of the theory of reference. In: *Voprosy kibernetiki. Semioticheskie issledovaniya* [Topics in the study of cybernetics: Semiotic investigations]. Moscow, pp. 49–80 (in Russ.)].

Шмелев, А. Д., 2001. Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (*на всякий случай, если что, вдруг*). *Русский язык: пересекая границы*. М. Гиро-Вебер, И. Б. Шатуновский (отв. ред.). Дубна, с. 266–279. [Shmelev, A. D., 2001. Some trends in the semantic development of Russian discourse words (*na vsyakii sluchai, esli chto, vdruk*). In: M. Guiraud-Weber and I. B. Shatunovskiy, eds. *Russkii yazyk: peresekaya granitsy* [Russian: Crossing borders]. Dubna, pp. 266–279 (in Russ.)].

Шмелева, Е. Я., Шмелев, А. Д., 2002. *Русский анекдот: Текст и речевой жанр*. М. [Shmelev, E. Ya. and Shmelev, A. D., 2002. *Russkii anekdot: Tekst i rechevoi zhanr* [Russian jokes: Text and speech genre]. Moscow (in Russ.)].

Levontina, I. and Shmelev, A., 2005. The particles one cannot do without. In: Ju. D. Apresjan and L. L. Iomdin, eds. *East – West Encounter: Second international conference on meaning ↔ text theory*. Moscow, pp. 259–268.

### Об авторе

*Алексей Дмитриевич Шмелев*, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

ORCID ID: 0000-0002-5019-1525

E-mail: shmelev.alexei@gmail.com

#### Для цитирования:

*Шмелев А. Д.* Еще раз о феномене прагматической обязательности // *Слово.ру: балтийский акцент*. 2025. Т. 16, №3. С. 30–39. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-2.





## PRAGMATIC OBLIGATORINESS REVISITED

*Alexei D. Shmelev*Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences,  
18/2 Volkhonka St., Moscow, 110019, Russia

Submitted on 19.11.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-2

*This article examines the phenomenon of pragmatic obligatoriness. For illustrative purposes, it discusses Russian discourse markers – particularly the particles ‘vdrug’ and ‘razve’. An expression is considered pragmatically obligatory in a given communicative situation if its absence, where the situation calls for it, may lead to unintended implicatures. Pragmatically obligatory discourse markers may occasionally appear in translation even when no direct stimulus is present in the source text. Special attention is given to the use of proper names and the act of telling jokes. The article explores the pragmatic principle governing proper names through the concept of the mental dossier, arguing that the introduction of a name should be accompanied by a description of its referent. In fictional texts, violation of this principle may produce specific artistic effects. The article also differentiates between the telling of jokes and related speech genres. It argues that the introduction of a forthcoming canned joke into discourse is necessary, and it examines certain clichés commonly used to preface such jokes – clichés that are never employed to introduce spontaneous jokes.*

**Keywords:** *pragmatic obligatoriness, discourse word, proper name, canned joke*

**The author**

*Dr. Alexei D. Shmelev, Professor, Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Principal Research Fellow, Head of the Department of Russian Linguistic Standards, Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences.*

ORCID ID: 0000-0002-5019-1525

E-mail: shmelev.alexei@gmail.com

**To cite this article:**

Shmelev, A.D., 2025, Pragmatic obligatoriness revisited, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 30–39. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-2.



## КОННЕКТОРЫ — ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ В ДИСКУРСЕ И СОВМЕСТИТЕЛИ В ПРАГМАТИКЕ

*И. М. Кобозева*<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1

<sup>2</sup> Институт языкознания РАН,  
Россия, 125009, Москва, Большой Кисловский пер., 1 стр. 1

Поступила в редакцию 12.06.2025 г.

Принята к публикации 24.06.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-3

*Статья посвящена коннекторам — служебным словам, фраземам и конструкциям, основная функция которых состоит в выражении смысловых отношений между единицами дискурса. Цель статьи — рассмотреть отношение коннекторов к сфере прагматики, так как ранее коннекторы в этом аспекте не анализировались. Поскольку прагматика в лингвистических исследованиях имеет как минимум две трактовки, которые мы называем эпистемологической (прагматика как фоновые знания, задействованные при порождении и понимании дискурса) и семиотической (прагматика как информация об отношении говорящего к сообщаемому, заключенная в языковых выражениях), мы анализируем обе эти трактовки. Во вступительном разделе 1 обосновывается преимущество относительно нового для российской лингвистики термина «коннектор» по сравнению с близкими ему терминами и демонстрируется формальное разнообразие коннекторов. Основной раздел 2 состоит из двух частей, в первой из которых (2.1) показано, что прагматика в ее эпистемологической трактовке выступает как фактор, уточняющий выражаемое коннектором смысловое отношение, а во второй (2.2) — наличие в языковом значении коннекторов прагматической информации в ее семиотической трактовке. В результате анализа сделан вывод о том, что, помимо своей основной функции выражать смысловые связи между единицами дискурса, многие коннекторы выполняют дополнительную функцию передачи прагматической информации об отношении говорящего к пропозициональному содержанию связываемых ими единиц.*

**Ключевые слова:** коннектор, союз, дискурс, прагматика, оценка

### 1. Введение

#### 1.1. О термине «коннектор»

Коннектор — относительно новый термин в российской лингвистике, появившийся в 2010-е гг. в работах О.Ю. Иньковой и других лингвистов и информатиков, участвовавших в руководимом ею проекте по созданию многоязычной надкорпусной базы данных (БД) коннекторов на базе ИПИ ФИЦ ИУ РАН (Зацман и др. 2016) и использованию ее для проведения сопоставительных исследований<sup>1</sup>. Этот же термин был

---

© Кобозева И. М., 2025

<sup>1</sup> По-видимому, впервые, по свидетельству П. М. Тюрина (2016, с. 23) этот термин был использован в переводе статьи В. Дресслера (1978, с. 125).



позднее взят на вооружение и в проекте по созданию многоаспектной БД русских коннекторов «Рускон» под руководством Н. В. Сердобольской на базе ИЯ РАН (Кобозева и др. 2023). Термин *коннектор* был введен в противопоставление к термину *союз*, обозначающему лексико-грамматическую категорию (часть речи) с определенными формальными и семантическими свойствами. Формальные свойства прототипического союза — неизменяемость, непроницаемость (цельность), синтаксическая позиция на левой границе клаузы, синтаксическая связь с целыми клаузами, а не с их составляющими<sup>2</sup>. Семантические свойства союза: выражение смысловых отношений между пропозициями, входящими в семантическую структуру полипредикативных конструкций, — конъюнкции, обусловленности, одновременности и т. д. или валентности содержания, связывающей предикаты мысли, воли, чувства и речи с их пропозициональным актантом. При этом под полипредикативной конструкцией в случае с союзами в русском языке обычно понимается сложное предложение, хотя те же единицы языка могут связывать смысловыми отношениями и самостоятельные предложения, и более крупные единицы текста — так называемые сверхфразовые единства, пассажи и т. п.

Коннектор же — это прежде всего семантическая (функциональная) категория служебных (не предикативных) единиц языка, способных выражать смысловые отношения между единицами, выделяемыми на всех уровнях иерархической структуры текста / дискурса — от уровня клауз до макроструктурного уровня. Членами этой функциональной категории могут выступать не только неизменяемые слова любой из служебных частей речи, кроме предлогов, но и служебные фраземы и конструкции, части которых могут находиться в разных клаузах (ср. *ладно бы Р, а то Q*). Потребность в таком объединяющем понятии ощущалась давно. Одна из причин состоит в том, что его использование снимает проблему частеречной принадлежности показателей смысловых связей, которая до сих пор не разрешена в отношении многих служебных слов (ср. *ведь*, — частица или союз?; *затем* — наречие или союз? и т. д.). Предлагаемые в (Шведова 1980) «гибридные» категории типа *союзная частица* не снимают проблему, так как требуют определить часть речи слова с союзной функцией. Другой термин, предложенный в той же грамматике, — *аналог союза* — по сути, синонимичен термину *коннектор*, но уступает ему с точки зрения краткости.

Понятие *коннектора* по своему объему охватывает как *скрепы* в трактовке М. И. Черемисиной (Черемисина, Колосова 1987), так и *текстовые скрепы* в понимании А. Ф. Прияткиной (2007, с. 334). Еще одним синонимом *коннектора* выступает термин *релятив* (Ляпон 1986). Преимуществом термина *коннектор* по сравнению с другими однословными обозначениями вышеуказанного функционального класса слов яв-

<sup>2</sup> Синтаксическая связь с составляющими неклаузального типа наблюдается в предложениях с однородными членами, которые возникают в результате опущения повторяющихся частей соединяемых союзом клауз.



ляется его обеспечивающее межъязыковую узнаваемость фонетическое сходство с используемым в англоязычной литературе эквивалентом *connective*<sup>3</sup>.

Итак, коннекторы — это нечеткое множество однословных и неоднословных единиц языка, принадлежащих разным частям речи, в основном служебным, но не только, и используемых для выражения смысловых отношений между единицами текста / дискурса, которые мы будем вслед за (Кибрик, Подлеская 2009) именовать дискурсивными единицами (ДЕ) — от элементарных, содержащих одну пропозицию, до сложных, представляющих собой обширные пассажи.

### 1.2. Формальное разнообразие коннекторов и соединяемых ими ДЕ

Приведем примеры, показывающие сколь различны в формальном отношении элементы множества коннекторов и соединяемых ими единиц текста / дискурса.

(1)...**Потом** [мы спустились на берег океана пробежаться и позаниматься боксом. Если он слегка уставал, то начинал изображать тренера: оставившись, якобы **затем, чтобы** поправлять мои удары и стойки, **но** я знал, что главным образом ему просто надо отдышаться. **Так**, за упражнениями и пробежками, мы одолевали по пляжу несколько миль, отделявших Гусиную бухту от Авроры.] **Затем** [поднимались по скалам Гранд-Бич и шли по спящему городу] [J. Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert (2012) | Ж. Диккер. Правда о деле Гарри Квеберта (И. Стаф, 2017)].

Здесь простые наречия *потом* и *затем* последовательно соединяют сложные ДЕ в нарративе отношением временного следования; союз *если* с дистантно расположенным коррелятом *то* (“двухместный союз”) устанавливает каузальную связь между двумя монопредикативными ДЕ; “составной союз” *затем, чтобы* устанавливает отношение цели опять-таки между двумя монопредикативными ДЕ, а простой (однословный) союз *но* соединяют полипредикативную ДЕ с монопредикативной в рамках СП; наконец, анафорическое местоимение *так* устанавливает отношение тождества между ситуацией, описанной в предшествующей ДЕ и способом действия, описанного в следующей ДЕ. В примере (2) простой союз *но* соединяет две реплики в диалоге:

(2) — Эту книжку я, к сожалению, не могу продать. Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали... — **Но**, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? [И. А. Бунин. Грамматика любви (1915)].

Итак, основная функция коннекторов — выражать и тем самым устанавливать смысловые связи между ДЕ — есть то, что позволяет рассматривать их как «штатных сотрудников» по ведомству Дискурса. Если бы в дискурсе не было коннекторов, понять смысл сказанного было бы намного сложнее, если вообще возможно. В области анализа дискур-

<sup>3</sup> К тому же, как справедливо отмечает П. М. Тюрин, экстенционал терминов *скрепа* и *текстовая скрепа* в работах разных авторов неодинаков (2016, с. 23–25).



са изучение семантики коннекторов ведется в терминах набора смысловых, или логико-семантических отношений между ДЕ, включающего в свой состав все те отношения между частями сложного предложения, которые описаны в традиционной грамматике, но не ограничивающегося ими. Мы в данной статье не будем касаться этой важной темы, которой посвящено множество исследований, а попытаемся ответить на вопрос, какое отношение коннекторы имеют к ведомству Прагматики.

## 2. Коннекторы в их отношении к прагматике

Ответ на поставленный выше вопрос зависит от того, что мы вкладываем в понятие «прагматика».

### 2.1. Прагматика как фактор разрешения неоднозначности коннектора

Общеизвестно, что в естественных процессах порождения и понимания речи задействуется не только знание языка *per se*, но и разнообразные знания других типов (см. лингвистически ориентированную классификацию знаний: (Паршин 1981)). Достаточно распространено в лингвистике мнение, согласно которому всякое обращение к экстралингвистическим знаниям или представлениям в лингвистических описаниях есть выход в сферу прагматики. Если так трактовать прагматику, которую мы назовем эпистемологической, то можно сказать, что в общем случае сам по себе коннектор как языковой знак не обеспечивает установления правильного смыслового отношения между ДЕ без обращения к прагматике. Так, союзы выражающие причинно-следственные отношения, как и многие другие коннекторы, могут устанавливать их на разных уровнях содержания соединяемых ДЕ: на объективном онтологическом уровне описываемых ими ситуаций (ситуация Р — причина ситуации Q, то есть ситуация Р порождает ситуацию Q) и на субъективном уровне имплицитных пропозициональных установок по отношению к описываемым ситуациям, как было показано в (Разлогова 1988).

(3) Деревья качаются (Q), **потому что** дует ветер (Р) [Ситуация Р порождает ситуацию Q].

(4) Ветер дует (Q), **потому что** деревья качаются (Р) [Восприятие ситуации Р порождает знание о том, что имеет место ситуация Q].

В обоих случаях *потому что* обозначает каузальную импликацию (1), которая образует общий компонент в семантике разных употреблений коннектора. Но в случаях типа (3) каузальная зависимость между ситуациями Р и Q ( $P \perp Q$ ) принадлежит фонду общих знаний, из которого извлекается, так сказать «в готовом виде», не требуя проведения каких-либо когнитивных процедур со стороны говорящего, тогда как (4) вербализует когнитивную процедуру умозаключения-абдукции: го-



ворящий высказывает мнение  $Q$ , обосновывая его утверждением  $P$ , истинность которого адресат не будет оспаривать, и общим фоновым знанием  $P \perp Q$ . Экспериментально установлено на материале английского языка, который в рассматриваемом аспекте не отличается от русского, что понимание предложений типа (4) требует больше времени, чем понимание предложений типа (3) (Traxler et al., 1997), и объясняется это именно тем, что в предложениях типа (4) слушающий должен построить более сложную семантическую структуру, включающую два ментальных пространства, в смысле (Fauconnier 1994): ментальное пространство знаний о мире и ментальное пространство сознания говорящего — его мнений и убеждений (Sanders et al. 2009).

Итак, один и тот же коннектор служит маркером разных смысловых отношений, хотя и имеющих общий семантический компонент, ср. отношения Причины (Волитивной и Неволитивной) и Обоснования в Теории риторической структуры (Mann, Thompson 1992; Кибрик, Подлесская 2009). Правильное установление смыслового отношения обеспечивает совместная работа коннектора и знаний об устройстве мира. Так, наивный воробьишек Пудик из сказки М. Горького «Воробьишко» понял бы высказывание (5), будь оно произнесено его мамой-воробьихой, ошибочно — как авторитетное высказывание об устройстве мира, так как в его представлениях о мире ветер порождался именно качанием деревьев.

В работах о союзах (ядре класса коннекторов), написанных с позиции так называемой «радикальной прагматики», было продемонстрировано, что семантическое описание многих коннекторов может быть упрощено, «разгружено», по словам Е. В. Падучевой (1985, с. 43), если отнестись часть информации, на первый взгляд выражаемой союзом, к коммуникативным импликатурам — выводам, получаемым из сказанного на основе знания правил речевого общения типа максим П. Грайса. Так, в (Шведова 1980) союз *и* считается выразителем широкого круга значений, в том числе значения временного следования 'после этого', реализующегося в предложениях вида  $P$  и  $Q$ , когда предикаты соединяемых клауз имеют форму СВ. Но приписывать такое значение союзу *и* излишне, потому что компонент 'после этого' вносится в значение такого предложения не союзом. Мы легко можем опустить союз, а компонент 'после этого' в смысловой структуре предложения сохранится:

- (5) Они поженились, и у них родилась двойня.
- (6) Они поженились, у них родилась двойня.

Семантика СВ в совокупности со знаниями о мире исключает как одновременность, так и пересечение ситуаций  $P$  и  $Q$  во времени, а компонент 'Q после P' — это коммуникативная имплицатура, выводимая из максимы способа 'Излагай события последовательно', то есть в том порядке, в котором они совершались. Если бы порядок на деле был обратным, что вполне возможно в нашем мире, то высказывание (5), как и (6), нарушало бы эту максиму. Исходя из предположения о взаимном



соблюдении коммуникантами Принципа сотрудничества и вытекающих из него правил-максим, мы из (5) делаем вывод: 'Двойня родилась после вступления в брак', а из (7) — 'Вступление в брак произошло после рождения двойни':

(7) У них родилась двойня, **и** они поженились.

Такое отношение между коннекторами и прагматикой вряд можно описать как работу коннекторов на прагматику. Скорее наоборот: прагматика «помогает» коннектору в установлении максимально конкретного смыслового отношения между ДЕ. В следующем разделе мы покажем, что при иной трактовке прагматики коннекторы совмещают свою основную — связующую — функцию с прагматической.

## 2.2. Коннекторы на службе у прагматики

Если прагматику высказывания трактовать в семиотическом смысле — не как фоновые знания, ассоциируемые с его собственно языковым значением, а как особый тип информации, входящий в значение используемых языковых знаков, а именно информации об отношении говорящего к сообщаемому, то окажется, что коннекторы (разумеется, не все) способны не только выполнять свою основную работу по установлению смысловых связей в дискурсе, но и совмещать ее с передачей прагматической информации.

К такой информации относятся прежде всего субъективно-модальные компоненты отношения  $\Gamma^4$  к одной из соединяемых ситуаций, встроенные в семантику коннектора. Как известно, соединительные союзы *и*, *а* и *но* различаются именно такими компонентами, по-разному формулируемыми в их аналитических толкованиях. Так, союзы *и* и *но* устанавливают соединительное отношение (конъюнкцию) между соединяемыми ДЕ Р и Q:

(8) Р *и* / *но* Q = 'Р имеет место, Q имеет место' (Санников 1989).

Различаются же они тем, как  $\Gamma$  оценивает «нормальность» наличия Q при наличии Р. Рассмотрим предложения, отличающиеся только выбором союза:

(9) Родители подарили молодым на свадьбу путевку в Турцию, **и** те были в восторге.

(10) Родители подарили молодым на свадьбу путевку в Турцию, **но** те были в восторге.

Союз не только выражает логико-семантическое отношение конъюнкции между Р и Q, но и сообщает об отношении говорящего к нормальности восторженной реакции молодоженов на такой свадебный подарок. В случае (9) такая реакция для говорящего нормальна, ожида-

<sup>4</sup> Здесь и далее буквой  $\Gamma$  обозначается говорящий.



ема, а в случае (10) — ненормальна (*Чему тут радоваться? Не Мальдивы же и не ключи от новой квартиры!*). В подобных случаях, характеризующихся тем, что влияние ситуации  $P$  на ситуацию  $Q$  не входит в фонд общих знаний о мире, выбор союза сообщает нам нечто о взглядах говорящего, то есть содержит имплицитную прагматическую информацию.

Заметим, что в разделе 2.1 мы уже говорили о предложениях с коннектором типа *потому что*, которые содержат информацию о мнении говорящего, выводимом из некоторого общего знания. Это, несомненно, прагматическая информация в рассматриваемом в данном разделе понимании. Но она не встроена в значение коннектора, а вносится в интерпретацию предложения только при обнаружении невозможности проанализировать его на объективном онтологическом уровне связей между ситуациями в базе знаний о мире. В отличие от этого союз *но* заключает в своем значении компонент, который Е. В. Урысон эксплицирует как 'ожидание': в случае союза *и*  $Q$  соответствует ожиданию говорящего, а в случае *а* и *но* — не соответствует (Урысон 2011, с. 312–316). Таким образом, сочинительные союзы несут прагматическую информацию о том, соответствует ли конъюнкция  $P \wedge Q$  ожиданиям говорящего.

Коннектор может нести и информацию об эмоциональном состоянии говорящего. Так, в (Зализняк, Микаэлян 2018) описывается семантическое различие между предложением с союзом *но* и предложением, в котором вместо *но* употребляется другой противительный союз — *а*. Применительно к предложениям (11) и (12):

(11) Два месяца отдыхал, **но** работать по-прежнему не могу.

(12) Два месяца отдыхал, **а** работать по-прежнему не могу.

оно характеризуется следующим образом: в (11) «содержится сухая констатация» ненормальности ситуации  $Q$  при наличии ситуации  $P$ , по мнению говорящего, а в (12) «говорящий выражает свое недоумение по поводу необъяснимого положения дел» (Там же, с. 35–36). И далее: «главная функция *а*, в отличие от *но*, — выразить **отношение говорящего** к наблюдаемому факту сосуществования двух несовместимых друг с другом ситуаций: удивление или недоумение, связанное с непониманием причины такого положения вещей» (Там же, с. 37).

В рассмотренном случае коннекторы содержат информацию об оценке  $\Gamma$ -им одновременной истинности соединяемых пропозиций  $P$  и  $Q$  как нормальной или ненормальной, которая в случае ненормальности может сопровождаться информацией об эмоциональном состоянии удивления или недоумения говорящего

Другие коннекторы сообщают о том, что говорящий считает некоторую ситуацию саму по себе в том или ином отношении ненормальной. При этом норма может быть статистической, этической, утилитарной и т.д. Иными словами, «нормативным» при этом может быть как «ожидаемое (согласно знаниям или представлениям говорящего о



мире)», так и «должное» или «полезное». Рассмотрим кластер трехвалентных двухместных коннекторов с первым компонентом *ладно бы*: *ладно бы... а то/ так нет / так ведь / но/.../ φ*: *Н. Ладно бы Р, а то Q*.

Доказательством наличия у коннекторов данного кластера третьего семантического актанта *Н* является его обязательность: предложение с *ладно бы* не может открывать собой повествование или быть первой репликой диалога. Ему должно предшествовать высказывание, выражающее семантический актанта *Н*. При этом синтаксическая сфера действия коннектора по данному актанту не может быть задана строгими лингвистическими правилами, то есть является лингвистически неопределенной по терминологии, предложенной Е. В. Урысон (2011, с. 155). Первый семантический актанта *Н* описывает ненормативную, аномальную с точки зрения говорящего ситуацию, второй актанта *Р* обозначает гипотетическую ситуацию, при которой он готов был бы принять ситуацию в *Н* как более близкую к норме, а третий — реальную ситуацию *Q*, которая усугубляет отклонение *Н* от нормы.

(13) Стянули менты наши кровно заработанные рублики (**Н**). Да ладно бы голятивинские стянули (*Р*), тем от природы суждено грабить, а то московские, которые самого Сталина охраняют (*Q*)!<sup>5</sup>

(14) В Новом Манеже в первые полчаса работы выставки были на корню скуплены все идеи чучхе. **Ладно бы** корейцы, **так нет**, наши москвичи растащили гору брошюр, причем образовалась свалка.

Более частотны случаи, когда отклонение от нормы оценивается *Г* отрицательно. Так в (13) говорящий явно осуждает действия «ментов». В случае (14) отрицательная оценка случившегося в Манеже не столь очевидна, но «вычисляется» благодаря использованию лексики с отрицательными коннотациями: *скупить на корню*, и подкрепляется в дальнейшем словами *растащить, свалка*. Редки, но все-таки возможны и оценочно-нейтральные примеры с отклонением от нормы, как, например:

(15) В музее видно, что, несмотря на ивановские ламентации о низком культурном уровне местного населения, статус писателя по-прежнему высок, и **ладно бы** только писателя: главное божество местного пантеона — литературный критик Валентин Курбатов, представленный здесь портретами маслом, мраморными скульптурами и чуть ли не видеoinсталляциями.

Автор данного высказывания явно иронизирует над почитанием критика Курбатова, но тем не менее нет оснований усматривать в этом примере отрицательную оценку того, что статус писателя у местного населения по-прежнему высок. Это, с точки зрения автора, необычно, но не плохо.

Несомненно, оценка говорящим одной из соединяемых коннектором ситуаций входит в семантику коннекторов *благодаря тому что, из-за того что*. Коннекторы *благодаря тому / из-за того что* конвенционально имплицитно соответствуют положительно и отрицательную оценку говорящим ситуации в главной ДЕ.

<sup>5</sup> Примеры (13–15) взяты из Национального корпуса русского языка.



(16) Враг вступает в город, пленных не щадя, из-за того (\*благодаря тому) что в кузнице не было гвоздя.

Коннектор *хорошо*, семантика и синтаксис которого описаны в (Иомдин 2014) представлен в примере (17):

(17) [Оставшись с двойняшками на руках, он потерялся], **хорошо** [тёща забрала их в деревню, отпаивала разбавленным коровьим молоком, овсяным отваром, и вот – тьфу, тьфу! – дети растут...]

Он имеет три семантических актанта: ситуация Р, отрицательные следствия Q, которые она могла бы вызвать, и ситуация R, которая не дала этим следствиям реализоваться. В рамках сложной ДЕ, формируемой этим коннектором, выражены только два актанта – ситуации Р и R, а возможные отрицательные последствия Q имплицитированы, но могут быть эксплицитированы в следующей ДЕ. Так, в (17) подразумевается, что двойняшки могли остаться без должного присмотра и пострадать от этого, и это могло бы быть выражено в продолжении, например *А то пропали бы, бедные*. Таким образом, коннектор *хорошо* несет прагматическую информацию о том, что говорящий считает ситуацию Р потенциально опасной, нежелательной для себя или других лиц, а ситуацию R оценивает положительно. Интересно, что коннектор *благо*, устанавливающий между соединяемыми ДЕ отношение, которое в Теории риторических структур называется Обеспечением возможности (Enablement), не несет информации об оценочном отношении говорящего ни к одной из соединяемых им ДЕ<sup>6</sup>.

Нетривиальную информацию о психологическом состоянии говорящего выявила И. Б. Левонтина в семантике союза *ан*, который согласно ее анализу, также является трехвалентным.

(18) Ему на больной ноге [A3], казалось, вообще до финиша не добежать [A1], **ан** он первым пришел [A2]!

Вот как она описывает эту прагматическую информацию: «Высказывания с *ан* делаются с позиции превосходства: говорящий ощущает свое преимущество перед другими участниками ситуации или над слушающим, поскольку он-то раньше других знал, каково истинное положение дел» (Левонтина 2020, с. 261).

Разумеется, рассмотренными коннекторами не ограничивается подмножество единиц данного функционального класса, несущих прагматическую информацию, однако полный охват таких единиц не входил в задачи нашего исследования.

<sup>6</sup> Подробнее об оценке в семантике коннекторов см.: (Кобозева 2024).



### 3. Заключение

Мы рассмотрели, как соотносятся коннекторы с областью прагматики в двух ее трактовках, наблюдаемых в лингвистике, — эпистемологической и семиотической.

Не ставя перед собой задачи исчерпывающего описания вклада коннекторов в прагматический слой содержания текста, мы показали, что в семантике ряда коннекторов присутствует не только информация о смысловых связях между единицами дискурса, но и прагматическая информация, что и оправдывает метафору о совместительстве в названии данной статьи.

Таким образом, коннекторы встают в один ряд с модальными частицами и вводными (модальными) словами в качестве носителей прагматической, в том числе, оценочной информации. Учет прагматической семантики коннекторов позволит уточнить методы извлечения из текста / дискурса имплицитной информации об эпистемическом, аксиологическом и эмоциональном отношении говорящего к сообщаемому, как и о его позиционировании по отношению к адресату.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Связь пропозициональных единиц в предложении и в тексте: семантика и пути грамматикализации» №22-18-00528п, в Институте языкознания РАН, [https://rscf.ru/prjcard\\_int?22-18-00528](https://rscf.ru/prjcard_int?22-18-00528).*

### Список литературы

Дресслер, В., 1978. Синтаксис текста. *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 8: Лингвистика текста. М., с. 111–137. [Dressler, V., 1978. The syntax of the text. In: *Novoe v zarubezhnoi lingvistike*. Вып. 8: *Lingvistika teksta* [New in foreign linguistics. Issue 8: Linguistics of the text]. Moscow, pp. 111–137 (in Russ.).]

Зализняк, А. А., Микаэлян, И. Л., 2018. Союз А. *Семантика коннекторов: контрастивное исследование*. О. Ю. Инькова (ред.). М., с. 24–79. [Zaliznyak, A. A. and Mikaelyan, I. L., 2018. Conjunction A. In: O. Yu. Inkova, ed. *Semantika konnektorov: kontrastivnoe issledovanie* [Semantics of connectors: a contrastive study]. Moscow, pp. 24–79 (in Russ.)] EDN: YLDTUD, <https://doi.org/10.30826/SEMANTICS18-02>.

Зацман, И. М., Инькова, О. Ю., Кружков, М. Г., Попкова, Н. А., 2016. Представление кроссязыковых знаний о коннекторах в надкорпусных базах данных. *Информатика и ее применения*, 10 (1), с. 106–118. [Zatsman, I. M., Inkova, O. Yu., Kruzchkov, M. G. and Popkova, N. A. 2016. Representation of cross-lingual knowledge about connectors in supracorpora databases. *Informatika i ee primeneniya* [Informatics and applications], 10 (1), pp. 106–118 (in Russ.)] EDN: VXDWPP, <https://doi.org/10.14357/19922264160110>.

Иомдин, Л. Л., 2014. Хорошо меня там не было: синтаксис и семантика одного класса русских разговорных конструкций. *Grammaticalization and lexicalization in the Slavic languages. Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the grammatical structure of the Slavic languages of the International Committee of Slavists*. Nomachi, M., Danylenko, A. and Piper, P., eds. München; Berlin; Washington, pp. 423–



436. [Iomdin, L.L., 2014. It was good that I wasn't there: syntax and semantics of a class of Russian colloquial constructions. In: Nomachi, M., Danylenko, A. and Piper, P., eds. *Grammaticalization and lexicalization in the Slavic languages. Proceedings from the 36th meeting of the Commission on the grammatical structure of the Slavic languages of the International Committee of Slavists*. München; Berlin; Washington, pp. 423–436 (in Russ.)] EDN: TOGQHH.

Кибрик, А. А., Подлеская, В. И., (ред.), 2009. *Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса*. М. [Kibrik, A.A. and Podlesskaya, V.I., eds., 2009. *Rasskazy o snovideniyakh. Korpusnoe issledovanie ustnogo russkogo diskursa* [Stories about dreams. Corpus study of oral Russian discourse] (in Russ.)] EDN: RBONUT.

Кобозева, И. М., Сердобольская, Н. В., Крюкова, А. И., Пилогина, Д. А., 2023. Создание базы данных коннекторов современного русского языка: принципы, проблемы, результаты. *Вестник Тюменского государственного университета*, 4, с. 36–47. [Kobozeva, I.M., Serdobolskaya, N.V., Kryukova, A.I. and Pilyugina, D.A., 2023. Creating a database of modern Russian clause linkers: principles, problems, results. *Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanities*, 9 (4), pp. 36–47 (in Russ.)] EDN: UZUXZF, <https://doi.org/10.21684/2411-197X-2023-9-4-36-47>.

Кобозева, И. М., 2024. Оценка в семантике союзов (заметки на полях двух грамматик). *Язык и мир. К столетию со дня рождения Нины Давидовны Арутюновой. Логический анализ языка*. М., с. 157–167. [Kobozeva, I.M., 2024. Evaluation in the semantics of conjunctions (notes on the margins of two grammars). In: *Yazyk i mir. K stoletiyu so dnya rozhdeniya Niny Davidovny Arutyunovoi. Logicheskii analiz yazyka* [Language and the world. Language and the world: celebrating the 100th anniversary of Nina Davidovna Arutyunova's birth. Logical language analysis]. Moscow, pp. 157–167 (in Russ.)].

Левонтина, И. Б., 2020. «Мелкое слово» ан. *Труды Института русского языка имени В. В. Виноградова*, 3 (25), с. 253–264. [Levontina, I.B., 2020. The Russian “Small word” an ‘But, in fact’. *Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute*, 3 (25), pp. 253–264 (in Russ.)] EDN: JOVEZZ, <https://doi.org/10.31912/pvrli-2020.3.17>.

Ляпон, М. В., 1986. *Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений*. М. [Lyapon, M.V., 1986. *Smyslovaya struktura slozhnogo predlozheniya i tekst. K tipologii vnutritekstovykh otnoshenii* [The semantic structure of a complex sentence and the text. Towards a typology of intra-textual relations]. Moscow (in Russ.)].

Падучева, Е. В., 1985. *Высказывание и его соотносительность с действительностью*. М. [Paducheva, E.V., 1985. *Vyskazyvaniye i ego sootnesennost' s deistvoitel'nost'yu* [The utterance and its relation to reality]. Moscow (in Russ.)].

Паршин, П. Б., 1981. К вопросу о лингвистически ориентированной классификации знаний. *Труды по искусственному интеллекту. IV. Диалоговые системы и представление знаний*. Тарту, с. 102–116. [Parshin, P.B., 1981. On the linguistically oriented classification of knowledge. In: *Trudy po iskusstvoennomu intellektu. IV. Dialogovye sistemy i predstavlenie znaniy* [Works on artificial intelligence. IV. Dialog systems and knowledge representation]. Tartu, pp. 102–116 (in Russ.)].

Прияткина, А. Ф., 2007. Текстовые «скрепы» и «скрепы-фразы» (о расширении категории служебных единиц русского языка). *Русский синтаксис в грамматическом аспекте (синтаксические связи и конструкции)*. Владивосток, с. 334–344. [Priyatkina, A.F., 2007. Textual “clips” and “clip phrases” (On the expansion of the category of function words in the Russian language). In: *Russkii sintaksis v grammati-*



*cheskom aspekte (sintaksicheskie svyazi i konstruktсии)* [Russian syntax in the grammatical aspect (syntactic relations and constructions)]. Vladivostok, pp. 334–344 (in Russ.)] EDN: ZDZHFK.

Разлогова, Е. Э., 1988. Эксплицитные и имплицитные пропозициональные установки в причинно-следственных и условных конструкциях. *Логический анализ языка. Знание и мнение*. М., с. 98–107. [Razlogova, E. E., 1988. Explicit and implicit propositional attitudes in causal and conditional constructions. In: *Logicheskii analiz yazyka. Znanie i mnenie* [Logical analysis of language. Knowledge and opinion]. Moscow, pp. 98–107 (in Russ.)].

Санников, В. З., 1989. *Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис*. М. [Sannikov, V. Z., 1989. *Russkie sochnitel'nye konstruktсии: Semantika. Pragmatika. Sintaksis* [Russian coordinating constructions: Semantics. Pragmatics. Syntax]. Moscow (in Russ.)].

Тюрин, П. М., 2016. *Текстовые скрепы таким образом и итак в современном русском языке: особенности функционирования и семантики*. Владивосток. [Tyurin, P. M., 2016. *Tekstooye skrepy takim obrazom i itak v sovremenном russkom yazyke: osobennosti funktsionirovaniya i semantiki* [Text clips in this way and so in modern Russian: features of functioning and semantics]. Vladivostok (in Russ.)] EDN: XFETLH.

Урысон, Е. В., 2011. Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о деятельности сознания. М. [Uryson, E. V., 2011. *Opyt opisaniya semantiki soyuзов: Lingvisticheskie dannye o deyatel'nosti soznaniya* [An attempt at describing the semantics of conjunctions: linguistic evidence of consciousness in action]. Moscow (in Russ.)].

Черемисина, М. И., Колосова, Т. А., 1987. *Очерки по теории сложного предложения*. Новосибирск. [Cheremisina, M. I. and Kolosova, T. A., 1987. *Ocherki po teorii slozhnogo predlozheniya* [Essays on the theory of complex sentences]. Novosibirsk (in Russ.)].

Шведова, Н. Ю., ред., 1980. *Русская грамматика*. Т. 2. М. [Shvedova, N. Yu., ed., 1980. *Russkaya grammatika* [Russian grammar]. Vol. 2. Moscow (in Russ.)].

Fauconnier, G., 1994. *Mental spaces: Aspects of meaning construction in natural language*. New York.

Mann, W. C. and Thompson, S. A., 1992. Rhetorical structure theory and text analysis. In: W. Mann and S. Thompson, eds. *Discourse Description. Diverse Linguistic Analyses of a Fundraising Text*. Amsterdam; Philadelphia.

Sanders, T., Sanders, J. and Sweetser, E., 2009. Causality, cognition, and communication: A mental space analysis of subjectivity in causal connectives. In: *Causal categories in discourse and cognition*. Berlin, pp. 19–60.

Traxler, M. J., Sanford, A. J., Aked, J. P. and Moxey, L. M., 1997. Processing causal and diagnostic statements in discourse. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 23 (1), pp. 88–101.

## Об авторе

Ирина Михайловна Кобозева, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; ведущий научный сотрудник лаборатории по изучению и сохранению малых языков, Институт языкознания РАН, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0003-4214-2878

E-mail: kobozeva@list.ru

**Для цитирования:**

Кобозева И.М. Коннекторы – штатные сотрудники в Дискурсе и совместители в Прагматике // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 40–53. 10.5922/2225-5346-2025-3-3.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ  
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## CONNECTIVES – FULL-TIME EMPLOYEES IN DISCOURSE AND OUTSOURCERS IN PRAGMATICS

*Irina M. Kobozeva*

<sup>1</sup>Lomonosov Moscow State University,  
1 Leninskie Gory, Moscow, 199991, Russia

<sup>2</sup>Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences,  
1 Bolshoy Kislovsky Per., Moscow, 125009, Russia

Submitted on 12.06.2025

Accepted on 24.06.2025

10.5922/2225-5346-2025-3-3

*The article is devoted to connectives, i.e., functional words and constructions whose primary function is to express semantic relations between units of discourse. It aims to explore the pragmatic dimension of connectives, which remains largely underappreciated in linguistic pragmatics to date. Given that the concept of pragmatics has at least two distinct interpretations in linguistic research – here termed the epistemological (pragmatics as shared knowledge activated in discourse production and comprehension) and the semiotic (pragmatics as information about the speaker's attitude toward the utterance, conveyed through linguistic means) – both perspectives are addressed. The introductory section justifies the use of the term *konnektor* (the Russian equivalent of connective), a relatively recent addition to Russian linguistic terminology, arguing for its advantages over closely related terms. This section also demonstrates the formal diversity of connectives. Section 2, the main body of the article, consists of two parts. In the first (2.1), it is argued that pragmatics, in its epistemological interpretation, functions as a factor that specifies or refines the general semantic relation expressed by the connective. In the second part (2.2), the focus shifts to the semiotic interpretation, where we identify pragmatic components within the linguistic meaning of connectives. Based on the analysis of several representative cases, the article concludes that, in addition to their primary function of marking semantic relations within discourse, some connectives also perform a secondary function: conveying pragmatic information about the speaker's attitude toward the propositional content of the connected units.*

**Keywords:** *connective, conjunction, discourse, pragmatics, evaluation*

*This research is supported by the grant of the Russian Science Foundation, project “The connection of propositional units in a sentence and in a text: semantics and modes of grammaticalization” (№22-18-00528n) carried out at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow).*



### The author

*Dr. Irina M. Kobozeva*, Professor, the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; Leading Research Fellow, the Laboratory for the Study and Preservation of Minority Languages, the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0003-4214-2878

E-mail: kobozeva@list.ru

#### To cite this article:

Kobozeva, I.M., 2025, Connectives — full-time employees in discourse and outsourcers in pragmatics, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 40–53. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-3.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

**КОГНИТИВНАЯ ПРАГМАТИКА  
КАК ПРАГМАТИКА ПОЛИМОДАЛЬНАЯ:  
АНАЛИЗ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
В УСТНОМ ДИАЛОГЕ**

**О. К. Ирисканова**

Московский государственный лингвистический университет,  
Россия, 119034, Москва, ул. Остоженка, 38  
Институт языкознания РАН,  
Россия, 125009, Москва, Большой Кисловский пер., 1 стр. 1  
Поступила в редакцию 10.11.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-4

В исследовании, выполненном в русле когнитивной полимодальной прагматики, выявляются особенности распределения интересубъективного позиционирования с жестами в устном диалоге на русском языке. Выдвигается гипотеза о том, что жесты с повторяющимися формальными свойствами (тип и направление движения, конфигурация ладони и пр.) демонстрируют некоторые закономерности в употреблении с выражениями, содержащими прагматические маркеры интересубъективного позиционирования – согласия и несогласия, слияния точек зрения, указания на субъекта позиционирования, оппозиции мнений, прямой или косвенной эвиденциальности. Количественный и качественный анализ видеозаписей на русском языке, аннотированных с помощью программы ELAN, показал, что наиболее частотные жесты для интересубъективности в целом – это жесты протягивания открытой ладони собеседнику, однако статистически значимая сопряженность типов жестов и (под)типов интересубъективности обнаружена только для жестов указания при попарном сопоставлении согласия и несогласия, а также для бинарных зеркальных жестов при сравнении слияния и оппозиции точек зрения. Жесты указания существенно чаще используются с согласием, а бинарные жесты – с противопоставлением точек зрения. Предложенный подход позволил выявить жесты с устойчивыми функциями позиционирования в устном диалоге (рекуррентные жесты). В когнитивном плане обнаружены некоторые особенности реализации воплощенной когниции в диалогическом общении. Подтверждается значимость физической ориентации говорящих относительно высказываемых точек зрения с помощью нескольких миметических схем, которым следуют жесты: демонстрации объекта, физического установления контакта с собеседником, локализации и размещения предметов в пространстве.

**Ключевые слова:** интересубъективное позиционирование, жест, рекуррентный жест, миметическая схема, воплощенная когниция

## **1. Введение. О когнитивной прагматике и жестах**

Когнитивная прагматика оформилась к концу XX века, о чем свидетельствует, в частности, выход первого номера журнала *Pragmatics and Cognition* в 1993 году, а также ряд последующих монографий под аналогичным названием (Bara 2010; Schmid 2012). Данное направление про-



должает укрепляться как в отечественной, так и в зарубежной когнитивной лингвистике, порождая немалое количество исследований речевых актов, дейксиса, перспективы, референции, релевантности, имплицатуры и др., традиционно относимых к прагматике явлений, и рассматривая их с точки зрения ментальной деятельности. Хотя истоки и общие установки этого направления очевидны, само понятие когнитивной прагматики не столь легко поддается определению, поскольку, как отмечала Е. С. Кубрякова (2004), практически все когнитивные исследования так или иначе относятся к неофункционализму — значит, нацелены на описание того, как мы используем язык.

Ситуация осложняется и тем, что, если мы посмотрим, например, на сайт журнала *Pragmatics and Cognition*<sup>1</sup>, то увидим, что область исследования когнитивной прагматики очень широка и включает в себя практически все аспекты коммуникации как лингвосомиотической, биологической, социальной деятельности человека и не только. Диапазон тем простирается от отношений между семиотическими системами человека, животных и машин в их взаимосвязи с ментальными процессами и формализации речевой деятельности до нейробиологических и психологических оснований языка и речевых нарушений, социокультурного варьирования речи и ее исторического развития. Подобное понимание восходит к широкой трактовке прагматики, которую находим в семиотических трудах Ч. С. Пирса, Я. фон Иксюля, Т. Себеока, С. Т. Золяна (см., напр.: Золян 2022).

Х.-Й. Шмид, автор известной монографии по когнитивной прагматике, опирается на более узкое понимание когнитивной прагматики — как изучения когнитивных способностей и процессов, которые обеспечивают понимание того «что имеется в виду» (*what is meant*) на основании того, «что произнесено» (*what is said*) (Schmid 2012, p. 1). Это в целом согласуется с определением Б. Бара, который указывает, что когнитивная прагматика — это исследование ментальных состояний людей, участвующих в коммуникации (Bara 2010, p. 1). Однако даже более узкие лингвистические трактовки оставляют место для простора, и к настоящему моменту когнитивная прагматика представляет собой достаточно разнородную сферу лингвистических исследований, в которой прагматический подход к языку совмещается с когнитивным подходом и которая фокусируется на конструировании значений-в-контексте (Schmid 2012). Таким образом, к когнитивно-прагматическим исследованиям можно отнести довольно разнообразный спектр идей и концепций: теорию релевантности Д. Спербера и Д. Уилсон, теорию коммуникативного контекста Т. Гивона, теорию интенций Р. Гиббса, социокогнитивную концепцию языкового закрепления и конвенционализации Х.-Й. Шмида, теории прагматикализации, а также многочисленные отечественные исследования, относящиеся к когнитивному анализу дискурса — когнитивно-дискурсивной парадигме или когнитивно-функ-

<sup>1</sup> URL: <https://www.tau.ac.il/humanities/philos/dascal/papers/pragNcog.htm>



циональному направлению (см. исследования Е. С. Кубряковой, В. З. Демьянкова, Н. Н. Болдырева, А. А. Кибрика, И. В. Зыковой, О. В. Соколовой, В. В. Фещенко и др.).

При таком разнообразии исследований парадоксальным кажется то, что довольно долго за пределами внимания когнитивно-прагматических лингвистов оставался важнейший аспект устной интеракции — полимодальный, или полисемиотический, по Дж. Златеву (Zlatev 2007)<sup>2</sup>. К последнему относится, в частности, кинетический (жестовый) аспект. Несмотря на то что по умолчанию большинство «жестовых» исследований можно отнести к когнитивно-прагматическому направлению, эксплицитная связь между словесно-жестовой полимодальностью (мультимодальностью, мультиканальностью, полисемиотичностью) и прагматикой прослеживается в довольно ограниченном количестве работ (Николаева 2004; Harrison 2014; Гришина 2017; Kibrik, Fedorova 2018; Зыкова, Руджери 2024).

Вместе с тем именно «жестовая» составляющая привносит в когнитивные исследования устного дискурса такую важную проблему, как роль коммуникативно значимых движений, непосредственно связанных с телесным познанием (*embodied cognition*), в сиюминутных процессах интерактивного построения значения-в-контексте. Как показано в исследованиях кинетических единиц, жесты, подобно языковым прагматическим маркерам, способны указывать на роль говорящих в диалоге (Kibrik, Fedorova 2018), обеспечивать выделенность фрагментов речи (Müller, Tag 2010), регулярно реализовывать определенные прагматические функции (см., напр.: Alibali et al. 2017; Cienki 2022), различать типы дискурса (Ирисханова 2021).

Иными словами, мы наблюдаем *de facto* становление полимодальной когнитивной прагматики, которую можно определить в широком смысле как изучение когнитивных процессов и механизмов, лежащих в основе коммуникативной деятельности использующих разные каналы коммуникации и знаковые системы людей. Применительно к жестам это предполагает изучение взаимосвязи когнитивно и прагматически значимых явлений в дискурсе (речевых актов, дейксиса, прагматических ролей говорящих, импликатур, позиционирования, прагматикализации и др.), реализация которых происходит по разным модальностям.

Представляемое в данной статье исследование посвящено эмпирическому анализу взаимосвязи позиционирования (в нашем случае — интерсубъективного позиционирования) как когнитивно-прагматического явления, реализуемого с помощью вербальных прагматических маркеров и жестов как прагматически релевантных мануальных движений, сопровождающих эти маркеры.

Соответственно, цель исследования — определить на материале русского языка вклад жестов в интерсубъективное позиционирование

---

<sup>2</sup> Отметим, что в настоящем исследовании понятия «поли- / мультимодальность» и «полисемиотичность» используются синонимически, в отличие от ряда работ, в которых под первым термином понимается совмещение сенсорных модальностей — зрения, слуха, обоняния и пр., а под вторым — совмещение семиотических систем (Green 2014; Stampoulidis et al. 2019; Zlatev 2019).



говорящих в диалогической речи, что предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 1) Как распределяются жесты с определенными языковыми маркерами позиционирования – маркерами интерсубъективности? 2) Наблюдаются ли в этом распределении некоторые закономерности? 3) Какое значение имеют полученные данные о совместном употреблении жестов и прагматических маркеров интерсубъективного позиционирования для когнитивной прагматики, а именно для понимания процессов воплощенного познания (*embodied cognition*), лежащих в основе полимодальных (полисемиотических) актов позиционирования в устном спонтанном диалоге?

## **2. Интерсубъективное позиционирование и жесты как ключевые понятия исследования**

В данной работе мы исходим из понимания позиционирования (*stance-taking*) как реализуемого в диалогической речи когнитивно-прагматического процесса, в ходе которого участники интеракции выражают, распознают и координируют свои позиции относительно обсуждаемых ими объектов, событий, явлений.

Отметим, что данный языковой феномен получил разные терминологические обозначения, подчеркивающие тот или иной аспект позиционирования: оценка (*evaluation / appraisal*) (Hunston, Thompson 2000); точка зрения, или перспектива (Langacker 2007; Verhagen 2007), эгоцентричность (Падучева 2018), голос (*voice*) (Hyland 2008), тетические выражения (*theticals*) (Heine 2013).

В настоящей работе мы исходим из того, что позиционирование семантически разнородно, динамично и меняется по ходу интеракции. Оно может быть как локальным, так и глобальным, то есть длиться лишь определенный отрезок дискурса (например, в пределах одной или нескольких элементарных дискурсивных единиц – ЭДЕ) или охватывать весь диалог (когда говорящий, например, неоднократно выражает отрицательное отношение к референтному событию). Кроме того, позиционирование социально: оно следует коммуникативным нормам того или иного сообщества и носит интерперсональный характер. Последнее означает, что говорящие не только выражают собственную точку зрения, характеризуя референтов, но и обращаются к позиции слушающего или третьего лица, постоянно осуществляя взаимную настройку.

Соответственно, с опорой на предыдущие исследования (Biber, Finegan 1989; DuBois 2007; Verhagen 2007) мы выделяем четыре типа позиционирования: эпистемическое позиционирование (выражение уверенности / сомнения, долженствования, необходимости, запрета); оценочное позиционирование (выражение положительной и отрицательной оценки, частных оценок и степени проявления оценочных признаков); позиционирование релевантности (выделение значимости или незначимости свойств объектов и мнения говорящего для беседы); интерсубъективное позиционирование (позиционирование с учетом разных точек зрения).



В настоящей работе внимание уделяется последнему типу позиционирования — интересубъективному, которое понимается как реализуемая в диалогической речи когнитивная способность коммуникантов постоянно координировать точки зрения, как бы соизмеряя свое субъективное видение с субъективной позицией собеседника и повышая тем самым степень объективности диалога в целом. Таким образом, интересубъективизация — это совместная деятельность говорящих по достижению, поддержанию и пересмотру баланса между двумя противоположными когнитивными процессами — субъективизацией и объективизацией (ср.: Langacker 2007), что является условием успешной интеракции в целом.

Типы позиционирования выражаются с помощью определенных языковых прагматических маркеров, под которыми мы вслед за С. Левинсоном, О.В. Соколовой и В.В. Фещенко понимаем единицы, «которые выполняют коммуникативные и метаязыковые функции, выражают отношение говорящего к содержанию высказывания, а также обладают способностью ссылаться на контекст высказывания, структурировать дискурс и участвовать в организации интеракции» (Sokolova, Feshchenko 2024, p. 710).

Мы также исходим из того, что позиционирование полимодально и выражается как определенными языковыми средствами, так и кинетически — мимикой, движением глаз, позой, мануальными жестами. Следовательно, в роли прагматических маркеров могут выступать также кинетические единицы.

К таким прагматически релевантным единицам относятся жесты, получившие название рекуррентных. Речь идет не столько о факте их повторяемости, сколько о том, что они демонстрируют относительно устойчивую, то есть часто наблюдаемую и конвенциональную (разделяемую носителями соответствующего языка), связь между формой и содержанием / функцией в разных контекстах у разных говорящих. Заметим, что, как и позиционирование, рекуррентные жесты пока не получили общепризнанного терминологического обозначения. Их называют интерактивными жестами (Bavelas et al. 1995), прагматическими жестами (Kendon 2004; Гришина 2017), конверсационными жестами (Bavelas et al. 1995), жестикуляционными формами (Kendon 2004) и т.д.

Вне зависимости от применяемых терминов разные исследователи сходятся во мнении, что прагматически релевантные жесты:

- регулярно выполняют определенные прагматические функции в речи (Ladewig 2014);
- обеспечивают связь между частями дискурса, относящимися к одной теме (Bressemer 2013);
- вариативны и образуют семьи жестов (*gesture family*) как совокупности «жестовых выражений, объединенных одной или более кинетической или формальной характеристикой» (Kendon 2004, p. 227).

На сегодня к наиболее изученным группам (семьям) рекуррентных жестов относятся жесты смахивания, отрезания, отбрасывания, которые указывают на отрицание, отказ (*AWAY gestures*) (Bressemer, Müller 2014);



жесты «пальцы щепотью», которые имитируют манипулирование небольшим предметом и, как правило, выполняют функцию подчеркивания идеи (*grappolo, ring gestures*) (Kendon 2004); циклические жесты, указывающие на процессы — как физические, так и ментальные (*cyclic gestures*) (Гришина 2017); жесты ладонью вверх, которые используются для демонстрации чего-либо, запроса информации или, вместе с пожиманием плечами, демонстрации отсутствия знаний (*palm-up-open-hand gestures*) (Müller 2004); жесты ладонью вниз, с помощью которых говорящий отрицает что-либо (*palm-down-open-hand gestures*) (Müller 2004).

Принимая во внимание предыдущие исследования отдельных прагматических аспектов жестового поведения говорящих (Kendon 2004; Николаева 2004; Гришина 2017; Ирисханова 2021), мы предполагаем, что жесты, которые будут сопровождать выражения с языковыми маркерами интерсубъективного позиционирования, продемонстрируют соотнесенность некоторых своих формальных характеристик (положения ладони, траектории движения и др.) с некоторыми из подтипов интерсубъективности, выделенных нами на основе языковых маркеров. Это позволит отнести такие жесты к рекуррентным и, соответственно, придать им статус прагматических маркеров позиционирования, а также, в более широком плане, сделать выводы об особенностях проявления воплощенного познания в словесно-жестовых единствах, используемых для взаимной настройки говорящих в диалоге.

### 3. Эмпирическое исследование интерсубъективного позиционирования с учетом жестов: процедуры сбора и анализа материала

Для изучения закономерностей распределения жестов с выражениями позиционирования были сформулированы частные задачи: 1) определить, какие сочетания маркеров интерсубъективного позиционирования и категорий жестов по их формальным параметрам наиболее частотны в изучаемом материале; 2) установить, наблюдаются ли статистически значимые различия в распределении жестов между подтипами интерсубъективного позиционирования; 3) выявить жесты, которые обладают потенциалом рекуррентности (а значит, могут быть рассмотрены в контексте прагматикализации), и установить их роль в соответствующих сочетаниях.

Для проведения исследования был собран и аннотирован в программе ELAN<sup>3</sup> видеоматериал, полученный от 20 участников (10 диалогических пар; средний возраст 27 лет). Испытуемым предлагался для просмотра мультипликационный фильм «Как искусственный интеллект изменит мир» длительностью около 5 минут 30 секунд<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Программное обеспечение разработано Институтом психолингвистики Макса Планка в Неймегене и находится в свободном доступе (<https://archive.mpi.nl/tla/elan>).

<sup>4</sup> URL: [https://www.youtube.com/watch?v=RzkD\\_rTEBy&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fed.ted.com%2F&embeds\\_referring\\_origin=https%3A%2F%2Fed.ted.com&source\\_ve\\_path=OTY3MTQ](https://www.youtube.com/watch?v=RzkD_rTEBy&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fed.ted.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fed.ted.com&source_ve_path=OTY3MTQ)



Далее в течение 15 минут участники в парах обсуждали данную тему с опорой на ряд стимульных вопросов, которые в течение минуты высвечивались перед ними на мониторе, после чего экран выключался, чтобы не отвлекать внимание. Приведем несколько примеров таких вопросов: *Считаете ли вы, что ИИ уничтожит человечество? По вашему мнению, может ли ИИ обладать сознанием, а если нет, то как мы можем быть в этом уверены? Как вы думаете, кто несет ответственность, когда ИИ принимает плохие решения, из-за которых кто-то страдает? Насколько вероятно, что ИИ начнет испытывать эмоции, и к чему это может привести?*

Съемка велась с четырех ракурсов (фронтально и сверху для обоих участников, фронтально для каждого из участников), что позволяло осуществлять более точный визуальный анализ жестов — как с большой, так и с малой амплитудой (последнее важно в случае малозаметных жестов-адаптеров, таких как поглаживание кончиков пальцев, потирание рук и пр.). Затем четыре видеозаписи синтезировались в единый файл, в который заносилось транскрибирование речи, произведенное с помощью нейросети Whisper, которая была интегрирована в программу ELAN, для автоматической транскрипции и сегментации речи. Анализ проводился двумя командами кодировщиков по четыре человека в каждой: одна аннотировала маркеры позиционирования на основе анализа прагматического значения выражения, которое выводилось из контекста, вторая — жесты по их формальным характеристикам. В качестве вербальной единицы анализа выступали ЭДЕ, при этом при сегментации учитывался ряд факторов: предикативность, длинные паузы, наличие эллипсиса и номинативных структур, перечислений, прерываний, повторов, включенных конструкций и пр. В качестве кинетической единицы анализа выступала жестовая фраза как отрезок мануальных движений, ограниченный состояниями покоя. Она могла включать в себя как однократные, так и многократные движения с несколькими ударными фазами (Kendon 2004).

В результате сбора и обработки эмпирического материала был получен корпус в виде коллекции файлов в формате ELAN, аннотированных по двум параметрам — маркеры позиционирования (4 типа позиционирования и 34 подтипа) и жесты (43 категории жестов по формальным признакам: форма и ориентация ладони, характер движения).

В соответствии с целью и задачами исследования использовались только данные, полученные для интересубъективного позиционирования по следующим его подтипам: согласованность позиций (согласие; несогласие); слияние точек зрения; указание на точку зрения говорящего, слушающего или третьего лица; оппозиция точек зрения; эвиденциальность как способ получения чей-то точки зрения — прямой или косвенный. Приведенные подтипы устанавливались на основе выявления и группировки языковых маркеров позиционирования, чьи прагматические значения выявлялись с помощью контекстуального анализа с применением процедур элиминации и / или перефразирования (табл.).



**Подтипы интерсубъективного позиционирования  
и примеры их языковых маркеров**

Подтипы и условные обозначения (коды)	Прагматическое значение	Языковые маркеры
<b>Согласованность I1</b>	<b>Указание говорящего на согласие или несогласие</b>	
I1 – 1	согласие	<i>согласиусь, угу, да, есть такое, с чем я согласна, я тоже склонна так думать, да, естественно, ну да, я с тобой согласна</i>
I1 – 2	несогласие	<i>нет, не согласен, я так не думаю, не, ну нет</i>
<b>Слияние точек зрения I2</b>	<b>Указание на обобщенную точку зрения (коллективный субъект позиционирования)</b>	местоимения <i>мы, нам, ты</i> в обобщенном значении, <i>допустим</i>
<b>Указание на точку зрения I3</b>	<b>Указание на мнение субъекта позиционирования</b>	
I3 – 1	точка зрения говорящего	<i>мне все-таки кажется, я думаю (что), мне кажется, я к чему клоню, по моим ощущениям, меня лично как-то трогает, я считаю, я допускаю</i>
I3 – 2	точка зрения слушающего	<i>знаешь, ты, твой, понимаешь, твой, вопросы: Правильно? У тебя есть мысли? А что такое сознание? Да?</i>
I3 – 3	точка зрения третьего лица	<i>они придумают, в этом видео было сказано, а Алиса там как-то сомневается, цитирование третьего лица</i>
<b>Оппозиция точек зрения I4</b>	<b>Противопоставление точек зрения</b>	<i>ты техно-позитивный или наоборот боишься всего, но, наоборот, или... или..., ни...ни..., и (есть разница между какими-то алгоритмами... и тем, как работают), отрицательная частица <i>не</i> или предикатив <i>нет</i>, антонимы</i>
<b>Эвиденциальность I5</b>	<b>Указание на непосредственный или опосредованный способ получения информации для формирования мнения</b>	
I5 – 1	прямая эвиденциальность	<i>я не смотрела, смотрела (я на самом деле смотрела подкаст), я что-то такое видела, насмотрелась, я слышала</i>
I5 – 2	косвенная эвиденциальность	<i>что было сказано (в видео), и там была история про то, как многие говорят, ни о каких работах вообще речи не было, говорят же про людей, в 2000 году были какие-то страхи-слухи</i>



Для анализа распределения жестов с маркерами интерсубъективности применялась специально разработанная классификация, опирающаяся, с одной стороны, на систему аннотации Я. Брессем (Bressem 2013), учитывающей только формальные характеристики движения (конфигурацию пальцев и ладони, траекторию движения, локализацию жеста относительно корпуса говорящего и др.), а с другой — на понятие миметических схем Дж. Златева — довербальных репрезентаций, основанных на принятом в данной культуре подражании физическим действиям и обеспечивающих синхронизацию речи и жестов. Миметические схемы носят характер типизированных телесных актов (указывать на предмет, ударять рукой, протягивать предмет, хватать, вращать ладонью или пальцем, размещать в пространстве и пр.), производимых с целью интеракции, и менее конкретны по сравнению с собственно манипулятивными действиями (Zlatev 2007). Таким образом были выделены 43 категории жестов, следующих миметическим схемам круговых движений (например, циклические жесты СУС, жесты кругового вращения ладонью вниз PDOH-R), бросания (жесты бросания THrA, подбрасывания Tossing, отбрасывания SwY), балансирования (Swaying — колебательные жесты), протягивания и / или демонстрации объекта (Offering — протягивание открытой ладони, Spreading — разведение рук в стороны с ладонью вверх), хватания и / или удержания объекта (Grasping, 1HOLDC, 2HOLDCS), локализации и размещения объектов в пространстве (Pointing — указательные жесты, BIN — бинарные зеркальные жесты, SIDE-OF — отведение рук в сторону) и др.

Далее рассматривались случаи совместного употребления ЭДЕ с маркерами позиционирования и жестов, относящихся к соответствующим категориям. Такие случаи отмечались, если хотя бы одна ударная фаза жестовой фразы оказывалась в границах ЭДЕ. Учитывалось, что в рамках одной ЭДЕ могли наблюдаться разные (подтипы позиционирования (*Я не уверен* одновременно указывает на эпистемическое и интерсубъективное позиционирование), а жестовая фраза могла совмещать разные формальные характеристики жестов, хотя и относиться к одной миметической схеме. Соответственно, мы анализировали не столько случаи совместного употребления жеста и маркера, сколько случаи проявления тех или иных прагматических значений (подтипов) позиционирования и формальных свойств жестов (по миметическим схемам).

#### **4. Особенности распределения жестов с (под)типами интерсубъективного позиционирования: анализ и интерпретация результатов**

Анализ частотности совместного употребления жестов и маркеров интерсубъективности позволил построить так называемые «тепловые карты» как для отдельных говорящих, так и совокупно. Общая тепловая карта пресечений жестов и ЭДЕ с соответствующими языковыми выражениями и с указанием подтипов позиционирования и жестовых категорий приведена на рисунке 1.

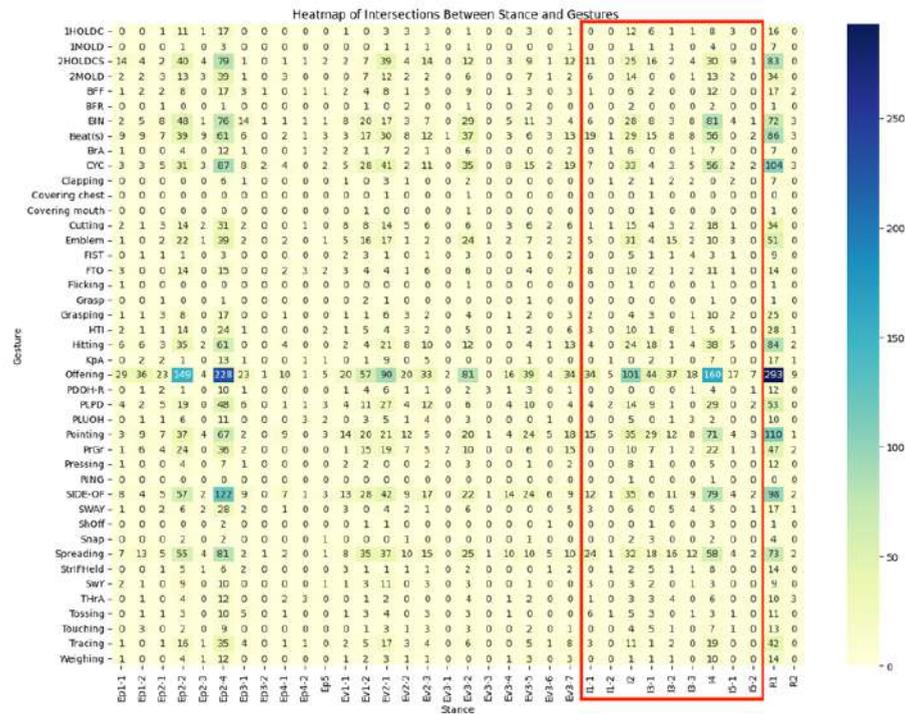


Рис. 1. Частотность совместного употребления (под)типов позиционирования и формальных характеристик жестов в абсолютном исчислении

Красным прямоугольником отмечена зона интересубъективного позиционирования (I1-2 – I5-2), внутри которой выделяется наиболее частотные сочетания в абсолютном исчислении по всей зоне: например, жесты протягивания ладони Offering со слиянием (I2) и противопоставлением точек зрения (I4), бинарные зеркальные жесты BIN, жесты отведения рук(и) в сторону SIDE-OF с оппозицией мнений (I4) и некоторые другие.

Проиллюстрируем частотные сочетания на примере «I2 + Offering» (рис. 2).

Совокупное распределение жестов по всей зоне интересубъективности в относительном исчислении также показывает, что к наиболее частотным жестам относятся жесты Offering (19,5 %, N=423; N<sub>100%</sub> = 2175). Кроме этого, довольно высокая частотность (свыше 5 %) наблюдается у указательных жестов Pointing (8,4 %, N=182), жестов разведения рук Spreading (7,7 %, N=167), отведения рук(и) в сторону SIDE-OF (7,3 %, N=159), у бинарных зеркальных жестов BIN (6,4 %, N=139), ритмических жестов Beats (6,3 %, N=138) и циклических жестов CYC (5,2 %, N=112).





На диаграмме наиболее высокие пики для I1-1 (согласие) демонстрируют жесты Offering, Spreading и Beats, для I1-2 (несогласие) – Offering и Pointing, для I2 (слияние точек зрения) – Offering, Pointing и SIDE-OF, для I3-1 (указание на собственную точку зрения) – Offering и Pointing, для I3-2 (указание на точку зрения собеседника) – Offering, Spreading и Emblem, для I3-3 (указание на мнение третьего лица) – Offering и Spreading, для I4 (оппозиция точек зрения) – Offering, BIN и SIDE-OF, для I5-1 (прямая эвиденциальность) – Offering и 2HOLDCS, для I5-2 – Offering.

Таким образом, как показывают тепловая карта и диаграмма (рис. 1 и 3), жест Offering является самым частотным для большинства типов и подтипов позиционирования и для всех типов intersубъективного позиционирования: ср., в частности, с показателями пересечения для Ep2-4 (неуверенность относительно свойств объекта) и R1 (указание на значимость / релевантность мнения). Это свидетельствует о том, что жесты, частотные для intersубъективности, вовсе не обязательно говорят о специфике именно данного типа позиционирования, а наиболее вероятно указывают на общие особенности в выражении и координации мнений в устном неформальном диалоге в целом. Другая проблема, затрудняющая выявление четких полимодальных закономерностей, заключается в том, что, как демонстрируют многочисленные количественные и качественные исследования спонтанных жестов, нередко обнаруживается существенное индивидуальное варьирование в жестике говорящих, предпочитающих определенные типы жестов вне зависимости от ситуации общения и локальных интенций.

В то же время наблюдаемые в нашем материале различия в распределении частотных и относительно частотных жестов внутри зоны intersубъективности позволяют, как мы предположили, выявить интересующие нас закономерности при попарном сравнении отдельных подтипов intersубъективизации с учетом их пересечений как с определенным типом жестов, так и со всеми другими жестами.

Для количественного анализа, нацеленного на установление некоторых закономерностей в распределении жестов с маркерами intersубъективности, проведено попарное сравнение для двух (под)типов – согласие vs. несогласие (I1-1 vs. I1-2) и слияние точек зрения vs. оппозиция точек зрения (I2 vs. I4). При этом рассматривались наиболее частотные жесты – Offering, Spreading, Pointing для I1-1 vs. I1-2; Offering, Pointing, BIN, SIDE-OF для I2 vs. I4.

Нами применялся статистический анализ по критерию сопряженности Пирсона, позволяющий оценить значимость различий в распределении жестов с интересующими нас (под)типами intersубъективности.

Приведем результаты анализа по критерию  $\chi^2$ .

Для I1-1 vs. I1-2:

- Offering: значимые различия отсутствуют при  $\chi^2 = .0945$ ,  $p = .7584$ ,  $p > .05$

- Spreading: значимые различия отсутствуют при  $\chi^2 = 1.171$ ,  $p = .2792$ ,  $p > .05$



• Pointing: значимые различия присутствуют при  $\chi^2 = 5.9699$ ,  $p = .0145$ ,  $p < .05$

Для I2 vs. I4:

• Offering: значимые различия отсутствуют при  $\chi^2 = .0383$ ,  $p = .8448$ ,  $p > .05$

• Pointing: значимые различия отсутствуют при  $\chi^2 = 1.2871$ ,  $p = .2565$ ,  $p > .05$

• BIN: значимые различия присутствуют при  $\chi^2 = 7.7956$ ,  $p = .0052$ ,  $p < .05$

• SIDE-OF: значимые различия отсутствуют при  $\chi^2 = 2.9289$ ,  $p = .0870$ ,  $p > .05$

В целом анализ с использованием критерия Пирсона выявил наличие статистически значимых различий между согласием (I1-1) и несогласием (I1-2) в случае с употреблением дейктических жестов (Pointing), в то время как для других частотных жестов (Offering и Spreading), сопровождающих ЭДЕ с маркерами согласия и несогласия, подобная закономерность не была установлена.

Смешанные результаты были получены и для пары I2 vs. I4 (слияние и оппозиция точек зрения). Значимые различия были установлены в случае с бинарными жестами (BIN), тогда как жесты протягивания ладони, указания и разведения руками (Offering, Pointing и SIDE-OF) не продемонстрировали устойчивую сопряженность с указанными типами позиционирования.

Это означает, что в соответствии с полученными на этом этапе исследования данными указательные жесты распределяются неодинаково с маркерами согласия и несогласия, при этом они чаще используются с ЭДЕ, содержащими согласие. Относительно бинарных жестов они обнаруживают «тяготение» к ЭДЕ с оппозицией точек зрения, что подтверждается статистическим анализом.

Приведем примеры сочетаний, для которых были выявлены указанные закономерности (рис. 4).



(а) Согласие (I1-1):  
*Угу, давай*

(б) Оппозиция (I4): [...] была возможность как-то  
*вылезти, или не было такой возможности*

Рис. 4. Указательный жест, сопровождающий ЭДЕ с маркерами согласия (а); бинарные жесты, сопровождающие ЭДЕ, включающие противительную конструкцию (б)



Итак, о чем в целом говорят полученные нами данные об употреблении жестов с маркерами интерсубъективности? Прежде всего эмпирически подтверждается, что интерсубъективное позиционирование представляет собой важнейшее и весьма разнородное свойство устной диалогической речи. Интерсубъективность наблюдается в нашем материале в более чем 30 % ЭДЕ с маркерами позиционирования, реализуясь по следующим направлениям: согласие и несогласие с точкой зрения собеседника; слияние точек зрения для подчеркивания универсальности или распространенности мнения; указание на субъекта позиционирования (себя, собеседника, иных лиц); противопоставление позиций; указание на прямой или косвенный способ получения мнения или информации, которая служит подтверждением или опровержением позиции. К самым частотным относятся случаи реализации оппозиции мнений (I4), указания на свою точку зрения (I1-1) и слияния точек зрения (I2), а наименее частотным оказалось позиционирование эвиденциальности. Высокая частотность первых трех (под)типов связана, по-видимому, с темой диалога, построенной на аргументации, что предполагает как разъяснение своей точки зрения, так и стирание границ между разными мнениями для достижения консенсуса.

Анализ жестов с указанными (под)типами интерсубъективности также свидетельствует о том, что данное явление получает регулярное семиотическое подкрепление со стороны кинетической системы. Преобладание жестов протягивания ладони к говорящему (Offering) для всех (под)типов интерсубъективности свидетельствует о кооперативности интеракции и важности имитации физической связи между говорящими.

В то же время, как отмечалось выше, нельзя с уверенностью сказать, что жесты Offering могут служить маркером специфичности интерсубъективизации или что его частотность значимо различается по разным (под)типам интерсубъективного позиционирования. Анализ показал, что в роли таких маркеров-различителей могут выступать указательные жесты, продемонстрировавшие значимые различия в распределении с маркерами согласия и несогласия, а также бинарные жесты — для слияния и противопоставления точек зрения (ср. с исследованием бинарных жестов с оппозитивными конструкциями в публичных выступлениях в: (Ирисханова, Алиева 2024)).

Таким образом, из проанализированных нами на данном этапе исследования жестов только две категории обнаружили некоторые закономерности, а значит, могут быть потенциально отнесены к рекуррентным жестам, которым свойственна прагматикализация в составе определенных словесно-жестовых единств.

Наличие регулярной соотнесенности типов интерсубъективного позиционирования с категориями жестов, сгруппированными по их формальным признакам, позволяет также говорить о том, что воплощенное познание, протекающее в интерактивном режиме, проявляет себя не только на уровне более абстрактных образ-схем, лежащих в основе языковых выражений позиционирования (особенно метафориче-



ских), но и на уровне более конкретных миметических схем, реализуемых через типизированные прагматически релевантные действия, подражающие физическим манипуляциям с объектами. Для интерсубъективного позиционирования важной оказывается регулярная имитация таких действий, как протягивание предмета другому лицу (жесты Offering), локализация объекта (Pointing), размещение объектов в разных местах в пространстве (BIN).

В целом в то время как вербальная модальность является ведущей в построении позиционирования как ментальной системы координат, жесты подкрепляют данный процесс встраиванием физической системы координат в пространство коммуникации. Тем самым говорящий использует дополнительную остенсивную модальность для донесения до слушающего своей оценки, своего отношения к объектам и ситуациям. При условии регулярности данных процессов и устойчивости тех или иных словесно-жестовых сочетаний у большинства говорящих можно говорить о прагматикализации некоторых категорий жестов и, соответственно, об отнесении их к классу рекуррентных.

## 5. Выводы

Интерсубъективизация как частотный вид позиционирования является полимодальным явлением, что, в соответствии с принципами релевантности Д. Спербера и Д. Уилсон, свидетельствует в пользу ее когнитивной и прагматической значимости для устной диалогической коммуникации.

Кинетическое сопровождение интерсубъективности охватывает практически весь диапазон жестов, наблюдаемых в исследуемом материале, однако к наиболее частотным относятся жесты установления контакта, следующие миметической схеме протягивания или демонстрации объекта. Специфика распределения жестов с маркерами интерсубъективного позиционирования обнаружена в случае указательных жестов, которые употребляются значимо чаще с согласием, чем с несогласием, что, по-видимому, связано с кооперативным характером общения. Значимые различия в распределении бинарных жестов со слиянием и противопоставлением точек зрения (в пользу последних) свидетельствует о том, что оппозиция идей значимо чаще сопровождается имитацией размещения объектов в разных пространствах относительно говорящих. Подобные закономерности подтверждают рекуррентность самих жестов, а также указывают на то, что в ходе диалогической речи связность интеракции на когнитивном уровне обеспечивается не только общностью структур знаний, выражаемых в языке, но и тем, как эти структуры «размещаются» в физическом пространстве вокруг говорящих с помощью жестов.

*Исследование выполнено в Московском государственном лингвистическом университете при поддержке РФФ, проект «Роль рекуррентных жестов в разных языках: социокогнитивные основы полимодального позиционирования», № 24-18-00587.*



## Список литературы

Гришина, Е. А., 2017. *Русская жестикуляция с лингвистической точки зрения: корпусные исследования*. М. [Grishina, E. A., 2017. *Russkaya zhestikulyatsiya s lingvisticheskoi tochki zreniya: korpusnye issledovaniya* [Russian gesticulation from a linguistic point of view: corpus studies]. Moscow (in Russ.).]

Золян, С. Т., 2022. Юрий Лотман: о проблемах языка и языкознания. *Вопросы языкознания*, 1, с. 106–119. [Zolyan, S. T., 2022. Yuri Lotman: On the problems of language and linguistics. *Voprosy Jazykoznanija*, 1, pp. 106–119 (in Russ.)] EDN: KRLLXO, <https://doi.org/10.31857/0373-658X.2022.1.106-119>.

Зыкова, И. В., Руджеро, Ф., 2024. Специфика функционирования глагольных эмотивов и их жестовых сопроводителей в итальянском телевизионном дискурсе. *LII Международная научная филологическая конференция имени Людмилы Алексеевны Вербицкой: сборник тезисов. Санкт-Петербург, 19–26 марта 2024 года*. СПб, с. 963–964. [Zykova, I. V. and Rudzheri, F., 2024. The specifics of the functioning of verbal emotives and their gestural accompaniments in Italian television discourse. In: *LII Mezhdunarodnaya nauchnaya filologicheskaya konferentsiya imeni Lyudmily Alekseevny Verbitskoi: sbornik tezisov* [LII International Scientific Philological Conference named after Lyudmila Alekseevna Verbitskaya: collection of abstracts], St. Petersburg, March 19–26, 2024. St. Petersburg, pp. 963–964 (in Russ.)] EDN: PQVDHN.

Ирисханова, О. К., ред., 2021. *Полимодальные измерения дискурса*. М. [Iris Khanova, O. K., ed., 2021. *Polimodal'nye izmereniya diskursa* [Polymodal dimensions of discourse]. Moscow (in Russ.)] EDN: OKZDHC.

Ирисханова, О. К., Алиева, М. Р., 2024. Полимодальная грамматика конструкций: противопоставление и жесты в устном экспликативном дискурсе. *Когнитивные исследования языка*, 5 (61), с. 95–105. [Iris Khanova, O. K., Alieva, M. R., 2024. Multimodal construction grammar: opposition and gestures in spoken explanatory discourse. *Kognitivnye issledovaniya yazyka* [Cognitive Studies of Language], 5 (61), pp. 95–105 (in Russ.)] EDN: OJMASU.

Кубрякова, Е. С., 2004. *Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира*. М. [Kubryakova, E. S., 2004. *Yazyk i znanie: na puti polucheniya znaniy o yazyke: chasti rechi s kognitivnoi tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge: towards understanding language – parts of speech from a cognitive perspective. The role of language in cognizing the world.]. Moscow (in Russ.)] EDN: SUQHIP.

Николаева, Ю. В., 2004. Функциональные и семантические особенности иллюстративных жестов в устной речи (на материале русского языка). *Вопросы языкознания*, 4, с. 48–67. [Nikolaeva, Yu. V., 2004. Functional and semantic features of the illustrative gestures in oral speech (based on the materials of the Russian language). *Voprosy Jazykoznanija*, 4, pp. 48–67 (in Russ.)] EDN: OTWUQN.

Падучева, Е. В., 2018. *Эгоцентрические единицы языка*. М. [Paducheva, E. V., 2018. *Egocentricheskie edinitsey yazyka* [Egocentric units of language]. Moscow (in Russ.).]

Alibali, M., Yeo, A., Hostetter, A. and Kita, S., 2017. Representational gestures helps speakers package information for speaking. In: R. B. Church, M. W. Alibali and D. K. Spencer, eds. *Why gesture? How the hands function in speaking, thinking and communicating*. Amsterdam, pp. 15–37, <https://doi.org/10.1075/gS.7.02ali>.

Bara, B., 2010. *Cognitive pragmatics*. Cambridge.

Bavelas, J. B., Chovil, N., Coates, L. and Roe, L., 1995. Gestures specialized for dialogue. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 21 (4), pp. 394–405.



- Biber, D. and Finegan, E., 1989. Styles of stance in English: Lexical and grammatical marking of evidentiality and affect. *Text & Talk*, 9, pp. 124–193.
- Bressemer, J., 2013. A linguistic perspective on the notation of form features in gestures. In: C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S.H. Ladewig, D. McNeill and S. Teßendorf, eds. *Body – language – communication: An international handbook on multimodality in human interaction*. Berlin; Boston, pp. 1037–1060, <http://dx.doi.org/10.1515/9783110261318.1079>.
- Bressemer, J. and Müller, C., 2014. The family of away gestures: Negation, refusal, and negative assessment. In: C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S.H. Ladewig, D. McNeill and S. Teßendorf, eds. *Body – language – communication*. Berlin, pp. 1592–1604, <http://dx.doi.org/10.1515/9783110302028.1592>.
- Cienki, A., 2022. The study of gesture in cognitive linguistics: How it could inform and inspire other research in cognitive science. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 13 (6), e1623, <https://doi.org/10.1002/wcs.1623>.
- Du Bois, J.W., 2007. The stance triangle. In: R. Englebretson, ed. *Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction*. Amsterdam; Philadelphia, pp. 139–182, <http://dx.doi.org/10.1075/pbns.164.07du>.
- Green, J., 2014. *Drawn from the ground: Sound, sign and inscription in Central Australian sand stories*. Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237109>.
- Harrison, S., 2014. The organisation of kinesic ensembles associated with negation. *Gesture*, 14, pp. 117–140, <http://dx.doi.org/10.1075/gest.14.2.01har>.
- Heine, B., 2013. On discourse markers: Grammaticalization, pragmaticalization, or something else? *Linguistics*, 51 (6), pp. 1205–1247, <http://dx.doi.org/10.1515/ling-2013-0048>.
- Hunston, S. and Thompson, G., eds., 2000. *Evaluation in text: Authorial stance and the construction of discourse*. Oxford.
- Hyland, K., 2008. Disciplinary voices: Interactions in research writing. *English Text Construction*, 1 (1), pp. 5–22, <http://dx.doi.org/10.1075/etc.1.1.03hyl>.
- Kendon, A., 2004. *Gesture. Visible action as utterance*. Cambridge.
- Kibrik, A.A. and Fedorova, O.V., 2018. Language production and comprehension in face-to-face multichannel communication. *Computational linguistics and intellectual technologies*, 17, pp. 305–316.
- Ladewig, S.H., 2014. Recurrent gestures. In: C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S.H. Ladewig, D. McNeill and S. Teßendorf, eds. *Body – language – communication*. Berlin, pp. 1558–1574.
- Langacker, R., 2007. *Cognitive grammar*. New York.
- Müller, C., 2004. Forms and uses of the Palm Up Open Hand. A case of a gesture family? In: C. Müller and R. Posner, eds. *Semantics and pragmatics of everyday gestures*. Berlin, pp. 234–256.
- Müller, C. and Tag, S., 2010. The dynamics of metaphor: Foregrounding and activating metaphoricity in conversational interaction. *Cognitive Semiotics*, 10 (6), pp. 85–120, [http://dx.doi.org/10.3726/81610\\_85](http://dx.doi.org/10.3726/81610_85).
- Schmid, H., 2012. *Cognitive pragmatics*. Berlin; Boston.
- Sokolova, O.V. and Feshchenko, V.V., 2024. Pragmatic markers in contemporary poetry: A corpus-based discourse analysis. *Russian Journal of Linguistics*, 28 (3), pp. 706–733, <https://doi.org/10.22363/2687-0088-40107>.
- Stampoulidis, G., Bolognesi, M. and Zlatev, J., 2019. A cognitive semiotic exploration of metaphors in Greek street art. *Cognitive Semiotics*, 12 (1), pp. 20192008, <https://doi.org/10.1515/cogsem-2019-2008>.
- Verhagen, A., 2007. Construal and perspectivization. In: D. Geeraerts and H. Cuyckens, eds. *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*. Oxford, pp. 48–81.



Zlatev, J., 2007. Language, embodiment and mimesis. In: T. Ziemke, J. Zlatev and R. Frank, eds. *Body, language and mind*. Vol. 1. Embodiment. Berlin, pp. 297 – 337.

Zlatev, J., 2019. Mimesis theory, learning, and polysemiotic communication. In: M. A. Peters, ed. *Encyclopedia of educational philosophy and theory (1 – 6)*. Singapore, [https://doi.org/10.1007/978-981-287-532-7\\_672-1](https://doi.org/10.1007/978-981-287-532-7_672-1).

### Об авторе

Ольга Камалудиновна Ирисханова, доктор филологических наук, профессор, Московский государственный лингвистический университет, Россия; Институт языкознания РАН, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-4966-3337

E-mail: oiriskhanova@gmail.com

### Для цитирования:

Ирисханова О. К. Когнитивная прагматика как прагматика полимодальная: анализ intersубъективного позиционирования в устном диалоге // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 54 – 72. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-4.



## COGNITIVE PRAGMATICS AS MULTIMODAL PRAGMATICS: AN ANALYSIS OF INTERSUBJECTIVE POSITIONING IN SPOKEN DIALOGUE

*Olga K. Iriskhanova*

Moscow State Linguistic University,  
38 Ostozhenka St., Moscow, 119034, Russia  
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences,  
1 Bol'shoy Kislovskiy Per., Moscow, 125009, Russia

Submitted on 10.11.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-4

*The study follows the tenets of cognitive multimodal pragmatics, focusing on some specific features of intersubjective positioning with gestures in Russian dialogic speech. It is hypothesized that gestures with recurring formal features (type and direction of movement, palm configuration, etc.) exhibit certain regularities when used with pragmatic markers of intersubjective positioning, such as agreement and disagreement, viewpoint blending, reference to the subject of positioning, opposition of viewpoints, and direct or indirect evidentiality. Quantitative and qualitative analyses of video recordings annotated with the help of ELAN software have revealed that offering gestures (open-palm, directed towards the interlocutor) are the most frequently used with all markers of intersubjectivity. However, statistically significant correlations between the gesture types and the (sub)types of intersubjectivity were found only for pointing gestures for agreement vs. disagreement, and for binary mirror gestures for merging viewpoints vs. opposing viewpoints. Namely, pointing gestures are significantly more often associated with agreement, while binary gestures are more commonly linked to the opposition of viewpoints. The approach enables the identification of gestures with regular positioning functions in dialogue (i.e., recurrent gestures). From a cognitive perspective, certain features of embodied cognition in dialogic communication have*



been identified. The findings confirm the significance of the bodily orientation of the speakers as related to the viewpoints they express. This is achieved through several mimetic schemas the gestures are based upon: demonstration of an object, establishing physical contact with the interlocutor, and localization or placement of objects in space.

**Keywords:** intersubjective positioning, gesture, recurrent gesture, mimetic schema, embodied cognition

The research is supported by the grant of the Russian Science Foundation (project №24-18-00587 “The role of recurrent gesture across languages: The socio-cognitive core of multimodal stance-taking”) carried out at Moscow State Linguistic University (Moscow).

### The author

Dr. Olga K. Iriskhanova, Professor, Moscow State Linguistic University, Russia; the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, Russia.  
ORCID ID: 0000-0002-4966-3337  
E-mail: oiriskhanova@gmail.com

### To cite this article:

Iriskhanova, O.K., 2025, Cognitive pragmatics as multimodal pragmatics: an analysis of intersubjective positioning in spoken dialogue, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 54–72. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-4.



**THE PHENOMENON OF HETEROGENEITY  
OF THE SPEECH SUBJECT  
IN GERMAN RETROSPECTIVE DISCOURSE**

*Ludmila M. Bondareva, Anna O. Budarina*

Immanuel Kant Baltic Federal University,  
14 Aleksandra Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted on 03.02.2025

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-5

*The article highlights the features of self-presentation of the subject of retrospective mental and cognitive activity recorded in the texts of memoirs of German-speaking writers of the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> centuries. The texts of fiction, which are fictional memories of the narrator and the main character of the narrative in one person, were also used as linguistic material. The novelty of the research is determined by the linguocognitive approach to the problem of interaction of the writer's / hero's reflexive personality with their own past SELF in the process of reconstructing personal experience. The study preliminarily states the fact of ontologically conditioned heterogeneity of the human Ego as a result of the natural process of individual-personal development. The definition of the concept of 'retrospective discourse' is given, which is relevant in the context of the research and referentially correlates with memoir-autobiographical prose. The types of autobiographical SELF mentioned in the relevant literary sources are considered. The forms of explication of the heterogeneity of the speech subject in German-language autobiographical texts are revealed, the main of which is the semantic opposition 'present SELF – past SELF', or 'subject-reconstructor – subject-reconstruct'. The variability of the eventual plurality of the subject-reconstruct and the opposition 'conscious SELF – unconscious SELF' are interpreted as the next forms of representation of the substantive splitting of the structure of the speech subject.*

**Keywords:** ego-identity, retrospective discourse, subject-reconstructor, subject-reconstruct, semantic opposition

## **1. Introduction**

The functioning of the human psyche remains a key ontological problem that modern anthropocentrically oriented science continues to investigate. In recent decades, cognitive science has played a crucial role in advancing this inquiry, as the very notion of cognition—as defined by Boldyrev—encompasses any process, whether conscious or unconscious, involved in the acquisition, transformation, and application of information. This broad concept includes not only perception and categorization, but also thinking, language, and a wide range of other mental processes (Boldyrev 2004, p. 23).

It is evident that human cognitive activity directed toward interaction with objective reality inevitably entails the cognition of the human being



himself, who is an integral and constant component of that very reality. However, alongside the recognition of the external individual as part of the external world, scholars emphasize the necessity of acknowledging the internal person – that is, a sovereign personality formed through the reflective activity of consciousness (Golovanova 2004, p. 5). A fundamental premise in the analysis of the structure of the inner person is its ontologically determined initial split: as a component of the triad person – space – time, our personality represents a synthesis of the past, present, and future SELF. The continuity and stability of this triune structure are ensured by the operation of the mechanism of personal memory.

According to psychologists, the heterogeneity of the SELF is a result of the natural process of individual development, which typically begins around the age of three and forms the foundation for self-awareness, self-analysis, and self-regulation. As noted by Kolominsky, two hypostases can be distinguished within human ego-identity: the actor SELF and the observer SELF. While the actor thinks and engages in action, the observer monitors these processes, exerting control and regulation over the individual's behaviour (Kolominsky 1986, p. 16).

Kon, in turn, proposes that ego-identity comprises three structural elements: the existential, categorical, and experienced 'SELF'. The existential 'SELF' functions as the organizing principle of individual existence, shaped through self-regulation and self-control. The categorical 'SELF', understood as a purely cognitive construct, corresponds to the self-image or self-concept, which emerges from processes of self-knowledge and self-evaluation and serves as a core component of one's subjective worldview. In contrast, the experienced 'SELF', as Kon notes, is not formed through conceptualization but is manifested in self-perception (Kon 1984, pp. 29–30, 181).

However, speaking about human interaction with space and time, i.e. with the surrounding reality, we inevitably come to realise the relevance in our lives of the triad of an even more global nature 'world – person – language' (see: Zubkova 2016), since any human contact with reality occurs with the direct participation of language and based on language, and any act of our cognitive activity can be verbalised in an appropriate textual form.

The process of understanding one's own SELF is not only a central focus of inquiry in psychology and philosophy but also a subject of representation in literary creativity. In this connection, it is necessary to emphasise the inevitability of fixing the phenomenon of multiple SELVES in the process of self-knowledge, which is typical for any first-person narrative, as rightly pointed out by the German researcher Lämmert (Lämmert 1983, p. 71).

Nevertheless, the implied phenomenon is most clearly realised in the texts of the special discursive type we have identified, namely retrospective discourse, under which we understand the process of verbalisation of the intentionally conditioned mental-cognitive retrospective activity of a speech subject – a real historical person or a fictional protagonist-narrator, reconstructing facts and events from personal experience (Bondareva 2019, p. 25).



Therefore, we are primarily talking about the texts of memories that circulate in the space of the memoir-autobiographical genre, which is formed as a result of the functioning of personal memory mechanisms.

## 2. Methods and materials

The research was conducted using a selection of both fictional and non-fictional texts that represent retrospective discourse. For the analysis of each text, a set of tailored methodological approaches was employed: contextual analysis, which provides reliable linguistic data on the functioning of relevant lexical units within their specific linguistic environments; elements of cognitive analysis, which aid in reconstructing the mental and cognitive activity of the speaker or narrator within retrospective discourse; analytical and descriptive methods, which support a comprehensive interpretation of the systematised linguistic material.

The material for researching the character of explication of the phenomenon of quasi-multiplicity of the author's self in the conditions of reconstruction of personally experienced stages of one's own life was German-language texts of autobiographical memoirs and texts of works of fiction, representing fictional memories of the main character-narrator, which belong to such German-language writers of the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> centuries as Bertha von Suttner, Hans Fallada, Ernst Wiechert, Gunter Grass and Thomas Mann.

One of the authors of authentic autobiographies is the Austrian pacifist writer Bertha von Suttner (1843–1914), known as the first female winner of the Nobel Peace Prize (1905) and the author of the anti-war novel 'Waffen nieder!', a popular novel in Europe at the beginning of the 20<sup>th</sup> century. Bertha von Suttner reconstructed her own life path, starting from her early childhood, in her voluminous book of memoirs 'Lebenserinnerungen'. In the autobiography of the German writer Hans Fallada (1893–1947), 'Damals bei uns daheim (Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes)', which has a chamber character and concentrates on the periods of childhood and adolescence, special attention is paid to the problems of psychological nature, which determined the peculiarities of personal formation and spiritual development of the narrator. The book of memoirs by Günter Grass (1927–2015), who was considered the 'conscience of the nation' in Germany and who won the Nobel Prize for Literature in 1999, and who wrote a kind of confession 'Beim Häuten der Zwiebel' about his service in the SS during his youth, had a bombshell effect on the general reading public. Interesting observations on the feelings and experiences of the self in childhood and adolescence are presented in the memoirs of Ernst Wiechert, a native of East Prussia, 'Wälder und Menschen. Eine Jugend'.

Since the mechanism of mental-cognitive activity of the speech subject to reconstruct their own past is universal, the material of the study includes nonfictional texts of retrospective discourse, one of which is the novel 'Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull' by Thomas Mann, a classic of German literature. In this novel, which is a parody of the 'novel of educa-



tion' and at the same time a brilliant stylisation of the classic novel of deceit, the charming adventurer Felix Krull recalls his life, where he works his way through life by methods that are far from respectable, but in full accordance with the mores of contemporary society.

### 3. Discussions and results

There is no doubt that during the period of fixation of memories, the author is in a different ontological phase of personal development compared to their depicted SELF, which is due to the natural temporal distance between the time of experience and the time of description by the speech subject of a particular event from their own life. It is important to emphasise that the distance between the mentioned SELF-poles is quite variable and directly depends on the depth of the narrator's immersion in the past reality.

During her time, the renowned German literary scholar Käte Hamburger, who examined the nature of the autobiographical novel, aptly identified the presence of two 'SELVES' within this genre. The first represents the 'present SELF,' corresponding to the writer's 'here and now' (Jetzt- und Hier-Origo des Schreibers), which narrates the second, earlier 'former SELF' as it undergoes various stages of its development (das seine Ich-Stadien durchlaufende Ich) (Hamburger 1957, p. 229).

It should be added that the representation of the dual essence of the autobiographical subject is interpreted in relevant literary studies under various nominations, which include, in particular, 'the narrating SELF' and 'the experiencing SELF' (Stanzel 1984), 'author' and 'autobiographical character' (Ginzburg 1976), 'the observing, sentimental SELF' and 'the naive SELF' (Picard 1978), 'the narrator' and 'the main character' (Finney 1985), etc. However, according to Nyubina, in autobiographical texts, the form SELF unites three personalities: the author, the subject, and the object of the story (Nyubina 2014, p. 190).

It is noteworthy that in pragmasemantic studies addressing the semantic stratification of the SELF as the subject of speech, terms such as the performative SELF and the descriptive SELF are particularly relevant in this context (cf.: Zolyan 2023).

In this sense, we still consider it logical to speak about the legitimacy of distinguishing such basic concepts as subject-reconstructor and subject-reconstruct in autobiographical narrative. By *subject-reconstructor*, we understand a speech subject who is *the closest* to the authentic historical personality of the author of the memoirs, or who represents a fictional narrator-protagonist who observes their own past from a certain temporal distance. In turn, *subject-reconstruct* is the embodiment of earlier hypostases of the author's SELF, which act exclusively within their spatiotemporal coordinates, each time centred on a specific episode from the reproduced past.

It is quite clear that the subject-reconstructor as the narrator's 'present SELF' occupies a dominant position in the semantic structure of the retrospective text, which allows him or her to integrate and process the cumulative life experience purposefully.



At the same time, however, one should not forget about the fact of natural alienation of the subject of literary creativity from the product of their labour, i.e. about the impossibility of exact matching of the historical personality of the writer and the subject-reconstructor due to the inevitable ontologically conditioned differences between the textual representation of the author and its referent, which is pointed out, in particular, by Chatman (Chatman 1978) and Docherty (Docherty 1990). In his time, Bakhtin wrote the following on this subject: 'The SELF as a narrator or writer on the event that has just happened to them is already outside the time and space in which this event took place, and it is as impossible to identify one's 'SELF' with the narrated 'SELF' as it is impossible to lift oneself by the hair' (Bakhtin 1975, p. 405).

In the context of these considerations, it should be noted that the hypertrophied accentuation of the plurality of the spiritual human SELF can certainly serve as a sign of pathological mental lability of the reflective personality of the author of the memoirs, an indicator of their inner hesitations and doubts about the adequacy of their behaviour and attitude to life. The self-portrait of such a vulnerable nature in youth, which managed to overcome the inferiority complex only with age, is presented in Fallada's autobiography 'Damals bei uns daheim (Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes)' ['Back Then At Home (Experiments, Experiences and Inventions)']. In the text fragment quoted below, it is noteworthy that the writer states that he has had episodes of realisation of even physical alienness of his personality, the recovery from which was marked for the author by a state of exaltation and intoxication with the happiness of returning to his unified, integral SELF. A formal sign of the implied heterogeneity of the autobiographer's Ego on the spiritual and physical levels is the spelling of the German pronoun *ich* with upper- and lower-case letters:

*Manchmal sah ich mich lange im Spiegel an. Bei der Betrachtung meines Gesichtes schien es mir dann, als sei dies ein falsches Gesicht, als müsse ich in Wirklichkeit ganz, ganz anders aussehen! Dann stiegen aus schon überwunden geglaubten Zeiten alte, schon traumhaft gewordene Erinnerungen auf an ein Ich, das ich auch war, aber anders, und vergingen wieder, wobei sie einen Nachgeschmack von bitterer Trauer hinterließen. Betrachtete ich mich aber nach dem Baden im Spiegel, so konnte eine Art Identitätsrausch über mich kommen. Hundertmal sagte ich mir vor: **Das bin ich! Ich! Ich! Hans Fallada! Das bin ich!** – Und dann warf ich mich wohl auch hin und heulte vor trunkenem Glück, daß es „Ich“ gab, daß ich „Ich“ war... [Sometimes I would look at myself in the mirror for a long time. When I looked at my face, it seemed to me as if it were a false face, as if I must actually look completely different! Then, from times I thought I had already overcome, old, dreamlike memories of a Self that was also I, but different, would rise up and fade away again, leaving behind an aftertaste of bitter sadness. But when I looked at myself in the mirror after bathing, a kind of identity frenzy would come over me. A hundred times I would repeat to myself: That's me! I! I! Hans Fallada! That's me! – And then I would probably throw myself down and howl with drunken joy that there was a 'Self', that self was 'I' ...] (boldface emphasis by the authors) (Fallada 1955, pp. 227 – 228).*

In accordance with the genre specificity of the autobiographical narrative, which belongs to the sphere of retrospective discourse, it is easy to as-



sume that the main variant of representation of the plurality of the semantic structure of the subject of speech activity will be the textual opposition of universal character 'present SELF' – 'past SELF', which is subject to obligatory explication. The realisation of this opposition is always carried out on the axes of the two-dimensional local-temporal continuum of the textual space that is characteristic of retrospective narration. The present time axis, or the presence axis, records various types of mental and cognitive activities of the 'present SELF' as a subject-reconstructor, who reflects and depicts personal past experience, while the past time axis, i.e. the preterit axis, reflects facts and events from the life of the 'past SELF', who acts as a subject-reconstruct.

As an example, we can cite a fragment of the memoirs of the famous German writer of the 20<sup>th</sup> century, Nobel Prize winner Gunter Grass 'Beim Häuten der Zwiebel', in which the author tells about his acquaintance in his youth with the work of Erich Maria Remarque. This episode is deeply embedded in the memory of the autobiographer, who assumes at the time of writing the book that his uncle, as well as himself, did not suspect that the novel 'Im Westen nichts Neues' belonged to the banned books in Germany, subject to public burning. What attracts attention is the fact of strengthening the presence axis of the narrative through the introduction of the lexical temporal marker of the present tense *bis heute* into the preterit context:

*Ich* (present SELF) *nehme an* (Präsens), daß mein Onkel nicht gewußt hat, daß „Im Westen nichts Neues“ zu den verbotenen Büchern *gehörte* (Präteritum), wie ja auch *ich* (past SELF) die Geschichte vom jämmerlichen Verrecken der jungen Freiwilligen des Ersten Weltkrieges *las* (Präteritum), ohne zu ahnen, daß dieser Roman zu den verbrannten Büchern gehört hatte. ***Bis heute läßt*** die verzögerte Wirkung früherer Leseerfahrung nicht von mir *ab* (Präsens) [***I*** (present SELF) *assume* (Present Simple) that my uncle didn't know that 'All Quiet on the Western Front' *was* one of the banned books (Past Simple), just as ***I*** (past SELF) *read* (Past Simple) the story of the miserable death of the young volunteers of the First World War without suspecting that this novel had been among the burned books. ***To this day***, the delayed effect of early reading experiences ***has not left me*** (Present Perfect)] (boldface emphasis by the authors) (Grass 2006, p. 111).

Another variant of explication of quasi-multiplicity of the author's SELF in memoir-autobiographical texts should be considered the *fact of splitting* into an unlimited number of hypostases of the *subject-reconstructor* themselves. While the subject-reconstructor is verbally fixed in a specific point of time reference relevant to the time of writing the memoirs, i.e. a certain 'point of observation' (a term by Galich (1991)), their 'past' SELF is heterogeneous, if we mean constantly changing locally and temporally conditioned subject modifications, which every time correspond to a new reconstructed age stage in the author's life.

A convincing illustration of the above is the text fragment from Wiechert's autobiography 'Wälder und Menschen' quoted below, in which the 'past SELF' is made up of the 'past SELF'-1, referentially correlating with the personality of an adult, but still relatively young writer who has comp-



leted the manuscript of his first novel, and the 'past SELF'-2, marking the personality of a boy, i. e. the author as a child, who picked up a violin for the first time:

*Ich weiß nicht, wann Stolz, Seligkeit und Zweifel größer gewesen sein mögen, ob in der Stunde, als **ich** ('past SELF'-1) die Handschrift meines ersten Romans beendete, oder in dem Augenblick, als **ich** ('past SELF'-2) meine erste Geige unter das Kinn hob und zum erstenmal den Bogen über die dunklen, geflochtenen Saiten gleiten ließ [I don't know when pride, bliss, and doubt may have been greater, whether in the hour when **I** ('past SELF'-1) finished handwriting my first novel, or in the moment when **I** ('past SELF'-2) lifted my first violin under my chin and let the bow glide over the dark, braided strings for the first time] (boldface emphasis by the authors) (Wiechert 1956, p. 36).*

Finally, a very curious form of realisation of the heterogeneity of the SELF in German-language autobiographical texts can be represented by the semantic opposition 'conscious SELF' – 'unconscious SELF', which is adequately embodied in one of the fragments of the memoirs of the 19<sup>th</sup>-century German pacifist writer von Suttner's 'Lebenserinnerungen'. The author, when describing her baptism, about which she knows, of course, only from the recollections of her relatives, discusses the fundamental heterogeneity of the 'conscious SELF' (1), marked in the text by the pronoun *Ich* with a capital letter, and, accordingly, of the 'unconscious SELF' (2), expressed by the form *ich* with a lowercase letter. At the same time, in the first sentence of the quoted textual example, the pronoun *ich*, beginning with a lowercase letter, still correlates with the 'conscious SELF' of the autobiographer:

*Dieser Taufe ... habe **ich** (1) nicht beigewohnt. Unter „**ich**“ (2) verstehe ich nämlich nicht die lebendige körperliche Form, in der dasselbe enthalten ist, sondern jenes Selbstbewußtsein, das sowohl in der ersten Kindheit als auch öfters im ganzen Lauf des Lebens abwesend ist: im Schlaf, in der Ohnmacht, in der Narkose und in gar vielen Augenblicken, wo man nur atmet und nicht denkt, nicht schaut, nicht hört, wo man nur so vegetativ weiterexistiert, bis das **Ich** (1) wieder in Funktion tritt [I (1) did not attend this baptism. By 'I' (2) I do not mean the living physical form in which it is contained, but rather that self-consciousness that is absent both in early childhood and frequently throughout life: in sleep, in unconsciousness, in anesthesia, and in many moments when one only breathes and does not think, does not see, does not hear, when one merely continues to exist vegetatively until the 'I' (1) resumes its function] (boldface emphasis by the authors) (Suttner 1970, p. 36).*

A similar situation is observed in one of the episodes of the fictional memories of the social knave Felix Krull in Thomas Mann's novel 'Die Bekennnisse des Hochstaplers Felix Krull', where the protagonist-narrator also mentions the situation of his birth, known to him only by eyewitnesses, and expresses the idea that his newly born SELF is undoubtedly alien to his present adult and therefore fully conscious SELF. In this case, *ich* (1) is the auto-nomination of the speech subject at the moment of recollection, and *ich* (2) as an indicator of the unconscious SELF is duplicated in the text in the form of the objectified auto-nomination *jenes frühe und fremde Wesen*, which contributes to the effect of the narrator's defamiliarisation of the earliest hypostasis of his personality:



*Meine Geburt ging, wenn ich (1) recht unterrichtet bin, nur sehr langsam ... vonstatten, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich (2) mich – wenn ich (1) jenes frühe und fremde Wesen (2) als „ich“ (1) bezeichnen darf – außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei verhielt, die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte ... [My birth, if I (1) am correctly informed, took place very slowly..., mainly because I (2) – if I (1) may call that early and strange being (2) 'I' (1) – behaved extraordinarily inactively and apathetically, hardly supporting my mother's efforts at all ...] (boldface emphasis by the authors) (Mann 1956, p. 272).*

Thus, the study has shown that the phenomenon of heterogeneity of the semantic structure of the speech subject reconstructing their own past is characterised by significant diversity and variability of the ways of explication in the texts of retrospective discourse.

#### 4. Conclusion

Summarising the above, we can state that the complex structure of human Ego-identity as an object of cumulative interdisciplinary research becomes especially relevant within the framework of the modern anthropocentric-oriented paradigm of academic thinking. Cognitive linguistics, which has been actively developing in recent decades, makes a significant contribution to the solution of this problem, contributing to the establishment and consolidation of cause-and-effect relations between the functioning of mental processes, conditioned by the activity of the human psyche, and the ways of realising these processes in our speech activity.

Works that aim to capture and interpret the specific features of verbalising the flow of mental and cognitive operations—conducted as part of a speaker's retrospective reflection on facts and events from their own or others' past experiences—can occupy a distinctive place within such studies. At the same time, it is essential to emphasise that any reconstruction of experience is inherently individual and personal in nature.

The re-creation of fragments of reality, which are components of the past and, accordingly, distanced in space and time from the moment of their fixation and comprehension, is traditionally directly reflected in the textual continuum of the retrospective discourse we have identified. The most representative are texts of the memoir-autobiographical genre, which can have a traditional non-fictional character but can also be regarded as a product of genre mimicry when it comes to the personal memories of a fictional narrator.

In addition to the facts and events that took place in the external world in the past reality, the authors of memoirs may be attracted by certain moments that took place in their inner world. As a consequence, autobiographies are subject to creative reconstruction not only of the profound mental shocks and vivid emotions experienced by the writer but also of the corresponding reflections on the relativity of the essence of their own personality. In such a situation, the factor of ontologically conditioned quasi-multiplicity



of the SELF receives a new interpretation and textual representation in the form of various variants, which confirms the active nature of the speech subject's functioning in the conditions of retrospective discourse.

At the same time, it is necessary to acknowledge the undeniable fact that when analysing the peculiarities of explication of the semantic structure of the SELF, one should not fall into existentialist extremes in the spirit of the absolute incomprehensibility of our essence due to its constant real and eventual changeability. When investigating the phenomenon of the ontologically conditioned plurality of the Ego, reflected in the split of the subject of speech activity in the texts of retrospective discourse, we are quite aware of the fact that any reflective writer retains the identity of his or her self in biographical terms, which is a guarantee of the integrity of the substantive core of the personality of the author of memoirs.

### Sources

- Fallada, H., 1955. *Damals bei uns daheim (Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes)*. Hamburg.
- Grass, G., 2006. *Beim Häuten der Zwiebel*. Göttingen.
- Mann, Th., 1956. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. In: Th. Mann, ed. *Gesammelte Werke*. Vol. 8. Berlin, s. 265–274.
- Suttner von, B., 1970. *Lebenserinnerungen*. Berlin.
- Wiechert, E., 1956. *Wälder und Menschen. Eine Jugend*. Wien; München; Basel.

### References

- Bakhtin, M., 1975. Forms of Time and Chronotope in the Novel. Essays on Historical Poetics. In: *Voprosy literatury i estetiki: Issledovaniya raznykh let* [Questions of literature and aesthetics: Studies from different years]. Moscow, pp. 234–407 (in Russ.).
- Boldyrev, N.N., 2004. Conceptual space of cognitive linguistics. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 1, pp. 18–36 (in Russ.) EDN: OPVZUJ.
- Bondareva, L., 2019. *Retrospektsiya kak faktor strukturirovaniya diskursa i teksta* [Retrospection as a factor in structuring discourse and text]. Kaliningrad (in Russ.) EDN: RFROWF.
- Chatman, S., 1978. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca; London.
- Docherty, Th., 1990. Anti-Mimesis: The Historicity of Representation. In: *Literary representations of the self: Papers from the 5th triennial BCLA conf., 1989*. Oxford.
- Finney, B., 1985. *The inner I: British literary autobiographies of the twentieth century*. London; Boston.
- Galich, A., 1991. *Ukrainskaya pisatel'skaya memuaristika (Priroda, evolyutsiya, poetika)*. [Ukrainian writer's memoirs (Nature, evolution, poetics). PhD thesis. Kiev (in Russ.).
- Ginzburg, L., 1976. *O psikhologicheskoi proze* [About psychological prose]. Leningrad (in Russ.).
- Golovanova, E., 2004. Lexical category: perspectives of synthesizing approach to investigation. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 2/3, pp. 5–13 (in Russ.) EDN: IIQYVR.
- Hamburger, K., 1957. *Die Logik der Dichtung*. Stuttgart.
- Kolominsky, Y., 1986. *Chelovek: psikhologiya* [A Human Being: Psychology]. Moscow (in Russ.).



Kon, I., 1984. *V poiskakh sebya: Lichnost' i ee samosoznanie* [In Search of Oneself: Personality and its Self-Awareness]. Moscow (in Russ.).

Lämmert, E., 1983. *Bauformen des Erzählens*. Stuttgart.

Nyubina, L., 2014. Memoir text as a “cultural” phenomenon. In: *Russkaya germanistika: Ezhegodnik Rossiiskogo soyuza germanistov* [Russian Germanic Studies: Yearbook of the Russian Union of Germanists]. Moscow (in Russ.).

Picard, H.-R., 1978. *Autobiographie im zeitgenössischen Frankreich., Existenzielle Reflexion und literarische Gestaltung*. München.

Stanzel, F.K., 1984. *Linguistische und literarische Aspekte des erzählenden Diskurses*. Wien.

Zolyan, S.T., 2023. “I” As a Subject of Self- and Other-Reference: A Linguistic Perspective. *Proceedings of the V.V. Vinogradov Russian Language Institute*, 2 (36), pp. 26 – 39, EDN: YENNRC, <https://doi.org/10.31912/pvrli-2023.2.2> (in Russ.).

Zubkova, L., 2016. *Teoriya yazyka v ee razviti: ot naturotsentrizma k logotsentrizmu cherez sintez k lingootsentrizmu i k novomu sintezu* [Theory of language in its development: from naturcentrism to logocentrism through synthesis to linguacentrism and to a new synthesis]. Moscow (in Russ.).

### The authors

*Dr Ludmila M. Bondareva*, Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-9631-0860

E-mail: lbondareva@kantiana.ru

*Dr Anna O. Budarina*, Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-8878-7183

E-mail: abudarina@kantiana.ru

### To cite this article:

Bondareva, L.M., Budarina, A.O., 2025, The phenomenon of heterogeneity of the speech subject in German retrospective discourse, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 73 – 83. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-5.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## ФЕНОМЕН ГЕТЕРОГЕННОСТИ РЕЧЕВОГО СУБЪЕКТА В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДИСКУРСА

*Л. М. Бондарева, А. О. Бударина*

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  
Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 03.02.2025 г.

Принята к публикации 15.04.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-5

*Освещены особенности самопрезентации субъекта ретроспективной ментально-когнитивной деятельности, зафиксированные в текстах воспоминаний немецкоязычных писателей XIX – XX веков. В качестве языкового материала также использованы*



тексты художественных произведений, представляющих собой функциональные воспоминания рассказчика и главного героя повествования в одном лице. Новизна исследования определяется лингвокогнитивным подходом к проблеме взаимодействия рефлексивной личности писателя / героя с собственным прошлым Я в процессе реконструкции личного опыта. Предварительно констатирован факт онтологически обусловленной неоднородности человеческого Эго как результата естественного процесса индивидуально-личностного развития. Приведена дефиниция понятия «ретроспективный дискурс», релевантного в контексте осуществленного исследования и референциально соотносящегося с мемуарно-автобиографической прозой. Рассмотрены виды автобиографического Я, упоминаемые в соответствующих литературоведческих источниках. Выявляются формы экспликации гетерогенности речевого субъекта в немецкоязычных автобиографических текстах, основной из которых служит семантическая оппозиция «Я настоящее – Я прошлое», или «субъект-реконструктор – субъект-реконструкт». В качестве очередных форм репрезентации субстанциальной расщепленности структуры речевого субъекта интерпретированы факт вариативности эвентуальной множественности субъекта-реконструкта и оппозиция «Я сознательное – Я бессознательное».

**Ключевые слова:** эго-идентичность, ретроспективный дискурс, субъект-реконструктор, субъект-реконструкт, семантическая оппозиция

### Об авторах

Людмила Михайловна Бондарева, доктор филологических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-9631-0860

E-mail: lbondareva@kantiana.ru

Анна Олеговна Бударина, доктор педагогических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-8878-7183

E-mail: abudarina@kantiana.ru

#### Для цитирования:

Bondareva L. M., Budarina A. O. The phenomenon of heterogeneity of the speech subject in German retrospective discourse // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 73–83. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-5.



**ИМПЛИЦИТНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ  
ПО ДАННЫМ КВАНТИТАТИВНОГО  
КОРПУСНО-ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА:  
«СВЕРШИТЬСЯ» VS «СОВЕРШИТЬСЯ»  
В ЯЗЫКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ**

*Т. Б. Радбиль*

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского,  
Россия, 603022, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 22  
Поступила в редакцию 13.12.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-6

*Проанализированы очередные результаты исследования прагмалингвистических и собственно языковых механизмов выражения имплицитной оценочности слов и выражений русского языка в их дискурсивной реализации. Цель исследования – выявление особенностей прагматики наведенной в контексте оценочности для изначально внеоценочного событийного глагола «совершиться» в сопоставлении с рассмотренной ранее квазисинонимичной лексемой «свершиться». Использована авторская методика комплексного (контенсивного и квантитативного) корпусно-дискурсивного анализа. Источником языкового материала является современный отечественный медийный дискурс. Непосредственным материалом исследования послужили контексты, извлеченные из газетных корпусов Национального корпуса русского языка. На предварительном, эмпирическом уровне исследования по данным словарей обнаружено, что значения глаголов «совершиться» и «свершиться» различить невозможно, в то время как анализ большого массива корпусных данных показал существенные смысловые и стилистические расхождения между этими лексемами. Первая из них в основном обозначает стандартные, обыденные ситуации, вторая обнаруживает тяготение к обозначению ситуаций, имеющих какую-либо значимость для концептуализатора – духовную, социальную, психологическую, моральную и пр., причем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Также установлено, что в аспекте «прагматики наведенной оценки», по данным квантитативного анализа, глагол «совершиться» реферирует к нейтрально оцениваемому факту, событию или явлению, тогда как глагол «свершиться» явным образом тяготеет к позитивно-оценочному отношению говорящего к изображаемому. Сделан вывод, что апробированная в работе методика корпусно-дискурсивного анализа наведенной оценочности имеет значительный потенциал для исследовательской объективации достаточно тонких смысловых различий между близкими по значению словами, а также для фиксации интуитивно ощущаемой, но не фиксируемой словарями оценочности, которая имплицитно фиксируется ближайшим или дальнейшим контекстным окружением анализируемого слова или выражения.*

**Ключевые слова:** *«прагматика наведенной оценки», событийные глаголы, глаголы «совершиться» / «свершиться», корпусно-дискурсивный анализ, квантитативный анализ, имплицитная позитивная / негативная оценочность, медийный дискурс, русская речь*



## 1. Введение

Исследовательский инструментарий современных междисциплинарных лингвокультурологических штудий в наши дни активно обогащается посредством включения в научный инструментарий идей и принципов современного дискурс-анализа и анализа «больших данных» (Зыкова 2017; Радбиль 2019). В центре исследовательского внимания находятся, в частности, лингвопрагматические и когнитивно-дискурсивные механизмы языкового выражения ценностей, которые, по мнению ряда ученых, «работают» в речевой практике носителей естественного языка весьма сложно и неоднозначно (Арутюнова 1999; Вежбицкая 1997).

В работе представлены новые результаты нашего исследования имплицитной оценочности слов и выражений русского языка, актуализуемой в разнообразных речевых практиках. Исследование осуществлено посредством когнитивно-дискурсивного анализа корпусных данных (Радбиль 2023).

Согласно концепции нашего исследования, у ряда единиц естественного языка, не имеющих никакой оценочности на уровне своих системно-языковых значений, она может наводиться в дискурсе контекстным окружением анализируемых слов или выражений. Это, собственно, и переводит данную проблематику в сферу действия лингвистической прагматики, аналитический аппарат которой позволяет обнаружить разного рода имплицитные проявления языковой оценочности непосредственно в речевой деятельности. Это представляется особенно значимым для изучения особенностей функционирования медиаречи, в которой модели формирования и трансляции ценностей исключительно активны и разнообразны (Радибурская 2016; Радбиль, Помазов 2020).

Речь идет прежде всего о явлениях так называемой «наведенной» оценочности, которая имплицитируется в речи посредством ближайшего и / или дальнейшего контекстного окружения интересующих исследователя единиц языка, однако при этом не фиксируется в лексикографических данных (как элемент толкования, как логическая импликация из толкования или как стилистическая помета) (Радбиль 2023).

В центре непосредственного исследовательского внимания в предлагаемой работе находятся некоторые глаголы в составе условно выделяемой нами лексико-семантической группы так называемых «событийных» глаголов *произойти – случиться – состояться – совершиться – свершиться – осуществиться – исполниться – сбыться*. Ранее нами уже было проведено исследование, так сказать, полярных позиций на этой условно выделенной нами семантической шкале: с одной стороны – *произойти* и *случиться*, с другой – *сбыться* и *свершиться*. В плане интересующей нас наведенной, имплицитируемой в контексте оценочности были получены интересные результаты, связанные как с универсальной, так и с национально обусловленной составляющей русского мира ценностей, объективированного в дискурсивных практиках носителей



русского языка. Для глаголов *произойти* и *случиться* был выявлен дрейф в сторону негативной оценочности, в соответствии с положениями Дж. Синклера (Sinclair 1991) – в районе эмпирически определенной пороговой величины в 55 % употреблений. В свою очередь, противоположные результаты были получены для глаголов *сбыться* и *свершиться*, которые обнаружили преобладание «наведенной» оценочности положительного знака. Проще говоря, исследования показали, что для носителей русского языка происходит и случается, скорее, что-то плохое, чем что-то хорошее, тогда как сбывается и свершается, напротив, скорее, что-то хорошее, нежели что-то плохое.

Целью настоящего исследования является анализ особенностей прагматики наведенной в контексте оценочности для изначально внеоценочного событийного глагола *совершиться* в сопоставлении с рассмотренной ранее квазисинонимичной лексемой *свершиться*.

## 2. Методы и материал исследования

Методологической основой исследования выступает выдвинутая в зарубежной корпусной лингвистике концепция «семантической ауры» («семантической просодии») слова – своего рода «добавленного», зачастую – оценочно окрашенного смысла ассоциативного характера, который регулярно проявляется в больших массивах извлеченных из референциальных корпусов употреблений, но при этом не осознается самими говорящими и, соответственно, не отражается в лексикографических данных (Firth 1957; Sinclair 1991; Louw, Milojkovic 2016). Предполагается, что, «прогоняя» через корпус интересующее нас слово или выражение, мы сможем выявить его наведенную в контексте положительную или отрицательную оценочность, которая в лексико-семантической системе языка для этого слова или выражения не имеет места.

Используется авторская методика комплексного (квалитативного и квантитативного) корпусно-дискурсивного анализа, которая базируется на существующем в зарубежной лингвистике опыте исследований в области *pragmatic stylistics* (Black 2006), *affective pragmatics* (Scarantino 2017) и *experimental pragmatics* (Noveck 2021), а также на отечественных разработках в сфере когнитивно-дискурсивного анализа корпусных данных (Чернявская 2018; Рацибурская 2021).

Предлагаемая в работе методика исследования «наведенной» оценочности реализуется на нескольких стадиях. На стадии предварительного анализа исследуются лексикографические источники, на следующей проводится квантитативный корпусно-дискурсивный анализ. В сферу исследования попали только словоупотребления совершенного вида, которые воплощают идею совершившегося события. Проведена кластеризация глагольных форм: 1) формы прошедшего времени; 2) формы простого будущего времени; 3) инфинитив. Для каждого из кластеров методом сплошной выборки из газетных корпусов было извлечено, соответственно, по 100 контекстов; всего, таким образом, выбрано 300 контекстов. После этого по стандартной методике определе-



ния эмоциональной тональности текста (сентимент-анализа) (Prabowo, Thelwall 2009) проводится ручная разметка собранного материала по трехкомпонентной шкале: контексты помечаются как позитивно-оценочный, нейтральный (нулевой) или негативно-оценочный. На завершающем этапе проводится контенсивная (содержательная) интерпретация полученных в ходе квантитативного анализа данных.

Источником языкового материала является современный отечественный медийный дискурс, который представляет исключительно богатый и разнообразный материал для исследователя языкового воплощения ценностей этноса, социума, отдельных референтных групп и индивидуума (Сидоров 2019). Непосредственным материалом исследования становятся толковые словари русского языка (БАС-13 1962; БАС-14 1966; МАС-4 1988; Даль-4 2002) и контексты, извлеченные из газетных корпусов Национального корпуса русского языка (НКРЯ 2024).

### 3. Результаты корпусно-дискурсивного анализа событийных глаголов *совершиться* / *свершиться* и их обсуждение

В настоящей работе осуществляется комплексный (контенсивный и квантитативный) анализ событийного глагола *совершиться* в его сопоставлении с рассмотренной ранее квазисинонимичной лексемой *свершиться*. Мы продемонстрируем, что разрабатываемый нами исследовательский инструментарий корпусно-дискурсивного анализа имплицитной оценочности способен не только выявить наведенную оценочность разного типа, не фиксируемую в словарях, но и обнаружить некоторые смысловые расхождения между лексемами, которые, согласно их словарным толкованиям, являются синонимами. Иначе говоря, предлагаемый нами исследовательский аппарат, основанный на квантитативном подходе, имеет и существенный потенциал для качественной интерпретации корпусных данных.

В соответствии с принятой методикой исследования сначала анализируются лексикографические источники. Мы выяснили, что на уровне словарных толкований значения глаголов *совершиться* и *свершиться* практически неразличимы. Так, для *совершиться* выделяются значения: 1) 'делаться, осуществляться, происходить. *Путешествие наше до Саратова совершилось благополучно.* А. Остр[овский]. Письмо Н. А. Дубровскому, 8–12 июня 1865'; 2) 'заклучаться с соблюдением необходимых формальностей; оформляться. *За столиками [ресторана] совершились сделки.* А. Н. Толст[ой]. Эмигранты, 30'; 3) 'проходить, протекать. *Правильно и невозмутимо совершается там [в Обломовке] годовой круг.* Гонч[аров]. Обломов, I, 9' (БАС-14 1963; МАС-4 1988). Для лексикографических толкований глагола *свершиться* те же словари не указывают каких-либо принципиальных расхождений в сравнении с глаголом *совершиться*.

При этом интуитивно ощущается, что лексема *свершиться* имеет стилистически-возвышенный оттенок смысла в сравнении с нейтральной *совершиться*. Так, на фоне словарной иллюстрации к первому значению *совершиться*: *Путешествие наше до Саратова совершилось благопо-*



лучно – невозможна субституция \*Путешествие наше до Саратова свершилось благополучно в нейтральном регистре (если, конечно, данное путешествие оценивается говорящим не как обыденный факт его биографии, а как нечто судьбоносное).

И массив корпусных данных, который был проанализирован на следующем этапе исследования, это ощущение полностью подтверждает. Очень много употреблений *свершиться* реферируют к нейтральному факту: *Удивительно, но наиболее активное продвижение в этом направлении свершилось в разгар финансового кризиса* [lenta.ru. 26.02.2016]; *Центробанк сообщил о росте на 15 % количества пластиковых карт, с помощью которых за первые три квартала 2018 года свершилась хотя бы одна операция* [Коммерсант. 12.12.2018]. – Нетрудно заметить, что в этих случаях нельзя \*свершилось активное продвижение, свершилась операция.

С другой стороны, для *свершиться* более характерна референция к наступлению значимого, ожидаемого или даже планируемого события в проспективном плане: *А если все сложится, то свершится наша большая мечта* [Советский спорт. 23.11.2011]; – *Надеюсь, что свершится и человеческая справедливость* [Vesti.ru. 20.11.2009]. – Очевидно, что и здесь нельзя заменить на \*свершилась мечта, свершится справедливость.

Таким образом, выявляются не только стилистические, но и семантические расхождения. Мы видим, что лексема *свершиться* обычно применяется для обозначения событий, которые характеризуются какой-либо личностной значимостью для говорящего – в интеллектуальном, психологическом, социальном, культурном или моральном плане, причем как положительно оцениваемую, так и отрицательно, например:

(знак +) – *В то мгновение, не занявшее и секунды, свершилась таинственная переменная: я стал другим, научившись не падать* [Новая газета. 23.11.2018];

(знак -) – *Месть свершилась только в конце прошлого года* [lenta.ru. 21.03.2018].

Это семантическое свойство стало основой для междометийного по сути употребления безличной формы *Свершилось!* ‘произошло то, что полагалось’, с эмоциональным отношением говорящего: *Когда все сели по домам, их сын-студент был счастлив: свершилось!* [Vesti.ru. 04.09.2020]; *Свершилось!* «Спартак» впервые с 2012 года победил в Лиге чемпионов, да еще как! [lenta.ru. 18.10.2017]. – *Свершилось* в этой роли не употребляется, что доказывает невозможность субституции *свершилось* на \*свершилось в данных контекстах.

С другой стороны, *свершиться* тяготеет к номинации стандартной ситуации в области политики, экономики, бизнеса, финансов и пр.: *Революция в Финляндии и Скандинавии, о которой мечтал Иван Александров, так и не свершилась* [Комсомольская правда. 01.04.2011]; *Переход от одного экономического уклада (советского) к другому, казалось бы, свершился, но фактически это не совсем так* [Ведомости. 27.09.2015]; *21 февраля было решение кредитного комитета, а покупка акций Банка Москвы банком ВТБ свершилась 22 февраля* [Коммерсант. 04.07.2011].



Также нельзя *свершиться* вместо *совершиться*, когда речь идет об обычных, нейтральных вещах, явлениях, событиях, например: *Первый регулярный рейс, который должен был вылететь утром в понедельник с 26 пассажирами на борту, не смог совершиться из-за отказа принять рейс международного аэропорта города Ташкента* [РБК. 20.02.2017]; *Пока рано говорить о том, что мой переход в «Локомотив» уже совершился* [Vesti.ru. 19.06.2011].

В этих контекстах лексема *совершиться* синонимически сближается не со словом *свершиться*, а с глаголом *состояться*, как правило, употребляющимся в ситуации, когда осуществляется нечто запланированное, подготовленное чьими-то действиями, например: *Вручение Нобелевской награды, согласно установленным традициям, совершится 10 декабря в Осло* [Независимая газета. 14.10.2000]. В этом контексте можно осуществить субституцию на *состоится*, но нельзя – на *\*свершится*.

Также для *совершиться* возможна референция и к резко негативно-му событию, что практически нехарактерно для *свершиться*: *...убийство Харири не могло совершиться без ведома сирийских спецслужб* [Lenta.ru. 21.10.2005]; *Так, создатель WhatsApp<sup>1</sup> Ян Кум призвал не дать совершиться этому опасному прецеденту* [lenta.ru. 18.02.2016]. В данных контекстах также это слово нельзя заменить на *\*свершиться*.

Однако *свершиться* все же возможно и для негативно-оценочных контекстов, если реферируемое негативное событие оценивается говорящим как сверхзначимое в каком-либо отношении или заслуженное его субъектом, например: *5 февраля 1880 года свершилось новое, беспрецедентное по дерзости покушение на императора – взрыв в Зимнем дворце, осуществленный Степаном Халтуриным* [Известия. 14.05.2017]; *Акт вандализма чуть было не свершился 1 мая* [Известия. 02.05.2018]; *И наказание за былые грехи рано или поздно свершится* [Советский спорт. 25.09.2009].

Также в корпусном материале отмечен и так называемый «отрицательный языковой материал», то есть употребления, производящие впечатление неправильных. Подобные явления в корпусных исследованиях обычно трактуются как «отклонения от корпусной нормы», например: *Кража свершилась зимой, и вора довольно быстро отыскали по следам на снегу* [Парламентская газета. 11.06.2017]. Здесь, поскольку речь идет об обычной, ничем не примечательной краже, правильнее было употребить слово *совершилась*.

Аналогично и в следующих контекстах, когда речь идет не о значимых, судьбоносных вещах, желательно употребить не сильное *свершиться*, а нейтральное *совершиться* – если только не в ироническом употреблении: *Лайнсмен уверенно зафиксировал офсайд, но судьи VAR не дали свершиться несправедливости* [lenta.ru. 02.10.2019]; *Именно зоозащитники помешали свершиться страшному* [Московский комсомолец. 27.08.2019].

---

<sup>1</sup> Приложение WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.



Сказанное выше справедливо и для некорректного употребления *свершиться* в референции к нейтрально оцениваемому событию, например: *Как и предполагал вчера «СС», сделка по Смертину завершилась подписанием контракта с «Фулхэмом» на 2,5 года. **Свершиться данный факт** должен был поздно вечером по английскому времени, когда этот номер «СС» уже был подписан* [Советский спорт. 27.01.2007].

Можно отметить, что в ряде репрезентативных контекстов для *свершиться* и *совершиться* характерно употребление при одном и том же субстантиве — *чудо, правосудие, возмездие* и пр. могут и *совершиться*, и *свершиться*:

СОВЕРШИТЬСЯ: *А вдруг да **чудо совершится** еще раз, и наговорит он французскому вольнодумцу Бог знает что!* [Независимая газета. 18.09.1996]; — СВЕРШИТЬСЯ: *Я верил, что еще сегодня **свершится** в Иерусалиме **самое великое чудо*** [lenta.ru. 09.07.2017];

СОВЕРШИТЬСЯ: *Московская декларация правительств СССР, США и Великобритании (октябрь 1943) предупреждала военных преступников, что «союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут в руки обвинителей с тем, чтобы **могло совершиться правосудие**»* [РИА Новости. 11.11.2005]; — СВЕРШИТЬСЯ: *С верой в вас, уважаемые судьи, в то, что вы нас услышали и сумеете найти зерно истины, и в день оглашения приговора **свершится подлинное правосудие**, и стража выпустит на свободу обоих подсудимых* [Известия. 24.12.2007];

СОВЕРШИТЬСЯ: *Однако узбекский лидер считает, что «**возмездие должно совершиться**»* [Коммерсант. 19.09.2001]; — СВЕРШИТЬСЯ: *Вынесенный приговор убедительно свидетельствовал о том, что **возмездие** в любой момент **может свершиться** над теми нацистскими главарями, которые поначалу сумели избежать справедливой кары* [Труд-7. 15.12.2006].

Однако и в этих случаях мы, видимо, можем говорить о разных смысловых акцентах, обуславливающих выбор говорящим того или иного глагола: *совершиться* акцентирует сам факт того, что произошло некоторое событие, а *свершиться* делает акцент на ценностной значимости изображаемого события для говорящего.

Проверим данный вывод на нейтрализующем контексте со словом *факт*: СОВЕРШИТЬСЯ: *Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока-2» «**совершившимся фактом**»* [Ведомости. 07.06.2021]; — СВЕРШИТЬСЯ: *При этом он подчеркнул, что если исходить из того, что волеизъявление народа является важнейшим принципом демократии, то нужно признать, что в Крыму этот **факт свершился*** [Московский комсомолец. 18.03.2019].

#### 4. Квантитативный сопоставительный анализ корпусных вхождений лексем *совершиться/свершиться*

На следующем этапе исследования перейдем непосредственно к квантитативному корпусно-дискурсивному анализу имплицитной позитивной или негативной оценочности для слова *совершиться*. Отме-



тим, что ручная разметка контекстов, имплицитующих оценочность того или иного «знака», предполагает у исследователя наличие определенного навыка подобной «разметки».

Самые очевидные варианты для фиксации положительной или отрицательной оценки связаны с контекстами, где оценочность наводится за счет непосредственного сочетания интересующего нас глагола с существительным в субъектной позиции, которое само по себе в своей семантике уже содержит эксплицитную оценку – позитивную или негативную.

**ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ:** *Здесь совершилось эпохальное событие – было заложено будущее нашего государства, будущее культурное, духовное, экономическое, политическое* [Vesti.ru. 28.07.2020];

**НЕГАТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ:** *По ее мнению, мало осуждать агрессоров постфактум, когда преступление уже совершилось, а нужно принять закон, направленный на профилактику...* [Парламентская газета. 04.12.2019].

В более сложных для «разметки» оценочной тональности случаях оценочность того или иного знака может имплицитоваться в рамках всего расширенного контекста, выводиться из общего смысла речевого отрезка.

**ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ:** *Тем не менее это совершилось. Были сильный экономический подъем, высокие темпы экономического роста накануне войны, аграрные преобразования (столыпинская реформа) ...* [Михаил Карпов. «Русские либералы не могут ждать» // lenta.ru. 11.02.2017];

**НЕГАТИВНАЯ ОЦЕНОЧНОСТЬ:** *Самолет-нарушитель был обнаружен еще при полете к нашей границе, и с технической стороны не составляло особого труда пресечь его полет. Однако беспечность, безответственность и нерешительность нескольких руководителей разных рангов позволили **совершиться тому, что произошло** [Аргументы и факты. 27.06.1987].*

В целях нашего исследования важно «разметить» и случаи, где оценочности нет (нейтральные, или внеоценочные, употребления). Это прежде всего контексты, где интересующий нас глагол сочетается с существительным в субъектной позиции, которое никакой оценочности эксплицитно не содержит, например: *В феврале может совершиться совсем уж уникальное событие: 15 числа истекает срок приема заявок на аукцион по продаже полного пакета акций санатория «Воронеж», расположенного в городе-курорте Ессентуки* [Время Воронежа. 05.02.2018]; *Алекс улетел в Бразилию, его трансфер в «Коринтианс» вот-вот совершится, есть вероятность ухода Ибсона в «Рубин»* [Советский спорт. 14.05.2011].

Также и расширенные контексты могут характеризоваться как нейтральные, внеоценочные: *Скорее всего, было недостаточно учтено то явление, которое мы вчера в средствах массовой информации наблюдали, которое совершилось. Это можно объяснить выходом внешних воздействий за те параметры, на которые мост рассчитывался* [Vesti.ru. 21.05.2010]; *Геллия Делеринс: главная французская революция – революция соусов. Легче,*



*проще, вкуснее – под такими лозунгами совершилась реформа французских соусов. Самый большой трепет из всей готовки у меня всегда вызывал соус [Коммерсант. 16.04.2012].*

Далее представлены результаты количественного анализа тональности – отдельно по трем кластерам и сводного. Для кластера 1 (формы прошедшего времени) зафиксировано преобладание примеров с нейтральной оценочностью, более чем в два раза превышающих количество как позитивно-оценочных, так и негативно-оценочных (табл. 1).

Таблица 1

**Количественный анализ тональности форм  
совершилось, совершился, совершилась, совершились**

Тип оценочности	Частотность, %
Оценочная тональность (+)	23
Оценочная тональность (0)	53
Оценочная тональность (-)	24

Для кластера 2 (формы простого будущего времени) зафиксировано преобладание примеров с нейтральной оценочностью, почти в два раза превышающих количество позитивно-оценочных и более чем в два раза превышающих количество негативно-оценочных (табл. 2).

Таблица 2

**Количественный анализ тональности форм совершится, совершатся**

Тип оценочности	Частотность, %
Оценочная тональность (+)	28
Оценочная тональность (0)	53
Оценочная тональность (-)	19

Для кластера 3 (форма инфинитива) зафиксировано преобладание примеров с нейтральной оценочностью, почти в два раза превышающих количество как позитивно-оценочных, так и негативно-оценочных (табл. 3).

Таблица 3

**Количественный анализ тональности форм совершиться**

Тип оценочности	Частотность, %
Оценочная тональность (+)	25
Оценочная тональность (0)	48
Оценочная тональность (-)	27

Затем представим результаты сводного количественного анализа по всем трем кластерам (табл. 4).



Таблица 4

#### Сводный количественный анализ тональности по трем кластерам

Тип оценочности	Частотность, %
Оценочная тональность (+)	25,33
Оценочная тональность (0)	51,33
Оценочная тональность (-)	23,33

В целом наблюдается преобладание нейтральных, внеоценочных контекстов примерно в два раза над контекстами с оценочностью как негативной, так и позитивной. Ранее в наших исследованиях эмпирическим путем была определена пороговая величина в 50–55 %, которая позволяет сделать вывод о преобладании того или иного типа оценочности. В нашем случае мы получили показатель примерно 51 %, что является объективным свидетельством преобладания нейтрального, внеоценочного характера для глагола *совершиться* в сравнении с его позитивно-оценочными и негативно-оценочными употреблениями.

Примечательно, что полученные данные демонстрируют, что в оценочном плане между глаголами *совершиться* и *свершиться* имеются еще большие расхождения, чем в плане семантическом. В наших предыдущих исследованиях для глагола *свершиться* был выявлен явный «дрейф» в пользу именно имплицитной позитивной оценочности, количественный показатель которой для данного глагола был 56 % (табл. 5).

Таблица 5

#### Сопоставительный количественный анализ тональности (лексемы *свершиться* ↔ *сбыться*)

Тип оценочности	Частотность, %	
	<i>Свершиться</i>	<i>Совершиться</i>
Оценочная тональность (+)	56,3	25,33
Оценочная тональность (0)	30,0	51,33
Оценочная тональность (-)	13,7	23,33

Проще говоря, глагол *совершиться* реферирует к нейтрально оцениваемому факту, событию или явлению, тогда как глагол *свершиться* явным образом тяготеет к позитивно-оценочной трактовке изображаемого.

#### 5. Содержательная интерпретация данных, полученных в ходе квантитативного анализа

Контенсивная (содержательная) интерпретация результатов проведенного квантитативного корпусно-дискурсивного анализа показала, что в концептуальной схеме глаголов *совершиться* или, тем более, *свершиться* в силу наличия семантического элемента 'стать, сделаться реальным' имеет место облигаторно разделяемое по умолчанию всеми



носителями русского языка представление о том, что происходящие в реальности события так или иначе соотносятся с планами, ожиданиями субъекта, что, в свою очередь, зачастую предполагает с его стороны какие-то активные действия для их осуществления. Именно поэтому внезапные явления или события в мире природы или социума не обозначаются данными глаголами — *произошло похолодание, обнищание*, но не *\*совершилось / свершилось*.

Но при этом в концептуальных схемах глаголов *совершиться* и *свершиться* по-разному осуществляются смысловые акценты в описании ситуации. Если глагол *свершиться* имеет тенденцию к обозначению значимых для концептуализатора фактов, явлений, событий, причем, как правило, в позитивном плане, отражая вполне закономерное предпочтение благоприятных ожиданий, предчувствий, предположений над неблагоприятными в проспективной сфере человеческого существования, то глагол *совершиться* нацелен на объективную характеристику изображаемого, на внеоценочную констатацию того, что концептуализируемый употреблением данного глагола факт (явление, событие) просто имеет место, становится реальным.

## 6. Заключение

В целом апробированная в работе методика корпусно-дискурсивного анализа наведенной оценочности имеет значительный потенциал для исследовательской объективации достаточно тонких смысловых различий между близкими по значению словами, а также для фиксации интуитивно ощущаемой, но не фиксируемой словарями оценочности, которая имплицитно фиксируется ближайшим или дальнейшим контекстным окружением анализируемого слова или выражения.

Особый интерес исследования подобного рода представляют для анализа семантики и особенностей дискурсивной реализации событийных глаголов: они позволяют выявить значимые для ценностной картины мира этноса и социума модели рецепции того, что происходит в мире или с человеком, и тем самым объективировать национально и культурно обусловленные представления об устройстве мироздания, воплощенные в словах и выражениях естественного языка.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №23-28-00368, <https://rscf.ru/project/23-28-00368/>*

## Список литературы

Арутюнова, Н.Д., 1999. *Язык и мир человека*. М. [Arutyunova, N.D., 1999. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the human world]. Moscow (in Russ.)].

БАС – *Словарь современного русского литературного языка*: в 17 т., 1950–1965. Т. 13, Т. 14. М.; Л. [BAS – *Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t., 1950 – 1965* [BAS-Dictionary of modern Russian literary language: in 17 volumes, 1950–1965]. Vol. 13, Vol. 14. Moscow; Leningrad (in Russ.)].

Вежбицкая, А., 1997. *Язык. Культура. Познание*. М. [Vezhbitskaya, A., 1997. *Yazyk. Kul'tura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Moscow (in Russ.)].



Даль, В. И., 2002. *Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.* Т. 4. М. [Dal, V. I., 2002. *Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t.* [Explanatory dictionary of the living great Russian language: in 4 volumes]. Vol. 4. Moscow (in Russ.).]

Евгеньева, А. П., ред., 1988. *МАС – Словарь русского языка: в 4 т.* Т. 4. 3-е изд. М. [Evgen'eva, A. P., ed., 1988. *MAS – Slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [MAS – Dictionary of the Russian language: in 4 vols.]. Vol. 4. 3d ed. Moscow (in Russ.).]

Зыкова, И. В., 2017. *Метаязык лингвокультурологии: Константы и варианты.* М. [Zykova, I. V., 2017. *Metayazyk lingvokul'turologii: Konstanty i varianty* [The metalanguage of Linguoculturology: Constants and variants]. Moscow (in Russ.)] EDN: ZRFXSB.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 14.10.2024). [NKRYa – Natsional'nyi korpus russkogo yazyka [NKRya – National Corpus of the Russian Language]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru> [Accessed 14 October 2024] (in Russ.).]

Радбиль, Т. Б., 2019. Вера как основа мировосприятия и миропонимания в русской языковой картине мира. *Лингвокультурологические исследования. Логический анализ языка. Понятие веры в разных языках и культурах.* Н. Д. Арутюнова, М. Л. Ковшова, ред. М., с. 23–35. [Radbil, T. B., 2019. Faith as the basis of world perception and worldview in the Russian linguistic worldview. In: N. D. Arutyunova and M. L. Kovshova, eds. *Lingvokul'turologicheskie issledovaniya. Logicheskii analiz yazyka. Ponyatie very v raznykh yazykakh i kul'turakh* [Linguistic and cultural studies. Logical analysis of language. The concept of faith in different languages and cultures]. Moscow, pp. 23–35 (in Russ.)] EDN: VDFGGT.

Радбиль, Т. Б., Помазов, А. И., 2020. Прецедентные феномены как средство создания аттрактивности в поликодовом тексте интернета. *Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языкознание*, 19 (1), с. 140–153. [Radbil, T. B. and Pomazov, A. I., 2020. Precedent phenomena as a means of establishing attractiveness in polycode internet text. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie* [Vestnik of Volgograd State University. Linguistics], 19 (1), pp. 140–153 (in Russ.)] EDN: WTIVMA, <https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.1.12>.

Радбиль, Т. Б., 2023. Языковое воплощение ценностей в медиадискурсе интернета по данным корпусного анализа репрезентативных контекстов (лексема по-хорошему). *Научный диалог*, 12 (6), с. 170–189. [Radbil, T. B., 2023. Linguistic embodiment of values in internet media discourse: a corpus analysis of representative contexts (the Lexeme 'pokhoroshemu'). *Nauchnyi dialog*, 12 (6), pp. 170–189 (in Russ.)] EDN: UZKQQJ, <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-6-170-189>.

Рацибурская, Л. В., ред., 2016. *Новые тенденции в русском языке начала XXI века.* М. [Ratsiburskaya, L. V., ed., 2016. *Novye tendentsii v russkom yazyke nachala XXI veka* [New trends in the Russian language of the early 21st century]. Moscow (in Russ.)] EDN: YOYNBM.

Рацибурская, Л. В., ред., 2021. *Русский язык в интернет-коммуникации: лингвокогнитивный и прагматический аспекты.* М. [Ratsiburskaya, L. V., ed., 2021. *Russkii yazyk v internet-kommunikatsii: lingvokognitivnyi i pragmaticheskii aspekty* [Russian language in Internet communication: linguocognitive and pragmatic aspects]. Moscow (in Russ.)] EDN: ETGPYQ.

Сидоров, В. А., 2019. Журналистика как ценность в «цифровой» среде. *Вопросы журналистики*, 5, с. 5–16. [Sidorov, V. A., 2019. Journalism as a value in a digital environment. *Voprosy zhurnalistiki* [Russian Journal of Media Studies], 5, pp. 5–16 (in Russ.)] EDN: BEPPOA, <https://doi.org/10.17223/26188422/5/1>.

Чернявская, В. Е., 2018. Дискурсивный анализ и корпусные методы: необходимое доказательное звено? *Объяснительные возможности качественного и количественного подходов.* *Вопросы когнитивной лингвистики*, 2, с. 31–37. [Cher-



nyavskaya, V. E., 2018. Discourse analysis and corpus approaches: a missing evidence-based link? Towards qualitative and quantitative approaches in language studies. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 2, pp. 31–37 (in Russ.)] EDN: YVJDJI, <https://doi.org/10.20916/1812-3228-2018-2-31-37>.

Black, E., 2006. *Pragmatic stylistics*. Edinburgh.

Firth, J. R., 1957. *Papers in linguistics: 1934–1951*. Oxford.

Louw, W. and Milojkovic, M., 2016. *Corpus stylistics as contextual prosodic theory and subtext*. Amsterdam.

Noveck, I., 2021 *Experimental pragmatics: The making of a cognitive science*. Cambridge.

Prabowo, R. and Thelwall, M., 2009. Sentiment analysis: A combined approach. *Journal of Informetrics*, 3 (2), pp. 143–157, <https://doi.org/10.1016/j.joi.2009.01.003>.

Scarantino, A., 2017. How to do things with emotional expressions: the theory of affective pragmatics. *Psychological Inquiry*, 28 (2–3), pp. 65–185, <https://doi.org/10.1080/1047840X.2017.1328951>.

Sinclair, J. M., 1991. *Corpus, concordance, collocation*. Oxford.

### Об авторе

Тимур Беньюминович Радбиль, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-7516-6705

E-mail: timur@radbil.ru

#### Для цитирования:

Радбиль Т. Б. Имплицитная оценочность по данным количественного корпусно-дискурсивного анализа: «свершиться» vs «совершиться» в языке отечественных интернет-СМИ // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 84–97. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-6.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ  
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## QUANTITATIVE CORPUS ANALYSIS OF IMPLICIT EVALUATIVENESS: THE CASE OF 'SOVERSHIT'SYA' AND 'SVERSHIT'SYA' IN RUSSIAN INTERNET DISCOURSE

*Timur B. Radbil*

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,  
23 Gagarina Prospekt, Nizhny Novgorod, 603022, Russia

Submitted on 13.12.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-6

*The paper discusses the latest results of the study of pragmalinguistic and proper linguistic mechanisms for expressing implicit evaluativeness of words and expressions of the Russian language in their discursive implementation. The purpose of the study is to identify the*



features of the pragmatics of the induced evaluativeness in the context of the initially non-evaluative event verb 'sovershit'sya' in comparison with the previously considered quasi-synonymous lexeme 'svershit'sya'. The author's methodology of complex (contentive and quantitative) corpus-discourse analysis is used. The source of language material is modern domestic media discourse. The direct material of the study is the contexts extracted from the newspaper corpora of the Russian National Corpus. At the preliminary, empirical level of the study, according to the dictionary data, it was found that the meanings of the verbs 'sovershit'sya' and 'svershit'sya' cannot be distinguished, while the analysis of a large block of corpus data showed significant semantic and stylistic discrepancies between these lexemes. The lexeme 'sovershit'sya' mainly denotes standard, everyday situations. The lexeme 'svershit'sya', in turn, tends to denote situations that have some significance for the conceptualizer – spiritual, social, psychological, moral, etc., both with a 'plus' and a 'minus' sign. It has also been established that in the aspect of "pragmatics of induced evaluation", according to the data of quantitative analysis, the verb 'sovershit'sya' refers to a neutrally evaluated fact, event or phenomenon, while the verb 'svershit'sya' clearly tends to the positive-evaluative attitude of the speaker to the depicted. It is concluded that the method of corpus-discursive analysis of induced evaluativeness tested in the work has significant potential for research objectification of fairly subtle semantic differences between words close in meaning, as well as for recording intuitively felt, but not recorded by dictionaries, evaluativeness, which is implied by the immediate or further contextual environment of the analyzed word or expression.

**Keywords:** pragmatics of induced evaluation, event verbs, verbs 'sovershit'sya'/'svershit'sya', corpus-discursive analysis, quantitative analysis, implicit positive/negative evaluativeness, media discourse, Russian speech

The reported study was funded by Russian Science Foundation, project number №23-28-00368, <https://rscf.ru/en/project/23-28-00368/>.

### The author

Dr. Timur B. Radbil, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Linguistics, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-7516-6705

E-mail: timur@radbil.ru

### To cite this article:

Radbil, T. B., 2025, Quantitative corpus analysis of implicit evaluativeness: the case of 'sovershit'sya' and 'svershit'sya' in Russian internet discourse, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 84–97. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-6.



**PRAGMATICS BEYOND COGNITION: A PERSPECTIVE  
OF CHARLES PEIRCE'S UNFINISHED CONCEPTION  
FOR (BIO-)SEMIOTICS<sup>1</sup>**

*Suren T. Zolyan*<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Institute of Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences,  
51/21 Nakhimovsky Prospekt, Moscow, 117997, Russia

<sup>2</sup> Immanuel Kant Baltic Federal University,  
14 Aleksandra Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted on 28.06.2025

Accepted on 15.07.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-7

*The development of artificial intelligence and the new understanding of biomolecular processes for transmitting genetic information have emphasized the necessity to consider semiotic activity, that may operate autonomously from human cognition. In this regard, Charles Peirce's latest conception of semiosis is of particular interest. For Peirce, semiosis is an interpretation that doesn't necessitate an external interpreter. A sign is viewed as a quasi-mind, and semiotic processes are carried out by these signs, specifically through the quasi-minds that are embedded within them: a quasi-utterer and a quasi-interpreter. Semiosis can thus be viewed as an ongoing, personalized interaction of structural semiotic entities (quasi-minds). The latest findings in molecular genetics and their implications in biosemiotics shed light on a unique aspect of interpretation: it can occur without an external interpreter owing to its mechanism of self-organization. By studying communication and information processes at the biomolecular level, we can redefine pragmatics as operations intricately linked with systemic self-regulation and interaction with the environment.*

**Keywords:** non-cognizant semiotic agents, Charles Peirce, pragmatics, sign, interpreter, interpretant, sign as a quasi-mind, semiopoiesis, semiosis, biosemiotics, code biology

## **1. Introduction**

Different versions of pragmatics are based on the assumption that pragmatics is a relation between some human (or anthropomorphic) subject and a sign system. This notion was introduced by Charles Morris, who essentially contributed to accommodating Peirce's semiotic theory. This has possibly led to the misconception that Morris borrowed this idea from Peircean semiotic theory and coined the term in alignment with Peircean philosophical pragmatism. In our paper, we intend to demonstrate the following:

1. Charles Morris introduced the contemporary notion of pragmatics, and this conception is not a development of Peircean ideas but directly opposed to them. In the original Peircean notion, interpretation produces an interpretant, but this does not presuppose the existence of the cognizant interpreter.

---

© Zolyan S.T., 2025

<sup>1</sup> The article summarizes and expands upon the findings that were partially introduced in: (Zolyan 2023a; 2023b; 2024).



2. In his semiotic theory, Peirce intentionally excluded the notion of a cognizant subject. According to him, a sign is endowed with semiotic operative capacities, acting as a quasi-mind. Peirce realized that his conception might not be readily accepted by his contemporaries and did not elaborate on it in a systematic way. However, his draft notes make it possible to reconstruct his holistic vision of semiosis as a self-emerging and self-regulated process.

3. The recent advancements in biosemiotics, code biology, and AI presuppose the possibility of semiotic operations independent of any mind or cognition. In Peircean terms, semiotic entities can act as quasi-utterers and quasi-interpreters to perform regulatory or performative functions. Based on this understanding, pragmatics can be redefined as a facet of semiotics focused on the interaction between the environment and the system — or, in semiotic terms, between the sign system and the contexts of its actualization. In this way, a sign system may act as a speaking and interpreting agent, or a *quasi-mind*.

## 2. Charles Morris on pragmatics

While discussing interpretation and interpretants, Peirce does not mention interpreters, which may seem like a gap that Morris addressed. Consequently, the following definition became widely accepted:

“The subject of study may be the relation of signs to interpreters. This relation will be called the *pragmatical dimension of semiosis*, and the study of this dimension will be named *pragmatics*” (Morris 1938, p. 30).

Meanwhile, Morris proposed different definitions of an interpreter. In this regard, he refers to Aristotle rather than Peirce. At least three approaches can be identified:

“The interpreter of the sign is the mind; the interpretant is a thought or concept; these thoughts or concepts are common to all men and arise from the apprehension by mind of objects and their properties” (Ibid.).

It implies the existence of a universal human mind — akin to Kant's transcendental subject — which serves as an interpreter of signs. However, Morris did not anchor himself on mentalistic notions and made an attempt to eliminate them: «The interpreter of a sign is an organism; the interpretant is the habit of the organism to respond» (Ibid., p. 31). This definition does not imply the presence of a mind but only the capacity to respond correctly to a sign-vehicle: «Pragmatics itself would attempt to develop terms appropriate to the study of the relation of signs to their users» (Ibid., p. 33). However, this most general notion of *users* says nothing, as it does not specify any mode of usage. It is still unclear who these users are, but it is obvious that Morris tried to distance himself from mentalistic associations. This approach aims to define this concept in a manner that is entirely pure and free from subjective or contextual connotations. Rather than involving a hu-



man interpreter, this view presupposes an operator embedded within the semiotic system that transforms structural relationships into behavioral patterns. The use of signs is restricted by the syntactic structures of language (sentences) instead of being influenced by thought or context: "Considered from the point of view of pragmatics, a linguistic structure is a system of behavior" (Ibid., p. 32).

Looking ahead, it is worth noting that this is similar to how genetic information's regulatory mechanisms can be described at the molecular level. Morris relied on Peirce's published work and realized that Peirce's definition of a sign did not include the concept of an interpreter. Morris may not have been aware of Peirce's unpublished manuscripts and letters, so he could not have assumed that the absence of an external agent to the sign was fundamental to Peirce's understanding of semiosis. In all cases, it should be noted that when referring to a human user of signs, Morris is not specifically talking about a particular speaker within a specific speech act. Instead, he is referring to a universal human thought expressed through the rules of language, although the sounds carrying these thoughts vary in different languages (Ibid., p. 30). However, Morris's successors, despite having the opportunity to study Peirce's drafts, and possibly being influenced by pragmatics of natural language, developed this aspect of semiotics as sign operations performed by a cognizant (or human) subject.

### 3. Sign as a quasi-mind

One of the key concepts in Peirce's semiotic theory is the idea of interpretive semiosis, which does not presuppose any specific subject to have a mind or brain. Throughout his career, Peirce realized the complexities of signs, offering various definitions (at least 76; cf.: Marty n. d.). However, he consistently avoided introducing or mentioning the notion of an interpreter within interpretative processes. According to Jürgen Habermas, in his semiotics both the mind and interpreter are integrated into the structure of the sign: "because it consists of nothing other than that three-placed relation of representation in general; it is absorbed by the structure of the sign" (Habermas 1995, p. 247). Peirce understood sign relations as algebraic, making the notion of an interpreter (*human thought*) redundant:

"A sign is something, A, which brings something, B, its interpretant sign, determined or created by it, into the same sort of correspondence (or a lower implied sort) with something, C, its object, as that in which itself stands to C. This definition no more involves any reference to human thought than does the definition of a line as the place within which a particle lies during a lapse of time" (Peirce, 1976, p. 54).

Peirce ultimately rejected the concept of an interpreter in his latest version of semiotics, which is primarily found in his handwritten sketches titled "Pragmatism – Notes and Drafts" (Peirce 1907). His aversion to the notion



of a person using a sign is evident in his comments. After reiterating his definition of a sign, he acknowledges that including a person in that definition is a reluctant concession — a *sop to Cerberus* — made in response to the desire to be understood:

“I define a Sign as anything which is so determined by something else, called its Object, and so determines an effect upon a person, which effect I call its Interpretant, that the latter is thereby mediately determined by the former. My insertion of “upon a person” is a sop to Cerberus, because I despair of making my own broader conception understood” (Peirce 1977, p. 80–81).

In his draft notes, the concept of a “person” is absent; it was eliminated from the definition of a sign and substituted with an indefinite pronoun, that is, “something capable of somehow ‘catching on’” (Peirce 1907, p. 318). As Peirce pointed out, semiotic relations do not necessarily require an intelligent agent; they can function through a kind of “quasi-mind” or “quasi-intelligence” that is involved in the operations on signs and is inherent in the sign and sign system. In this context, the sign itself acts as an agent in these operations. Therefore, according to Peirce, a sign can be considered a (quasi-) thinking entity or a *quasi-mind*:

“...as every thinking requires a mind, so every sign even if external to all minds must be a determination of a quasi-mind. The quasi-mind is itself a sign, a determinable sign” (Peirce 1977, p. 195).

Peirce defines a sign not in terms of its paradigmatic and syntagmatic relations with other signs, as is typical in Saussurean semiotics, but through interactions within the chain of signs both generating it and generated by it. First, these are the sign’s closest “neighbors” in this sequence: the quasi-utterer and the quasi-interpreter. A sign manifests in three hypostases, and the interpreter is not seen as external to the sign; rather, the interpreter emerges as the result—or, more precisely, as the process—of a bifurcation of the quasi-mind, becoming an integral part of the sign itself, as something welded into a sign.

To concretize this understanding, one can deduce the following stages of the semiotic process, which unfolds through and around the sign. A thought-sign, representing the initial implied quasi-utterer, generates and establishes a meaningful connection between signs and objects. In Peirce’s semiotic framework, both the object and the thought-sign combine and transform into what Peirce calls the (sign-as-a-) quasi-utterer. The object is transformed into a sign-as-an-utterer, which then assumes the new function of a sign-as-an-interpreter, generating its interpretant. Then, this newly formed interpretant becomes a sign-object, and the process of secondary semiosis restarts when this already semiotized sign correlates with the implied secondary quasi-utterer. Through the implied second quasi-interpreter, this gives rise to a second interpretant. In the first stage, these quasi-minds act as utterers and interpreters of thought; in the next stage, they act as utterers and inter-



preters of sign. At each stage, new signs and interpretants emerge<sup>2</sup>. A thought-sign replaces an articulated sign and thereby receives a recognizable form (literally: *a moulded sign*), which in turn evolves into a mental entity, and it will be replaced by the new inferring semiotic entities — thus the process continues indefinitely. This conception, known as infinite semiosis, was further developed by Umberto Eco (1983; 1990). Semiosis is understood as a self-generating process carried out by signs that function as quasi-minds. It can be described without necessarily relying on human thinking. However, according to Peirce's later thoughts, semiosis may (if not should) have its limits:

“The next step toward our definition is the consideration that a chain of signs that conveys a given meaning can in many cases, at any rate, be neither beginningless nor endless. Still, it must be of a mental nature. There must then be some other mental element than a sign that can endow a sign with a meaning; and someone upon which the meaning can ultimately be expended” (Peirce 1907, p. 318).

There was no apparent further development, so one can only speculate how Peirce might have clarified the interpretation that Umberto Eco later provided for his theory (and which was challenged by Emile Benveniste)<sup>3</sup>. However, it is evident that, according to Peirce, if a definitive final point were to be found, it would not be a physical object but a mental element, specifically a new thought-sign. This, in turn, may (or have to) initiate a new process of semiosis, leading to the emergence of new semiotic quasi-utterers and quasi-interpreters. Following this line of reasoning, a strange hybrid of machine and reaction emerges: the mind can be conceptualized as a sign-maker, connected to a reaction machine that responds to mild stimuli:

---

<sup>2</sup> This is our understanding of Peirce's handwritten sketch (see also the commentary on this passage in (Gorlee 1994, p. 217–218): “A sign is whatever there may be whose intent is to mediate between an utterer of it and an interpreter of it, for being repositories of thought or quasi-mind by conveying a meaning from the former to the latter. We may say that the sign is moulded to the meaning in the quasi-mind that utters it, where it was, virtually at least, (i.e. if not in fact, yet the moulding of the sign took place as if it has been there,) already an ingredient of thought. But thought being itself a sign the meaning must have been conveyed to that quasi-mind, from some anterior utterer of the thought, of which the utterer of the moulded sign had been the interpreter. The meaning of the moulded sign being conveyed to its interpreter, became the meaning of a thought in that quasi-mind; and as there conveyed in a thought-sign required an interpreter, the interpreter of the moulded sign becoming the utterer of this new thought-sign” (Peirce 1907, p. 318).

<sup>3</sup> One might get the impression that Peirce was trying to answer the question posed half a century later: “Man himself is a sign; his thought is a sign; his every emotion is a sign. But finally, since these signs are all signs for each other, for what could they be a sign that is not a sign itself? Where could we find a fixed point to anchor the first signifying relationship? The semiotic edifice that Peirce constructs is not self-inclusive in its own definition. In order to keep the notion of sign from disappearing completely amidst this proliferation *ad infinitum*, we must recognize a difference, somewhere in this universe, between sign and signified” (Benveniste 1981, p. 6).



“...a mind may, with advantage, be roughly defined as a sign creator in connection with a reaction-machine. A reaction-machine is very delicately susceptible... to physical forces” (Ibid.).

It is unclear whether Peirce's idea foreshadows the behaviorist concept of meaning as a stimulus-response or suggests neural interactions, as he did not continue this line of reasoning. In his quest to identify a mental element other than the sign, Peirce introduced a new semiotic entity: the concept of permanent *sign-creation*. Habermas's remark mentioned earlier suggests that Peirce reduced a mind to the triadic relation of representation entirely absorbed by the structure of a sign. However, this is a sign with creative capacities, and in this respect, it may function as a mind. Dundee Gorley also considered Peirce's draft notes and arrived at a similar conclusion (Gorley 1994).

Peirce's theory raises the question of whether there is a mental element other than a sign. Peirce attempted to incorporate the role of the subject in his semiotic theory by providing an ostensive definition: *someone upon which the meaning can ultimately be expended* (Peirce 1907, p. 318), and the choice of the animate pronoun *someone* is notable. However, identifying who this person is seems either impossible or unnecessary. Modern researchers generally prefer to overlook Peirce's hesitations, likely owing to their inconsistencies. Let us recall the mythological plot that Peirce alludes to. Sibyl volunteered to help Aeneas pass Cerberus in order to reach the kingdom of the dead. She soothed the dog with a honey cake mixed with a sleeping potion. Cerberus fell asleep, allowing Aeneas to enter the kingdom of the dead. Peirce invokes this figure as a metaphor for a participant in semiotic processes — one who seeks to lull the vigilance of the philosophical community. However, Peirce's stance is not entirely consistent; while he rejects the idea of a personalized mind, he introduces hybrid terms such as "quasi-mind" and "mental elements" and creates hybrid personages like "quasi-utterer" and "quasi-interpreter". In Peirce's time, neither artificial intelligence nor molecular genetics were known, which could have influenced Peirce's development of his concept. He attributes the ability to perform semiotic operations not only to humans but also to crystals, plants and even natural phenomena. This is why Morris consistently speaks about the biotic nature of pragmatics<sup>4</sup>. It's worth noting that Morris was unaware of Peirce's more radical conception, which was not widely known at the time.

At the same time, Peirce only outlined these concepts in a preliminary way. In his later work, he focused on the semantic aspects of semiosis as a dynamic process. Instead of quasi-pragmatic elements, he differentiated between two types of objects (Immediate and Dynamic Objects) and three types

---

<sup>4</sup> Nevertheless, Morris understood the idea of "biotic" very broadly, extending it to social relations as well: "it is a sufficiently accurate characterization of pragmatics to say that it deals with the biotic aspects of semiosis, that is, with all the psychological, biological, and sociological phenomena which occur in the functioning of signs" (Morris 1938, p. 30).



of interpretants (Dynamic, Immediate, and Final)<sup>5</sup>. Combined with his previous ten-member classification, this allowed him to identify 66 types of signs (Atkin 2008; 2023). Of course, this detailed classification is too complicated to use. It is evident that the two types of objects and the three types of interpretants may relate to characteristics like the thought-sign, sign-quasi-mind, sign-utterer, and sign-interpreter. However, Peirce did not indicate that possibility, so we prefer not to speculate on it but to consider developing them in the light of new data.<sup>6</sup>

#### 4. The new life of Peirce's unfinished conception

Thirty years ago, one of the most significant philosophers of the twentieth century foresaw that advancements in genetics and artificial intelligence would revive Peirce's previously overlooked ideas:

“Peirce spoke of quasi-minds, because he wanted to conceptualize the interpretation of signs abstractly, detached from the model of linguistic communication between a speaker and a hearer, detached even from the basis of the human brain. Today this makes us think of the operations of artificial intelligence, or the mode of functioning of the genetic code” (Habermas 1995, p. 245).

Peirce's hesitation stemmed from the need to associate the concept of interpreter with two quasi-interlocutors – the addressee and the addressant, some quasi-persons sending and receiving messages. Morris later formalized these aspects as the pragmatic dimension of the sign, but he replaced fictitious quasi-interlocutors with observable organisms. Subsequent developments in pragmatics continued this approach by reintroducing personified agents – such as cognizant interlocutors – as autonomous entities, independent of the sign system itself.

Meanwhile, the perspective can be reversed: molecular genetics suggests that sign operations can occur without involving such concepts as consciousness, mind, or brain. Erwin Schrödinger (1944) and George Gamow (1954) used analogies with sign operations to predict the principles of genetic code

---

<sup>5</sup> The main attention of researchers is attracted by this typology; cf.: (Nesher 1983; 1990; 2018; Atkin 2008; Švantner 2014; Pape 2015; Jappy 2016; 2019; Aames 2018; Sørensen et al. 2019; Hilpinen 2019; Schmidt 2022; Haase 2022, Olteanu, Ongstad 2024).

<sup>6</sup> One can find some evidence that Peirce considered the possibility of combining semantic and communicative approaches in another triad of interpretants, which was outlined but not further developed: “There is the Intentional Interpretant, which is a determination of the mind of the utterer; the Effectual Interpretant, which is a determination of the mind of the interpreter; and the Communicational Interpretant, or say the Cominterpretant, which is a determination of that mind into which the minds of utterer and interpreter have to be fused in order that any communication should take place. This mind may be called the commens. It consists of all that is, and must be, well understood between utterer and interpreter, at the outset, in order that the sign in question should fulfill its function” (Peirce 1977, p. 196–197).



organization. Then Francis Crick compared the genetic code to “a small dictionary which relates the four-letter language of nucleic acids to the twenty-letter language of the proteins” (Crick 1981, p. 170). Nucleotides were likened to letters, and genes to texts (for more details, see: Raible 2001; Zolyan 2021; Zolyan, Zdanov 2018).

The genetic code has both biochemical and stereochemical aspects that form the basis for representing information in symbolic forms. Unlike typical biochemical phenomena, genetic information is not a random combination of elements; rather, it is regulated by their location, linear order, and context.

“Genes are not the germs of biological structures, but resemble linear texts written under certain rules and carrying genetic information about molecular structures and functions ... Both genes and non-coding areas are segments of DNA molecules, i. e., they are constructed from the same alphabet of four nucleotides. Therefore, the differences between such texts are not in their physical nature, but exclusively in the succession of symbol-monomers. This is the key to the information-linguistic approach. Hence, genes are not physical but informational units of heredity” (Rutner 2000, p. 23, my translation).

Terence Deacon recently echoed this thesis:

“The structural characteristics of these molecules have provided semiotic affordances that the interpretive dynamics of viruses and cells have taken advantage of. These molecules are not the source of biological information but are instead semiotic artifacts” (Deacon 2021, p. 537).

However, the competence to manipulate semiotic entities does not imply that a molecule has consciousness. If one refers to pragmatic regulations in the biomolecular world, it may only be in the Peircean sense, as something melded into the sign. Without referencing Peirce's reflections on the quasi-interpreter and the quasi-utterer, Deacon explores the conditions under which a molecule becomes a semiotic system, thereby re-addressing a problem that Peirce posed but did not clarify:

“In Peircean terms, this amounts to asking what sort of molecular system is competent to produce the interpretants that can bring this re-presented property into useful relation with that system? In an age when neuroscience was in its early infancy and molecular biology was not even imaginable, it is not surprising that he avoided speculating about what sorts of dynamical systems were competent to be interpreters... There are reasons to be more hopeful that insights into the physical implementation of interpretation might be obtained within molecular biology” (Ibid., 540; see also: Pattee 2012; Küppers 2023).

Of course, new insights can greatly enhance and solidify our understanding of the material *implementation of interpretation*; however, some preliminary concepts are already in place—they allow us to grasp, if in a general sense, how interpretation can occur through self-initiated and self-controlled processes, without relying on an external interpreter. In the 1980s, the solution was found to a puzzling question: how can the outcome of an activity



(like interpreting genetic information) exist without an agent taking this action? Italian microbiologist Giorgio Prodi (1928–1987) suggested that the interpreter and the interpretant are one and the same, arising from self-sustaining protein synthesis reactions. While borrowing Peirce's definition of the interpretant, Prodi presented his own consideration of sign-creation:

“The general system outlined by Peirce may also be non-human, since the process of semiosis occurs wherever there is a mediation between an interpreter and a thing by means of an interpretant. But in Peirce's framework, and broadly speaking in Morris's too, the only possible domain for this kind of semiosis is the human one; at least, they both conceive interpretation in an anthropomorphic and anthropocentric manner. Unlike the De Saussure's demarcation, Peirce's does not need to postulate either intentionality or conventionality (i. e. the artificial nature of semiosis). Nevertheless, in his approach to the problems of semiosis, the sign is something already given as a mediator. It is already inserted in a semiotic function whose origins thus remain totally obscure. What we must do is to go a step further and eliminate not only intentionality but also mediation in the most elementary stage of meaning. A sign is not something that officially represents something else. It is a natural object that corresponds to (and is a function of) something else.” (Prodi 2021, p. 117–118).

In contrast to Prodi's work in semiotics, another Italian microbiologist, Marcello Barbieri, took a different approach and focused on developing a semiotics-influenced branch of biology. For him, the genetic code comprises two distinct molecular ‘worlds’: nucleotides and amino acids. A specialized system of adapters is essential for maintaining fidelity to the rules of molecular correspondence, which are based on coding convention rather than the chemical or biochemical properties of the interacting elements. This set of adapters establishes a mapping between these two domains, serving as an intermediary or “codemaker”, rather than an “interpreter.”<sup>7</sup> Barbieri argues against the term “interpretation” and emphasizes the role of an intermediary or transducer. He suggested to include the third component, the ribotype: a ribonucleoprotein system serves as the cell's codemaker, converting the cell into a semantic system by producing proteins based on the rules of the genetic code (Barbieri 2008, p. 27).

The experimental data made it possible to concretize Peirce's speculative concept. Peirce's model involved signs alternating roles as both speaker and interpreter, creating corresponding meanings, or interpretants. This process mirrors the way genetic information is processed. According to Peter Wills and Charles Parker, self-organization processes lead to the emergence of an

---

<sup>7</sup> Barbieri prefers to distinguish between coding and interpretation, which he believes to involve abduction and presupposes the presence of higher brain activity (Barbieri 2019). However, for Peirce, thinking can be reduced to semiotic interpretative operations: “Thought is not necessarily connected with a brain. It appears in the work of bees, of crystals, and throughout the purely physical world... Not only is thought in the organic world, but it develops there. But as there cannot be a General without Instances embodying it, so there cannot be thought without Signs. Admitting that connected Signs must have a Quasi-mind, it may further be declared that there can be no isolated sign” (Peirce 1906, 523).



interpreter even before the primordial genetic code itself. They argue that language and interpreter are systems of recursive operations, and the reciprocal transformations of causes and effects give rise to a *Hofstadter's strange loop* (Carter and Wills 2021). The sequence of signs conveying a specific meaning cannot be both beginningless and infinite, despite Peircean conception implying an infinite sequence of interpretations. There are various signals that mark the start and end of genetic processes. At the most basic level, the standard genetic code includes three stop codons and one start codon, in order to delimitate boundaries of linear sequences. These markers of segmentation also highlight the textual nature of genetic coding.

Peirce developed an incomplete concept about a machine reaction triggered by a delicate stimulus, resulting in the creation of quasi-subjects of semiosis. This concept may be compared with the relationship between code and code-maker (M. Barbieri). Prodi describes a similar pattern; however, this is not a speculative construction but a description of the process of protein synthesis in semiotic terms:

“The enzyme <enzymes are proteins that act as biological catalysts – S.Z.> comes into contact with all the indifferent elements present in the system in a purely statistical, thermodynamic way, and enters into relationship only when it encounters its own substrate and no other. The substrate is thus the referent sign for the reading machine, or interpreter, and the ‘reading’ – that is, the signaling phenomenon – consists of the destruction and utilization of the substrate. Here an interpreter is ‘one who interprets’, a synonym of interpretant, and the two terms, though quite distinct at a higher level of semiotic analysis, are equivalent at this level” (Prodi, 1988, p. 207).

The semiotic nature of genetic information creates an image of a (quasi-)anthropomorphic subject capable of generating and interpreting genetic texts, such as a genome or a gene. In Peirce's terms, there is a transition from something that can “catch on” to someone upon whom meaning can ultimately be conferred. These processes assume the ability to recognize an invariant “meaning” that takes on different forms depending on context. For example, during genetic transcription and translation, a single entity (such as the amino acid *methionine*) is encoded differently depending on its location within a particular DNA or RNA strand: “ATG (in the context of a non-transcribed DNA strand) = > TAC (in the context of a transcribed DNA strand), = > AUG (in the context of mRNA) = > UAC (in the context of tRNA) = > Methionine”<sup>8</sup>.

This chain of biochemical transformations can be rethought according to Peirce's general scheme of semiosis: “*The interpretant of a sign becomes in turn a sign, and so on ad infinitum*”. But in this case, one may notice some significant clarifications: firstly, the process is completed when there is a transition to a certain new level (in this case, it is a transition from nucleotides to amino acids), and secondly, it presupposes the differentiation of contexts and splitting of the sign into an expressive sign (quasi-utterer) and an interpre-

---

<sup>8</sup> Abbreviations: G – Guanine; cytosine – C; Adenine – A; U - Uracil, T – Thymine.



tive sign (quasi-interpreter). The DNA and RNA strands with such an extrapolative function act as a field for creation of quasi-interlocutors: the sign-utterer *ATG* is transformed into the interpreter sign *TAC*. In its turn, the *TAC* acts as an utterer in relation to the next sign-interpreter *AUG*. At the next stage (the new strand), this sign *AUG* acts as an utterer for the final sign interpreter *UAC*, which is immediately connected (in its literal sense, through the loop of RNA) with the signified of all these signs, namely *Methionine*. In Peirce's terms, such a (re-)interpretation can be described as a 'dialogue' between sign-quasi-utterers and sign-quasi-interpreters, who, at any new stage, alternate roles and simultaneously function as the interpretant of the preceding member of the chain.

The genome and genes appear in the form of a text, and, naturally, the question arises about its "author" and "readers". In this role, either an inanimate something (nature, organism, evolution) or God appears. Interestingly, Collins, the head of the genome sequencing program, used both options for the titles of his popular books: one is called *The language of God* (Collins 2006), the other *The language of life* (Collins 2009). Other metaphorical subjects also appear, which affect the terminology of molecular genetics<sup>9</sup>. The genome is often likened to a book without an author; however, it has an editor, as editing is one of the fundamental processes. Additionally, there is a proofreader responsible for the genome's evolution. This concept was put forth by François Jacob, the discoverer of messenger RNA:

"The genetic message, the program of the present-day organism, therefore, resembles a text without an author, that a proof-reader has been correcting for more than two billion years, continually improving, refining and completing it, gradually eliminating all imperfections. What is copied and transmitted today to ensure the stability of the species is this text, is ceaselessly modified by time" (Jacob 1973, p. 287).

The operations as they described by biologists closely resemble proofreading, and making it difficult to find more suitable terms, as Maynard Smith notes:

"In "proofreading," the sequence of the four bases in a newly synthesized DNA strand is compared with the corresponding sequence of the old strand, which acted as a template for its synthesis. If there is a "mismatch" (that is, if the base in the new strand is not complementary to that in the old strand according to the pairing rules, A-T and G-C), then it is removed and replaced by the correct base. The similarity of this process to that in which the letters in a copy are compared – in principle, one by one – with those in the original, and corrected if they differ, is obvious. It is also relevant that in describing molecular proofreading, I found it hard to avoid using the words "rule" and "correct"" (Smith 2000, p. 178).

---

<sup>9</sup> Cf.: "The colloquial use of informational terms is all-pervasive in molecular biology. Transcription, translation, code, redundancy, synonymy, messenger, editing, proofreading, library – these are all technical terms in biology ... In fact, the similarities between their meanings when referring to human communication and genetics are surprisingly close" (Smith 2000, p. 178).



Considering the genome and genes as texts raises questions about their readers and interpreters. Kalevi Küll (1998) proposed the concept of the organism as a text that reads and translates itself. This idea can be further developed and explored. A new agent has emerged: the reader with hermeneutic abilities. Just as a text creates itself, it also generates its own reader and interpreter, who is capable of assigning new meanings to the text. Anton Markos, in his monograph *Readers of the Book of Life*, questions this belief: “the genome is often viewed as *sui ipsius interpres* (or self-interpreting text). According to this view, the ‘interpretation’ of a genetic script would mean simply decoding according to a known key” (Markoš 2002, p. 34). The opposite of mechanical decoding is hermeneutical reading, “which is not merely a matter of deciphering meaning – as such a method would simply reveal what is already pre-existing – but rather, it is the very act of acquiring knowledge [...] and creating meaning, as both knowledge and meaning will arise in the very process [of the reading]” (Ibid., p. 35).

As we can see, Peirce’s characters—in his terms, the quasi-speaker and quasi-interpreter (*those upon whom the meaning can ultimately be expended*) — can take on different manifestations in modern descriptions in molecular biology. In this discussion, we are referring to the personification of certain semiotic functions of signs and texts, rather than to beings possessing minds and brains. However, there is another pragmatic aspect that Peirce could not have anticipated, and it serves as an additional argument in support of his conception. This aspect involves the regulatory mechanisms of genetic coding. Each cell contains the same genome, and at the same time performs its own specific functions. A specialized system of commands is necessary to activate or suppress particular genes that are responsible for specific processes associated with each type of cell. Essentially, its functioning is governed by specific gene programs. These regulatory codes can be likened to performatives. In addition to the author and the reader of genetic information, there must also be an entity that issues commands about when and what should be “written” and “read”. François Jacob compared this situation to a jukebox:

“The only instruction that can be received from the environment through regulatory proteins is a ‘go’ or ‘stop’ signal. Reading the genetic message, therefore, is like getting music from a juke-box in a cafe. By pressing one of the buttons, one can choose the desired record from those in the machine. But in no case can one modify the recorded music or its execution. Likewise, a segment of the genetic text contained in the bacterial chromosome may or may not be transcribed, depending on the chemical signals received from the environment; but the signals cannot modify its sequence, and therefore, its function” (Jacob 1973, p. 293).

Recent discoveries have significantly expanded the repertoire of regulatory functions in genetics. A gene is composed of various entities that control its behavior and activity. This regulation determines which genes should be active, at what times, in which embryonic cells, how intensively they function, and for how long. There are specific mechanisms (or “languages”)



that involve agents, such as receptors and neurotransmitters that mediate immune and nervous regulation. Additionally, remote biochemical regulators like growth factors and hormones play a role, along with interactions between genes themselves, leading to gene regulatory networks (cf. Spirov 2024). Beyond the standard genetic code that correlates nucleotides with amino acids, 237 additional codes have been identified (a complete list can be found on the website: <http://www.codebiology.org/database.pdf>), most of which are associated with regulatory functions. This type of communicative interaction can correspond to the theory of speech acts and performatives. Semiotic operations are carried out by various components of the system, where some complex signs (or texts) function as illocutionary or perlocutionary agents. This includes entities that receive signals, those that issue commands, and those that execute them, thereby actualizing the information encoded in DNA. Semiosis is no longer confined to the boundaries of the sign itself—it interacts with context. This results in quasi-pragmatics evolving into full-fledged pragmatics.

### 5. Instead of a conclusion – what might come next?

Discoveries in molecular genetics do not simply validate Peirce's intuitive insights. The identification of various regulatory codes requires further investigation to differentiate between those that are semiotic in nature and those that represent biochemical or stereochemical phenomena. However, there is already compelling evidence supporting the need to expand the concept of the sign to include both Peirce's understanding and the Saussurean structuralist perspective. Peirce's semiotic conception starts and ends with a sign as a self-sufficient—albeit dynamic—yet enclosed and self-contained entity; it doesn't take into consideration the role of text, system, or context (external environment). Certainly, semiotic operations are limited to internal operations within a system. In order to control external processes, external entities must first be transformed into internal ones; only then can Peirce's semiotic concept be meaningfully applied.

Considering both theoretical and potential applied dimensions of biosemiotics and code biology, we suggest reformulating the scope of pragmatics—not as a relationship between a sign system and a subject but as a distinct hypostasis of a sign system itself. As can be seen, semiotic operators (or agents) emerge already at the basic stage of genetic coding. Therefore, instead of Morris's definition of pragmatics as a relationship between a sign system and an organism or subject, we can suggest a more general one – a relationship between a sign object system and a meta-system regulating its actualization.

The meta-system functions as a type of semiotic "I" that controls the generation (as a quasi-utterer) and interpretation (as a quasi-interpreter) processes. This meta-system can either be embedded within the text—much like how the genome contains not only genetic information but also instructions that regulate the gene expression—or personified in an external object (for instance, the semiotic "I-speaker" may be represented in an actual speaker and vice versa).



Pragmatics, as defined by Morris, corresponds to the latter case and thus represents a specific instance. A cognizant subject appears at the medial level, while at the micro level (molecule) and macro level (language, culture, semiosphere) this concept is no longer applicable. Instead, quasi-minds or super-minds emerge (the latter could be referred to as nation, society, humanity, transcendental subject, etc.)<sup>10</sup>

In addition to proper sign processes, challenges arise in managing signs themselves—issues that are already well recognized in pragmatics (performatives, the theory of speech acts). However, in molecular genetics, the ‘speakers’ are not individuals with specific functions—they are texts and regulatory codes that act as communication agents. In each cell, the selection of genes depends on its specialization. Most genes are destined to remain “silent,” while some are activated and expressed. Sequences of identical nucleotides, though regulated differently, function as operators that provide and execute commands, creating the necessary conditions for protein synthesis. The genomic DNA also contains instructions for its own activation in preparation for its new incarnation in protein forms.

This situation highlights the sign system’s role as both a subject and an object, reviving Peirce’s concept of the sign as a quasi-mind. An examination of the main regulatory mechanisms reveals that regulatory codes a) establish specific conditions for coding, b) govern coding processes, and c) consist of the same elements as the coding sequences but are interpreted differently: their interpretants are not amino acids or proteins, but rather operations of activation or repression. Understanding the communication and information processes at the biomolecular level allows us to better grasp pragmatics as semiotic operations. These operations are connected to the self-regulation within the system and its interactions with the context (internal and external environment).

By exploring communication and information processes at the biomolecular level, one can redefine pragmatics not as an interaction involving an agent external to the system, but as a domain of semiotic operations intrinsically connected to intra-systemic self-regulation and systemic interaction with the external environment. The unfolding of intra-systemic information also creates contexts and interfaces for interaction, challenging and potentially transforming our understanding of semiosis. The systematic extension of Peirce’s sign conception can be aligned with the theories of codepoiesis (Barbieri 2012) or semiopoiesis (Zolyan 2022a; 2022b). From this perspective, semiosis can be viewed as a semiotic manifestation of autopoietic processes. The emergence of life involves complex processes that control the flow of in-

---

<sup>10</sup> According to Yuri Lotman, complexly organized semiotic objects (i.e., text, culture, semiosphere) acquire the characteristics of both an organism and an intellectual device and are capable of autonomous activity: “The individual human intellect does not have a monopoly in the work of thinking. Semiotic systems, both separately and together as the integrated unity of the semiosphere, both synchronically and in all the depths of historical memory, carry out intellectual operations, preserve, rework, and increase the store of information” (Lotman 1990, p. 273).



formation, ultimately leading to the development of the primordial sign relationships expressed through genetic coding. The functioning of both the semiosphere and the biosphere relies on certain semiotic relationships, which arise and act as mutually binding and determining factors. The Peircean concept of semiotic quasi-minds may clarify the characteristics of semiosis as an intrinsic dynamic process of self-organization and self-development. However, it is important to recognize that a sign acquires its abilities and capacities not independently, but as part of a system. This occurs through its interactions – both syntagmatic and paradigmatic – with other signs. Charles Peirce did not sufficiently consider this aspect. Therefore, it would be misleading to position Peirce's semiotics in direct opposition with Saussure's systemic approach. It is through such relations and interactions that the rules that determine the operational characteristics of an individual sign are formed. By incorporating systemic elements into the analysis, it will be possible to expand the theory to the point where semiotic systems – like monads or selves – can also be viewed as quasi-minds.

*This research is supported by the grant of the Russian Science Foundation (project № 22-18-00383 "Methodological design of extended evolutionary synthesis") carried out at the Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (Moscow) – [https://rscf.ru/prjcard\\_int?22-18-0038](https://rscf.ru/prjcard_int?22-18-0038).*

## References

- Aames, J., 2018. The double function of the interpretant in Peirce's theory of signs. *Semiotica*, 225, pp. 39–55, <https://doi.org/10.1515/sem-2017-0005>.
- Atkin, A., 2008. Peirce's final account of signs and the philosophy of language. In: *Transactions of the Charles S. Peirce society*, 44 (1), 63–85.
- Atkin, A., 2023. "Peirce's Theory of Signs". In: E.N. Zalta and U. Nodelman, eds. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition). Available: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/peirce-semiotics/> [Accessed 01.04.2025].
- Barbieri, M., 2008. The code model of semiosis: the first steps toward a scientific biosemiotics. *The American Journal of Semiotics*, 24 (1/3), pp. 23–37, <https://doi.org/10.5840/ajs2008241/33>.
- Barbieri, M., 2012. Codepoiesis – the deep logic of life. *Biosemiotics*, 5, pp. 297–299, <https://doi.org/10.1007/s12304-012-9162-4>.
- Barbieri, M., 2019. Code biology, Peircean biosemiotics, and Rosen's relational biology. *Biological Theory*, 14, pp. 21–29, <https://doi.org/10.1007/s13752-018-0312-z>.
- Benveniste, E., 1981. The semiology of language. *Semiotica*, pp. 5–23.
- Carter, Ch.W., Jr. and Wills, P.R., 2021. Reciprocally-coupled gating: strange loops in Bioenergetics, Genetics, and Catalysis. *Biomolecules*, 11 (2), p. 265, <https://doi.org/10.3390/biom11020265>.
- Collins, F.S., 2006. *The language of God*. New York.
- Collins, F.S., 2009. *The language of life: DNA and the revolution in personalized medicine*. New York.
- Crick, F.H.C., 1981. *Life itself: its origin and nature*. London.
- Deacon, T.W., 2021. How molecules became signs. *Biosemiotics*, 14, pp. 537–559, <https://doi.org/10.1007/s12304-021-09453-9>.
- Eco, U., 1983. *Semiotics and the philosophy of language*. Bloomington, IN.



- Eco, U., 1990. *Drift and unlimited semiosis*. Bloomington, IN.
- Gamow, G., 1954. Possible relation between deoxyribonucleic acid and protein structures. *Nature*, 173, p. 318.
- Gorlee, D.L., 1994. *Semiotics and the problem of translation. With special reference to the semiotics of Charles S. Peirce*. Amsterdam.
- Haase, F., 2022. Speaking one's mind: the sign as subject of interpretation in the manuscripts of Charles S. Peirce, between the theories of rhetoric and communication. *Semiotica*, 245, pp. 79–98, <https://doi.org/10.1515/sem-2020-0086>.
- Habermas, J., 1995. Peirce and communication. In: K.L. Ketner, ed. *Peirce and contemporary thought: Philosophical inquiries*. Fordham, pp. 243–266.
- Hardwick, Ch.S., ed., 1977. *Semiotic and significs: The correspondence between Charles S. Peirce and Victoria Lady Welby*. Bloomington.
- Hilpinen, R., 2019. On the immediate and dynamical interpretants and objects of signs. *Semiotica*, 228, pp. 91–101, <https://doi.org/10.1515/sem-2018-0094>.
- Jacob, F., 1973. *The logic of life: a history of heredity*. Translated by B.E. Spillmann. New York.
- Jappy, T., 2016. The two-way interpretation process in Peirce's late semiotics: A Priori and a Posteriori. *Language and Semiotic Studies*, 2 (4), pp. 14–30.
- Jappy, T., 2019. From phenomenology to ontology in Peirce's typologies. *Semiotica*, 228, pp. 135–151, <https://doi.org/10.1515/sem-2018-0080>.
- Kull, K., 1998. Organism as a self-reading text: anticipation and semiosis. *International Journal of Computing Anticipatory Systems*, 1, pp. 93–104.
- Küppers, B.O., 2023. *The language of living matter. How molecules acquire meaning*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80319-3>.
- Lotman, Y., 1990. *Universe of the Mind: A semiotic theory of culture*. Tauris; London; New York.
- Markoš, A., 2002. *Readers of the Book of Life: contextualizing developmental evolutionary biology*. Oxford.
- Marty, R., n. d. 76 *Definitions of the sign by C.S. Peirce collected and analyzed by Marty*. Available at: <http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/76defeng.htm> [Accessed 01.04.2025]
- Morris, Ch.W., 1938. Foundations of the theory of signs. In: O. Neurath et al., eds. *International encyclopedia of unified science*. 1 (2). Chicago, pp. 1–59.
- Nesher, D., 1983. Pragmatic theory of meaning: A note on Peirce's "last" formulation of the pragmatic maxim and its Interpretation. *Semiotica*, 44 (3-4), pp. 203–258, <https://doi.org/10.1515/semi.1983.44.3-4.203>.
- Nesher, D., 1990. Understanding sign semiosis as cognition and as self-conscious process: A reconstruction of some basic conceptions in Peirce's semiotics. *Semiotica*, 79 (1-2), pp. 1–50, <https://doi.org/10.1515/semi.1990.79.1-2.1>.
- Nesher, D., 2018. "What makes a reasoning sound" is the proof of its truth: A reconstruction of Peirce's semiotics as epistemic logic, and why he did not complete his realistic revolution. *Semiotica*, 221, pp. 29–52, <https://doi.org/10.1515/sem-2016-0086>.
- Olteanu, A. and Ongstad, S., 2024. *Utterance-genre-lifeworld and Sign-habit-Umwelt Compared as Phenomenologies. Integrating Socio- and Biosemiotic Concepts? Biosemiotics*, 17, pp. 523–546, <https://doi.org/10.1007/s12304-024-09561-2>.
- Pape, H., 2015. C.S. Peirce on the dynamic object of a sign: From ontology to semiotics and back. *Sign Systems Studies*, 43 (4), pp. 419–437, <http://dx.doi.org/10.12697/SSS.2015.43.4.03>.
- Pattee, H.H., 2012. How does a molecule become a message? In: *Laws, Language and Life. Biosemiotics*, 7. Dordrecht, pp. 55–67, [https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3\\_3](https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_3).



Peirce, Ch.S., 1906. Prolegomena to an apology for pragmatism. *The Monist*, 16, pp. 492 – 546.

Peirce, Ch.S., 1907. *Manuscripts 317 – 318. Pragmatism – Notes and Drafts*. Available at: <https://fromthepage.com/jeffdown1/c-s-peirce-manuscripts/ms-317-318-1907-pragmatism-notes-and-drafts> [Accessed 01.04.2025]

Peirce, Ch.S., 1976. Parts of Carnegie Application (L 75). In: C. Eisele, ed. *The new elements of mathematics by Charles S. Peirce*. Vol. 4. Berlin; New York, pp. 13 – 73.

Prodi, G., 1988. Material Bases of Signification. *Semiotica*, 69 (3 – 4), pp. 191 – 242, <https://doi.org/10.1515/semi.1988.69.3-4.191>.

Prodi, G., 2021. The material bases of meaning. In: *Tartu Semiotics Library*, 22. Tartu.

Raible, W., 2001. Linguistics and genetics: systematic parallels. In: M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher and W. Raible, eds. *Language typology and language universals. An international handbook*. Berlin, pp. 103 – 123.

Rutner, V., 2000. The Chronicle of the great discovery: ideas and persons. *Priroda*, 6, pp. 22 – 30 (in Russ.).

Schmidt, J.A., 2022. Peirce's evolving interpretants. *Semiotica*, 246, pp. 211 – 223, <https://doi.org/10.1515/sem-2020-0115>.

Schrödinger, E., 1944. What is life? The physical aspect of the living cell. Available at: [http://whatislife.stanford.edu/LoCo\\_files/What-is-Life.pdf](http://whatislife.stanford.edu/LoCo_files/What-is-Life.pdf) [Accessed 10 June 2024].

Smith, M.J., 2000. The concept of information in Biology. *Philosophy of Science*, 67 (2), pp. 177 – 194.

Sørensen, B., Thellefsen, T., Thellefsen, M. and Dewi, N.A., 2019. Charles S. Peirce's sign typology of 1903 and the semeiotic of universe, man, and culture. *Semiotica*, 228, pp. 287 – 300, <https://doi.org/10.1515/sem-2018-0121>.

Spirov, A.V., 2024. Languages of deployment of hereditary information in embryogenesis: linguo-semiotic analogues and analogies. *Slovo.ru: Baltic accent*, 15 (4), pp. 25 – 40, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2024-4-2> (in Russ.).

Švantner, M., 2014. Struggle of a description: Peirce and his late semiotics. *Human Affairs*, 24 (2), pp. 204 – 214, <https://doi.org/10.2478/s13374-014-0220-2>.

Zolyan, S. and Zhdanov, R., 2018. Genome as (hyper)text: From metaphor to theory. *Semiotica*, (225), pp. 1 – 18, <https://doi.org/10.1515/sem-2016-0214>.

Zolyan, S., 2021. On metaphors of text-reading and text-writing in molecular biology. Cognitive patterns and heuristic value. *Quaderni del CIRM – Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Metafore*, 1 (1), pp. 65 – 100.

Zolyan, S., 2022a. From matter to form: the evolution of the genetic code as semio-poiesis. *Semiotica*, 245, pp. 17 – 61, <https://doi.org/10.1515/sem-2020-0088>.

Zolyan, S., 2022b. Semio-poiesis: on the emergence of the semiosphere within the biosphere. *Lexia. Rivista di semiotica*, 39 – 40, pp. 101 – 120, <https://doi.org/10.53136/97912218042636>.

Zolyan, S.T., 2023a. Pragmatics as a self-generation of a subject-on-its own. *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy], 7, pp. 93 – 103, <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2023-7-93-103> (in Russ.).

Zolyan, S.T., 2023b. Pragmatics without a subject – but as a “speaking person”. In: *METHOD: Moscow Yearbook of Social Studies*, 3 (3). Moscow, pp. 77 – 94, <https://doi.org/10.31249/metod/2023.03.07> (in Russ.).

Zolyan, S.T., 2024. Should there be biomolecular pragmatics? *Slovo.ru: Baltic accent*, 15 (4), pp. 41 – 54, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2024-4-3> (in Russ.).



## The author

*Dr. Suren T. Zolyan*, Professor, Institute of Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Russia; Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-4422-5792

E-mail: surenzolyan@gmail.com

### To cite this article:

Zolyan, S. T., 2025, Pragmatics beyond cognition: A perspective of Charles Peirce's unfinished conception for (bio-)semiotics, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 98 – 116. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-7.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## ПРАГМАТИКА ВНЕ СОЗНАНИЯ: НЕЗАВЕРШЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ Ч. ПИРСА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К (БИО-)СЕМИОТИКЕ

С. Т. Золян<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Институт научной информации по общественным наукам РАН,

Россия, 117997, Москва, Нахимовский просп., 51/21

<sup>2</sup> Балтийский федеральный университет им. И. Канта,

Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 28.06.2025 г.

Принята к публикации 15.07.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-7

*Интенсивное развитие искусственного интеллекта и понимание биомолекулярных процессов передачи генетической информации выявили необходимость рассмотрения семиотической деятельности, не предполагающей наличия человеческого сознания или разума. В этой связи особый интерес представляет позднейшая концепция семиозиса Чарльза Пирса. В ней семиозис рассматривается как такая интерпретация, которая не требует внешнего по отношению к системе интерпретатора. Знак понимается как квази-разум, а семиотические процессы осуществляются посредством знаков, а точнее, слитыми в них квази-разумами: квази-говорящим и квази-интерпретатором. Тем самым семиозис определяется как устойчивое персонализированное взаимодействие структурных конститuent знака (квази-разумов). Последние открытия в области молекулярной генетики и их применение в биосемиотике проливают свет на уникальный аспект интерпретации: она может происходить без внешнего интерпретатора благодаря феномену самоорганизации. Изучая коммуникационные и информационные процессы на биомолекулярном уровне, мы можем переопределить прагматику как операции, неразрывно связанные с саморегуляцией внутри системы и взаимодействием с окружающей средой.*

**Ключевые слова:** некогнитивистские семиотические агенты, Чарльз Пирс, прагматика, знак, интерпретатор, интерпретатор, знак как квази-разум, семиопозис



Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ, проект «Междисциплинарные методологические основания расширенного эволюционного синтеза в науках о жизни и обществе» №22-18-00383, в ИНИОН РАН, [https://rscf.ru/prjcard\\_int?22-18-0038](https://rscf.ru/prjcard_int?22-18-0038).

### Об авторе

Сурен Тигранович Золян, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия; исследователь ИНИОН РАН, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-4422-5792

E-mail: surenzolyan@gmail.com

### Для цитирования:

Zolyan S. T. Pragmatics beyond cognition: A perspective of Charles Peirce's unfinished conception for (bio-)Semiotics // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 98 – 116. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-7.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ  
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVCOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## ИДЕОЛОГИЯ В СУМКАХ ПОЧТАЛЬОНОВ: К ПРАГМАТИКЕ ПОЧТОВОЙ МАРКИ

*Т. В. Цвигун, А. Н. Черняков*

Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  
Россия, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 30.04.2025 г.

Принята к публикации 13.05.2025 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-8

*Представлены результаты исследования семиотического потенциала почтовой марки как инструмента социальной коммуникации. Несмотря на то что почтовая марка изначально является утилитарным средством оплаты, она способна реализовать множество функций, а ее прагматика непосредственно связана с репрезентацией и транслированием культурных и идеологических смыслов, что превращает марку в важное средство формирования культурной идентичности. Коллекционные практики делают марки семиотическими артефактами, лишаящимися утилитарного значения и приобретающими новые культурные коннотации. Предложенный в статье анализ серий почтовых марок, посвященных юбилеям А. С. Пушкина, иллюстрирует изменения в культурной символической с 1937 по 2024 год. Специфика юбилейных марок показывает, как меняется не только подход к изображению самого Пушкина, но и символический контекст, в который они включаются: от наделяния Пушкина чертами идеального образца поэзии до формирования детализированных личных репрезентаций. Динамика «филателистического сюжета», выстраивающегося вокруг юбилеев А. С. Пушкина, показывает, что, будучи «сильным знаком», погруженным в структуру повседневных практик средством массового воздействия, почтовая марка является мощным социально-семиотическим ресурсом, оказывающим прямое влияние на формирование, транслирование и репрезентацию культурных смыслов и ценностей. Исследование демонстрирует, что в современном обществе марки становятся не только атрибутами почтовой корреспонденции, но и элементами культурного нарратива, активно используемыми для формирования и передачи идеологических и эстетических посланий.*

**Ключевые слова:** почтовая марка, социальная семиотика, прагматика, литературные юбилеи, А. С. Пушкин

В ряду инструментов социальной коммуникации почтовая марка занимает особое положение. Ее прагматика на первый взгляд кажется очевидной до трюизма: марка — кодифицированное средство оплаты почтовой корреспонденции, имеющее в государстве хождение наравне с денежными средствами, а в определенные исторические эпохи даже принимающее на себя их функцию (таковы, например, «марки-деньги», выполнявшие роль разменной монеты в периоды дефицита денежных знаков в США в период Гражданской войны 1861 — 1865 годов и в Российской империи второй половины 1910-х годов); выпуск почтовых марок является абсолютной прерогативой государства так же, как и



производство национальной валюты, а их подделка преследуется по закону на тех же основаниях, что и подделка купюр и монет. Столь же прозрачным представляется и коммуникативный статус марки: во-первых, она фактически является метонимией почтовой коммуникации, во-вторых, если вспомнить знаменитое выражение Г. Димитрова, почтовая марка — это «визитная карточка страны перед внешним миром» (цит. по: Бродский 1968, с. 14), средство самоидентификации и саморепрезентации государства. Вместе с тем даже само знакомство с объемами тиражей почтовых марок, выпускаемых в любой стране, с их визуальным и тематическим разнообразием, а также наблюдение за реальными бытовыми практиками использования марок как субститута денежных средств (за самым редким исключением оплата почтовых отправок осуществляется марками так называемого «стандарта» — наиболее массовыми по тиражу и лаконичными по визуальному решению) рождает ощущение явной непропорциональности между относительно скромным полем «ближайших» утилитарно-прагматических функций марки и тем вниманием, которое почтовым маркам уделяет государство. Если исходить из того, что значимость почтовых марок определяется их финансовым эквивалентом, почему тогда их разнообразие (в том числе марок одинакового номинала) абсолютно несоразмерно количеству вариаций монет или купюр — этот простой вопрос вынуждает задуматься: действительно ли столь проста и очевидна прагматика почтовой марки?

Значительные коррективы в решение этого вопроса вносит тот факт, что почтовая марка относится к числу наиболее традиционных объектов коллекционирования. Как показывает К. Богданов, социальная практика коллекционирования марок, начало которой почти синхронно их появлению в Великобритании, изначально обладала особой семиотической нагруженностью: «изображение на марке добавляло... дополнительные коннотации, а неодинаковая повторяемость самих марок — от массово тиражируемых до редких — наделяла их аурой типографических раритетов», в результате чего «в качестве объекта собирательского интереса марка рано лишилась утилитарного значения» (Богданов 2020, р. 20). Проследивая на примере истории филателии в СССР механизмы влияния государства на практики коллекционирования марок, исследователь приходит к важному наблюдению: «Марка в коллекции лишена практического предназначения: она не знак оплаты почтовой корреспонденции, но предметный символ семиотической референции и воображаемой реальности. Другое дело, о какой референции и какой реальности может идти речь с учетом обстоятельств, которые так или иначе навязывают любому члену коллектива определенный социальный реализм, то есть такой характер ценностной ориентации, которая обязывает считаться с уже имеющейся системой (обще)принятой аксиологии?» (Там же, р. 26; курсив наш. — Т. Ц., А. Ч.).

Несмотря на существование в мире богатейшей литературы, посвященной филателии, признать почтовую марку полноценным объектом научного (в частности, семиотического или культурно-антропологического) исследования до сих пор затруднительно. Между тем по-



пытки включить марку в широкие социокультурные контексты, не ограничивающиеся сферой ее утилитарного (как средства оплаты почтовой корреспонденции) применения, предпринимались неоднократно. Так, еще в 1953 году вышла небольшая монография К. Штётцера, концептуализирующая марку как инструмент государственной пропаганды. Автор отмечает: «Марка сама по себе является идеальной пропагандой. Она переходит из рук в руки от города к городу; она достигает самых отдаленных уголков и провинций страны и даже самых отдаленных уголков мира. Это символ страны, из которой отправляется марка, яркое выражение культуры и цивилизации этой страны, а также ее идей и идеалов» (Stoetzer 1953, p. 1; перевод здесь и далее наш. — Т. Ц., А. Ч.). Взгляд на марку как на средство формирования и транслирования государственной идеологической повестки развивает в своих исследованиях Дж. Грейсон, подчеркивающий: «Дизайн и изображения, появляющиеся на почтовых марках, используются правительствами для распространения как среди внутренней, так и в международной аудитории идей и концепций о государственной политике и взглядах правительства на национальную историю, национальные идеалы, цели, культуру и социальные вопросы» (Grayson 2024, p. 1).

Близким подходом отмечены статьи спецвыпуска “The Politics of East Asian Postage Stamps” журнала “East Asia: An International Quarterly” (2005, vol. 22, №2), вышедшего по итогам симпозиума «Восточноазиатские почтовые марки как социально-политические артефакты», которой был организован Школой восточноазиатских исследований Шеффилдского университета в 2004 году (см.: Grayson, 2019), а также материалы сборника “Stamps, Nationalism and Political Transition”, авторы которого (Дж. Грейсон, С. Д. Брунн, Т. Диц, К. Уайт, А. Свентек и др.) рассматривают, как государства, находящиеся в состоянии политического перехода, используют марки для продвижения «нового визуального национализма» (Brunn 2022). Исследованию семиотики марки в ракурсе семиотической трихомии Пирса посвящена книга Д. Скотта (Scott 1995), который в своих статьях интерпретирует дизайн почтовой марки как средство иконической репрезентации государства (Scott 1992), а также как поле напряжения между индексальностью и иконичностью (Scott 1997). Наконец, следует упомянуть работы Дж. Чайлда (Child 2005; 2008), в которых почтовые марки трактуются как «наименьшие иконы популярной культуры». В целом вышеуказанные подходы можно резюмировать словами С. Д. Брунна: «Почтовые марки являются прежде всего государственными продуктами, подобно производству игрушек, автомобилей, компьютерных деталей, одежды или продуктов питания. Они считаются элементами иконографии государства или видимыми образами, во многом такими же, как флаги, изображения, памятники и исторические достопримечательности» (Brunn 2017, p. 138).

Отечественная традиция исследования почтовой марки при исключительном разнообразии анализируемого материала и тематических ракурсов в целом строится вокруг иного подхода — рассмотрения марки как дополнительного источника информации при изучении различных социальных сфер и процессов. При таком подходе марка может



использоваться как информационный ресурс при изучении таких разнородных явлений, как, например, история агрономии (Цаценко, Магомедтагиров 2017), борьба с ВИЧ/СПИДом (Бугаевский 2018), брендинг волонтерского движения в России (Нагорная, Шевцова 2018) или Олимпийских игр (Нагорная, Шевцова 2017), экономика государства (Сёмин 2021), коммеморативные практики (Метелкин, Сохор 2018, 2022; Сюй Цзюньцзюнь 2025), репрезентации исторических событий (Орехова 2015), национальных культур (Шевлякова 2020), форм межгосударственной и межкультурной коммуникации (Дюкин, Самойлова 2016; Бондарева, Мальцев 2020) и т.д. Подобный политематизм отечественных исследований функциональной прагматики почтовой марки наглядно демонстрирует широкие возможности помещения марки в разные социальные контексты.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о функциях почтовой марки. Одну из наиболее развернутых и детализированных классификаций функций марки предложил в 1966 году в статье «Почтовая марка как предмет изобразительного искусства» Э. Вальдман. Согласно его классификации, почтовая марка с функциональной точки зрения выступает как: 1) знак почтовой оплаты — «отсюда ее первичная денежная, финансовая функция»; 2) предмет, вещь, обладающая «фактурой, материалом, поверхностью... органическим единством и конструктивной цельностью текста, номинала, “картинки”, орнамента, единством графической техники и полиграфической технологии»; 3) государственный знак, «символ данной страны, национальности, ее политического строя»; 4) «произведение графического и полиграфического искусства», репрезентант определенного технологического решения; 5) носитель «изобразительной, зрительно-информационной функции», предопределяющей художественное содержание филателии; 6) носитель «юбилейной», то есть мемориальной, функции («именно календарь памятных дат на будущий год — основной источник для составления тематического плана и для творческого вдохновения художника-марочника»); 7) произведение утилитарно- и декоративно-прикладного искусства, предмет функциональной эстетики; 8) атрибут почтовой коммуникации («ее “первая” функция — сопровождать письмо, бандероль, посылку в их почтовых странствиях, свидетельствовать, что этот путь оплачен»); 9) объект коллекционирования («функция коллекционная, филателистическая»); 10) «произведение графического изобразительного искусства со своим специфическим языком, неповторимым голосом, образностью, идейностью, тематикой, сюжетом» (собственно художественная функция) (Вальдман 1966, с. 16–17, 29).

В подобной детализации, однако, нельзя не заметить некоторую избыточность: ряд функций марки, о которых пишет Вальдман, либо уточняют, либо вовсе дублируют друг друга. Если же взглянуть на функциональную природу марки в типологическом аспекте, то очевидно, что основу ее прагматики составит напряжение между утилитарно-коммерческой (марка как знак почтовой оплаты) и символической (марка как культурно-эстетический объект) функциями, которые в данном случае выступают как наиболее существенные и одновремен-



но наиболее противопоставленные друг другу. Функциональный ореол марки так или иначе формируется на пересечении двух пар осей — «материальное / нематериальное» и «прагматика / эстетика», что можно выразить с помощью схемы (рис. 1).



Рис. 1

С точки зрения предложенной схемы наибольший интерес для нас представляет марка как воплощение «нематериальной прагматики», то есть как инструмент создания и репрезентации символических культурных смыслов — очевидно, все многообразие ее прагматических (как в утилитарном, так и в семиотическом значении этого слова) возможностей рождается именно здесь. Этим же определяется и семиотическая глубина почтовой марки: ограниченная малым размером своего материального означающего, марка формирует такой знак, который отсылает к максимально насыщенным символическими коннотациями означаемым, что, в свою очередь, требует предельного внимания к выбору используемых визуальных и вербальных кодов. Будучи своего рода «плакатом в миниатюре», марка предоставляет своему символическому владельцу — государству — широчайшие возможности воздействовать на владельца утилитарного — пользователя марки как средства почтовой оплаты или коллекционера, в том числе возможности формировать символическое поле, а также определять идеологически значимые смыслы и ценности, которыми оно наполняется.



Одним из наиболее показательных примеров подобного массового воздействия посредством почтовой марки является, очевидно, использование марок в практиках коммеморации — формирования мобилизованной коллективной памяти о значимых событиях или персоналиях. В отдельных случаях коммеморация посредством марок выстраивает некое подобие растягивающихся на десятилетия сюжетов со своей внутренней логикой и эволюцией символического языка. Мы рассмотрим один из таких сюжетов, занимающий в отечественном символическом поле особое место: на настоящий момент он уже насчитывает без малого 90 лет и, очевидно, в ближайшие годы претерпит очередные итерации. Речь идет о репрезентации средствами почтовой марки юбилеев А. С. Пушкина.

Образ А. С. Пушкина отмечен высокой степенью популярности не только в отечественной, но и в мировой филателии. По наблюдениям исследователей, в зарубежной филателистической России Пушкин занимает третье место после К. Э. Циолковского и П. И. Чайковского: ему посвящены 30 марок 14 стран (Квасников 2005). Весьма обширна и разнообразна прижизненная портретография Пушкина, представленная на советских, российских и зарубежных марках: наряду с хрестоматийными портретами работы В. А. Тропинина (9 марок) и О. А. Кипренского (11 марок) она включает произведения С. Г. Чирикова, Е. И. Гейтмана, И.-Е. Вивьена, Т. Райта, П. Ф. Соколова и др., а также ряд автопортретов и автоиллюстраций самого Пушкина (Вахитов 2012). Популярность образа Пушкина в советской и российской филателии дополнительно поддерживается тем, что за пределами собственно коммеморативной линии пушкинская тема использовалась на марках, посвященных 150-летию со дня рождения М. И. Глинки (1954), 10-летию Договора о дружбе между СССР и ПНР (1955), в тематических сериях «Писатели нашей Родины» (1956), «Скульптурные памятники СССР» (1959), «Русские народные сказки в литературных произведениях» (1961), «Русские народные сказки в произведениях И. Билибина» (1969), «Советская живопись» (1975), на марке «Год литературы в России» (2015) — фактически Пушкин включается в самые разные событийные нарративы, в том числе связанные с ним косвенно («Пушкин и Жуковский в гостях у Глинки», «Пушкин и Мицкевич») или метонимически (памятники Пушкину в Ленинграде и Киеве, иллюстрации к пушкинским произведениям). Однако наибольший интерес представляют марки, выпуск которых был приурочен к очередным годовщинам со дня рождения или смерти поэта: эволюция коммеморативной пушкинианы дает возможность проследить, какие «пушкинские» смыслы формировались и транслировались через филателистическую продукцию и как марка репрезентировала официальное представление о Пушкине, что, в свою очередь, наглядно иллюстрирует изменение семантики и прагматики самих пушкинских юбилеев с 1937 по 2024 год.

Начало формирования визуального языка пушкинской марки приходится на 1937 и 1947 годы — даты 100- и 110-летия со дня гибели поэта. То, что исходной точкой формирования пушкинского коммеморативного кода в филателии становятся смертельные юбилейные практи-



ки, может показаться парадоксальным, но в проекции на филателистические коммеморации СССР в этом скорее усматривается некоторая закономерность. «Персональные» коммеморации в советской филателии исходно связаны как раз с датами смерти — это траурный выпуск марки к смерти В. И. Ленина (1924) и следующий за ним выпуск к первой годовщине этого события (1925), а далее марок к 50-летию со дня смерти К. Маркса, 15-летию со дня гибели 26 бакинских комиссаров и 350-летию со дня смерти Ивана Федорова (1933), 10-летию со дня смерти В. И. Ленина (1934), 40-летию со дня смерти Фридриха Энгельса и 25-летию со дня смерти Л. Н. Толстого (1935). Появление в этом символическом мартирологе советской филателии марок в ознаменование 100-летия со дня гибели Пушкина представляется вполне ожидаемым и закономерным.

Первые юбилейные пушкинские марки, выполненные одним из наиболее известных создателей советских марок В. В. Завьяловым, представляют собой воспроизведение последнего прижизненного портрета Пушкина с гравюры Т. Райта (рис. 2) и памятника Пушкину работы А. М. Опекушина (рис. 3); эти же два изображения представлены на почтовом блоке «Всесоюзная Пушкинская выставка в Москве».

Нельзя не заметить буквально гипертрофированную визуальную индексальность этих марок: образ Пушкина окружен здесь такими метонимиями поэзии, как раскрытая книга, перо, лавровый венок, лира с порванными струнами. Если учесть авторство одного из лучших советских гравюров марки, предположение о том, что такая визуальная перенасыщенность есть результат творческого недосмотра, пожалуй, отпадает само собой. Намного вероятнее другое: перед нами намеренное символическое утверждение Пушкина как идеала поэта, его «иконизация», а вслед за этим — монументализация через Пушкина и самой советской культуры как его непосредственной преемницы.

Не менее примечательно и то, что одна из двух марок построена Завьяловым вокруг изображения памятника Опекушина — перед нами своего рода удвоение коммеморации / символизации Пушкина, некий «Пушкин в квадрате». Марка становится «означающим означающего»: сам памятник, открытый в 1880 году, осуществляет первую символизацию Пушкина, в то время как марка, *изображающая этот памятник*, есть уже вторая ступень этой символизации. При этом памятник Опекушина изображен Завьяловым на фоне лиры — одновременно и эмблемы поэзии как таковой, и визуальной интертекстуальной отсылки к пушкинскому *стихотворению* «Памятник» («...что чувства добрые я лирой пробуждал»). Мультимодальная природа марки как сообщения обеспечивает перенасыщенность, густоту и плотность стоящих за ней культурных смыслов, марка словно «сворачивается в текст», что многократно усиливает ощущение символической значимости поэта для советской культуры. На фоне такой смысловой густоты марка 1947 года (к 110-летию со дня гибели Пушкина), выполненная тем же автором на основе портрета В. А. Тропинина (рис. 4), воспринимается уже как «облегченное высказывание»: при сохранении тех же индексов поэзии (перо, лавровая ветвь) графическая форма упрощается, жесткая гравюро-



подобная штриховка уступает место более мягкому «живописному» рисунку, и сам Пушкин благодаря такой смене визуальных кодов словно очеловечивается.



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Серия марок, выпущенная в 1949 году в ознаменование 150-летия со дня рождения Пушкина, отмечена смещением в сторону витальных семантик, а в связи с этим — рядом значимых визуальных перекодировок. Радикально меняется сам сценарий репрезентации Пушкина: серия из пяти марок (в том числе двух марок с купонами) строится Завьяловым на основании гравюры Е.И. Гейтмана, портрета О.А. Кипренского и рисунка Д.Н. Кардовского «А.С. Пушкин среди членов Южного общества в селе Каменка», а также изображения дома-музея Пушкина в Болдино (рис. 5–9); серия включает также почтовый блок с гравюрой Гейтмана и портретом Кипренского.



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Рис. 9



Если на марках 1937 года Пушкин предстает как кристально чистый знак «поэзии как таковой», а на марке 1947 года — как хрестоматийный портретный образ из учебника, то серия 1949 года осуществляет разворот к Пушкину-человеку: у него есть детство (гравюра Гейтмана), друзья (рисунок Кардовского), дом в Болдино — на смену индексальной репрезентации поэзии (Пушкин как реальный или символический монумент) марка вводит индексальную репрезентацию *человеческой судьбы*, из символа рисунок превращается в жизнь. При сохранении важнейших константных изображений, отмеченных сильной культурной семантикой (перо, лавровая ветвь), визуальный язык марок существенно усложняется: во-первых, монохром сменяется печатью в два цвета, что, конечно, способствует большей эстетической привлекательности марок; во-вторых, все марки построены на совмещении фигуры (изображения в овале) и фона (цветового окружения); в-третьих, фигура и фон функционально разведены: фигура содержит иконическое изображение, непосредственно связанное с Пушкиным, фон — элементы иллюстраций к пушкинским произведениям («Медный всадник», «Руслан и Людмила»). Далее, по сравнению с «мортальными» марками в серии 1949 года многократно возрастает роль вербальных кодов, дополнительно транслирующих «живую жизнь»: если ранее они ограничивались надписью «А. С. Пушкин» и указанием дат (надпись «Почта СССР» и указание номинала мы не принимаем в расчет, поскольку эти типовые элементы фактически не участвуют в семиозисе конкретной марки), то сейчас к этому прибавляются надписи «150 лет со дня рождения 1799—1949», «Великий русский поэт», а главное — цитата из стихотворения «К Чаадаеву» и воспроизведение пушкинского факсимиле на купонах к маркам с рисунком Кардовского. Но самый, пожалуй, любопытный прагматический поворот — это размещение изображения Кремля со звездой на марках с купоном, что легко прочитывается как буквально прямое утверждение идеологической преемственности СССР по отношению к идеям декабристов и вольнолюбивой пушкинской поэзии. Таким образом, на марках к 150-летию со дня рождения пушкинская тема не просто значительно усложняется, но и получает дополнительные идеологические коннотации, в то время как сам образ поэта утрачивает монументальную статику и символическую дистанцированность от реципиента.

Следующие три юбилейных выпуска — марка к 125-летию со дня смерти (1962, рис. 10), почтовый блок к 175-летию со дня рождения (1974, рис. 11) и марка с купоном к 150-летию со дня смерти (1987, рис. 12) — оставляют ощущение скорее ритуальной дани памяти, чем полноценного художественного высказывания. В двух случаях (1962 и 1974) использован портрет Кипренского, в одном (1987) — гравюра Райта. Намеренно упрощенная визуальность марки 1962 года словно подчеркивает отсутствие необходимости дополнительно семиотизировать Пушкина — возможно, потому, что это уже в достаточной мере сделано



ранее. Вместе с тем блок 1974 года вызывает определенный интерес тем, что отсылает к визуальному языку и изобразительной манере Завьялова, реализованных в первых двух коммеморативных сериях (ср. образы раскрытой книги, пера, лаврового венка), но в то же время это как будто «пересборка», декомпозиция визуального языка ранних стадий и его «препрочтение» в соответствии с конвенциями визуальных принципов 1970-х годов.



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

Пожалуй, наиболее ярким и выразительным этапом филателистической коммеморации Пушкина стали выпуски к 200-летию поэта. Высший символический статус этого ключевого культурного события был дополнительно акцентирован тем, что отечественная филателия отмечала 200-летие Пушкина трижды – с 1997 по 1999 год. Важнейший отличительный признак этого этапа – поворот в сторону производства филателистической продукции, ориентированной в первую очередь на коллекционирование, последовательная редукция утилитарного потенциала марки и связанные с этим прагматические перекодировки. Если марки 1937 года были призваны формировать монументально-возвышенный образ Пушкина, а серия 1949 года запустила символические механизмы снятия дистанции между реципиентом и поэтом, то прагматическое воздействие марок 1997–1999 годов так или иначе организуется вокруг восприятия Пушкина и его творческого наследия как высшего воплощения эстетического совершенства.

Такой поворот находит свое выражение прежде всего в существенном усложнении используемых технологических решений: на смену простой офсетной печати более ранних тиражей приходит более выразительная (в том числе обеспечивающая возможность тактильного восприятия) металлография в сочетании с офсетом. По этой технологии выполнены марки серии «Сказки Пушкина» (1997), «Рисунки поэта» (1998) и «Портреты» (1999). Далее, ориентация на коллекционеров проявляется в том, что каждая из этих серий наряду с печатью отдельных марок обязательно предусматривала выпуск так называемых малых листов с активно декорированными полями (рис. 13–15) и / или блоков (рис. 16–17), то есть таких жанровых форм, у которых основную ценность имеет не столько отдельная марка, сколько лист целиком – именно он формирует визуальный нарратив, в который марка вписана.

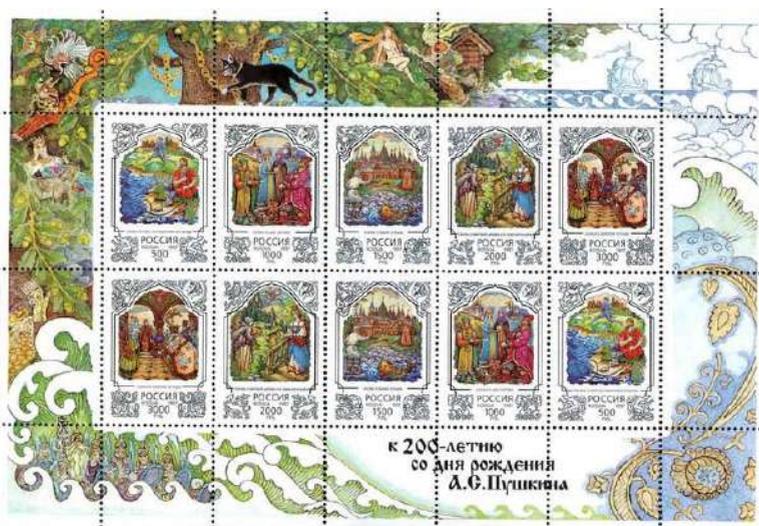


Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16



Рис. 17

По сравнению с марками более ранних этапов на филателистической продукции 1997 – 1999 годов очевидным образом усиливается присутствие самого Пушкина: здесь это ключевые цитаты из его произведе-



ний, рисунки, автограф поэта. Наконец, отдельно следует сказать о новом подходе к отбору пушкинской портретографии: это уже не канонические Тропинин, Кипренский или Райт, а значительно менее известные рядовому читателю / зрителю портреты С.Г. Чирикова, И.-Е. Вивьена и К.П. Брюллова. В таких визуальных репрезентациях Пушкин словно теряет привычную глазу идентичность, он не равен самому себе, но при этом однозначно узнаваем и легко собирается в несовпадающих портретных «я». Можно сказать, что к 200-летию российская филателия попыталась – и вполне успешно! – представить Пушкина во всем его уникальном многообразии, символизируя эстетический гений поэта неконвенциональными подходами к его репрезентациям в марках.

На фоне филателистического триумфа 1997–1999 годов чествование 220-летия Пушкина удивляет своей предельной лаконичностью: возникает ощущение, что весь символический потенциал марок был исчерпан предыдущим «большим» юбилеем. В 2019 году АО «Марка» ограничилось гашением малого листа марки «50 лет Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина» (рис. 18) новым номиналом и надпечаткой «220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА» на верхнем поле листа (рис. 19).



Рис. 18



Рис. 19

Такой результат социальной перекодировки марки любопытен как своеобразная метонимическая инверсия: Государственный институт русского языка как метонимия Пушкина на малом листе с надпечаткой, отсылающей к юбилею поэта, оборачивается тем, что уже сам Пушкин становится метонимией Государственного института русского языка. Вместе с тем проект 2019 года демонстрирует по-своему значимое перераспределение между символической и коммерческой значимостью марки. Малый лист с надпечаткой «220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА», выпущенный тиражом 7 тыс. экз. (для сравнения: тираж оригинального малого листа марки «50 лет Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина»



на» составлял 30 тыс. экз.), реализовался только в составе сувенирного набора в обложке (рис. 20) и сразу был выведен из продажи, что автоматически наделило его статусом спекулятивной филателистической продукции. Аналогичным образом в оборот (не) был запущен сувенирный набор, состоявший из виньетки и малых листов «Сказки Пушкина» (1997) и «Портреты» (1999), тираж которого составил 290 (!) экземпляров. Те же тенденции в целом характеризуют и филателистическую продукцию 2024 года: к 225-летию Пушкина был реализован совместный выпуск Российской Федерации и Республики Беларусь (на российской марке изображены фрагмент картины П.П. Кончаловского «Пушкин, сочиняющий стихи», иллюстрация А. З. Иткина «Татьяна на балу» к роману «Евгений Онегин» (2009), а также обложка книги «Евгений Онегин») и все так же не выпущенный в массовую продажу сувенирный набор (марка 2024 года, российско-израильский блок 1997 года, виньетка и конверт с гашением первого дня) с тиражом 600 экз.

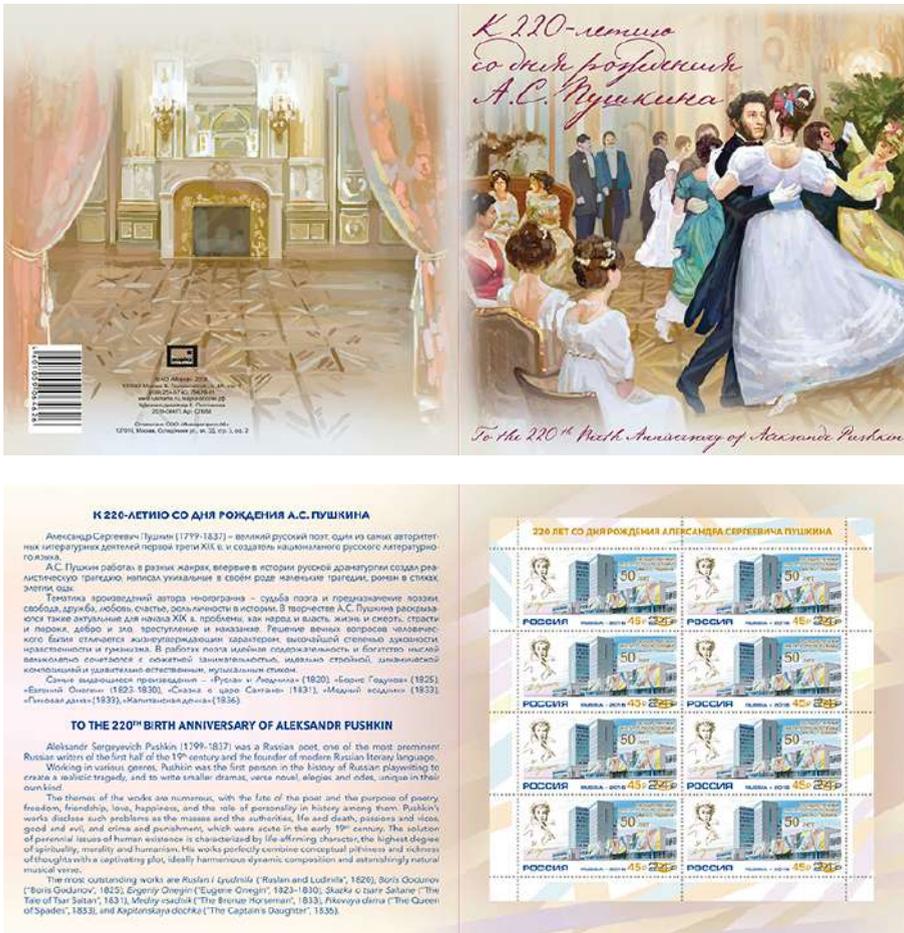


Рис. 20



Динамика «филателистического сюжета», выстраивающегося вокруг юбилеев А.С. Пушкина, наглядно показывает, что прагматика почтовой марки способна гибко реагировать на меняющиеся задачи, которые уводят марку весьма далеко от ее основной утилитарной функции — обслуживать финансовые отношения в сфере почтовой корреспонденции. Будучи максимально погруженным в структуру повседневных практик средством массового воздействия, почтовая марка становится мощным социально-семиотическим ресурсом, оказывающим прямое влияние на формирование, транслирование и репрезентацию культурных смыслов и ценностей.

### Список литературы

Богданов, К., 2020. К истории филателии в СССР. Обзор тем и исследовательских контекстов. *Acta Slavica Iaponica*, 40, с. 19–41. [Bogdanov, K., 2020. On the history of philately in the USSR. Overview of topics and research contexts. *Acta Slavica Iaponica*, 40, pp. 19–41 (in Russ.).]

Бондарева, О.Н., Мальцев И.В., 2020. Русский язык на марках мира. *Мир русского слова*, 4, с. 66–73. [Bondareva, O.N. and Maltsev, I.V., 2020. Russian language on stamps of the world. *Mir russkogo slova* [World of the Russian Word], 4, pp. 66–73 (in Russ.)] EDN: MНUOP, <https://doi.org/10.24411/1811-1629-2020-14066>.

Бродский, В.Я., 1968. *Искусство почтовой марки*. Л. [Brodsky, V. Ya., 1968. *Iskusstvo pochtovoi marki* [The art of the postage stamp]. Leningrad (in Russ.).]

Бугаевский, К.А., 2018. Борьба с ВИЧ/СПИДом в отражении средств мировой филателии. *Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области*, 2 (4), с. 11–14. [Bugayevsky, K. A., 2018. The fight against hiv/aids in the reflection of the funds of world philately. *Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti* [Bulletin of the Council of Young Scientists and specialists of the Chelyabinsk region], 2 (4), pp. 11–14 (in Russ.)] EDN: YVSWXR.

Вальдман, Э., 1966. Почтовая марка как предмет изобразительного искусства. *Филателия СССР*, 3, с. 14–17, 29–30. [Waldman, E., 1966. A postage stamp as an object of fine art. *Filateliya SSSR* [Philately of the USSR], 3, pp. 14–17, 29–30 (in Russ.).]

Вахитов, С., 2012. Прижизненная портретография А.С. Пушкина в филателии. *Бельские просторы*, 2. URL: <https://pushkinskij-dom.livejournal.com/329849.html> (дата обращения: 05.05.2025). [Vakhitov, S., 2012. Lifetime portraiture of A.S. Pushkin in philately. *Bel'skie prostory* [The Belsky expanses], 2. Available at: <https://pushkinskij-dom.livejournal.com/329849.html> [Accessed 5 May 2025] (in Russ.).]

Дюкин, С.Г., Самойлова, И.В., 2016. Российские образы на венгерских почтовых марках. *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*, 1 (69), с. 88–94. [Dyukin, S.G. and Samoilova, I. V., 2016. Russian images on Hungarian postage stamps. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo uniuersiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts], 1 (69), pp. 88–94 (in Russ.)] EDN: VWDKFX.

Квасников, Ю., 2005. Циолковский, Чайковский, Пушкин. *Независимая газета*, 11 февр. URL: [http://www.ng.ru/collection/2005-02-11/22\\_marka.html](http://www.ng.ru/collection/2005-02-11/22_marka.html) (дата обращения: 05.05.2025). [Kvasnikov, Yu., 2005. Tsiolkovsky, Tchaikovsky, Pushkin. *Nezavisimaya gazeta*, February, 11. Available at: [http://www.ng.ru/collection/2005-02-11/22\\_marka.html](http://www.ng.ru/collection/2005-02-11/22_marka.html) [Accessed 5 May 2025] (in Russ.).]



Метелкин, Е. Н., Сохор, Т. Е., 2018. Метаморфозы символов Октябрьской революции 1917 г. на коммеморативных марках РСФСР, СССР и Российской Федерации. *Новейшая история России*, 8 (2), с. 449–468. [Metelkin, E. N. and Sokhor, T. E., 2018. Symbols of the October Revolution and their metamorphoses in the commemorative postal stamps in RSFSR, USSR and Russian Federation. *Modern History of Russia*, 8 (2), pp. 449–468 (in Russ.)] EDN: UWXETR, <https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2018.212>.

Метелкин, Е. Н., Сохор, Т. Е., 2022. Александр Невский в филателии. *Наука. Общество. Оборона*, 10 (1), с. 7–7. [Metelkin, E. N. and Sokhor, T. E., 2022. Alexander Nevsky in philately. *Nauka. Obshchestvo. Oborona* [Science. Society. Defense], 10 (1), pp. 7–7 (in Russ.)] EDN: DLVOAH, <https://doi.org/10.24412/2311-1763-2022-1-7-7>.

Нагорная, М. С., Шевцова, В. В., 2017. Брендинг Олимпийских игр на почтовых марках: преемственность и новации. *Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области*, 1 (3), с. 93–99. [Nagornaya, M. S. and Shevtsova, V. V., 2017. Branding of Olympic Games on postage stamps: continuity and innovation. *Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti* [Bulletin of the Council of Young Scientists and specialists of the Chelyabinsk region], 1 (3), pp. 93–99 (in Russ.)] EDN: ZXIZXP.

Нагорная, М. С., Шевцова, В. В., 2018. Год добровольца в России: брендинг волонтерства посредством государственных знаков почтовой оплаты. *Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области*, 1 (3), с. 62–66. [Nagornaya, M. S. and Shevtsova, V. V., 2018. The Year of the volunteer in russia: branding of volunteering by state signs of postal payment. *Vestnik soveta molodykh uchenykh i spetsialistov Chelyabinskoi oblasti* [Bulletin of the Council of Young Scientists and specialists of the Chelyabinsk region], 1 (3), pp. 62–66 (in Russ.)] EDN: VPUCOC.

Орехова, С. Е., 2015. Летопись Великой Отечественной войны на почтовых марках СССР. *Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія*, 9, с. 104–116. [Orekhova, S., 2015. Chronicle of the Great Patriotic War on the postage stamps of the USSR. *Bulletin of Mariupol State University. Series: Philosophy, Culture Studies, Sociology*, 9, pp. 104–116 (in Russ.)] EDN: HAHGAB.

Сёмин, А. Н., 2021. Филателистические материалы как дополнительный источник для изучения (исследования) экономики государства. *Russian Journal of Management*, 9 (1), с. 61–65. URL: <https://rusjm.ru/ru/nauka/article/42576/view> (дата обращения: 29.04.2025). [Semin, A. N., 2021. Philatelic materials as an additional source for studying (research) economies of the state. *Russian Journal of Management*, 9 (1), pp. 61–65. Available at: <https://rusjm.ru/ru/nauka/article/42576/view> [Accessed 29 April 2025] (in Russ.)] EDN: GNXLPS, <https://doi.org/10.29039/2409-6024-2021-9-1-61-65>.

Сюй, Ц., 2025. Древние ученые Китая в дизайне коммеморативных марок. *Академическая наука*, 2, с. 22–26. [Xu, J., 2025. Ancient scholars of china design commemorative stamps. *Akademicheskaya nauka* [Academic Science], 2, pp. 22–26 (in Russ.)] EDN: WABCWX, <https://doi.org/10.24412/3034-4042-2025-2-22-26>.

Цаценко, Л. В., Магомедтагиров, А. А., 2017. Почтовая марка как ресурс информации по истории агрономии. *Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*, 125 (1), с. 1–19. URL: <http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/02.pdf> (дата обращения: 29.04.2025). [Tsatsenko, L. V. and Magomedtagirov, A. A., 2017. A postage stamp as a resource of information in the history of agronomy. *Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University*, 125 (1), pp. 1–19. Available at: <http://ej.kubagro.ru/2017/01/pdf/02.pdf> [Accessed 29 April 2025] (in Russ.)] EDN: XVIFIJ, <https://doi.org/10.21515/1990-4665-125-002>.

Шевлякова, Д. А., 2020. Символы итальянской национальной культуры на почтовых марках итальянских колоний (1920–1941 гг.). *Вестник МГЛУ. Гумани-*



тарные науки, 12 (841), с. 236–244. [Shevlyakova, D.A., 2020. The creation of an image of the metropolis in the postage stamps of the Italian colonies (1920–1941). *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities], 12 (841), pp. 236–244 (in Russ.)] EDN: CKWYYK.

Brunn, S.D., 2017. A Geopolitical and geovisualization challenge: Increasing the awareness of global environmental change through postage stamp issues. *Natural Resources*, 8, pp. 130–158, <https://doi.org/10.4236/nr.2017.83010>.

Brunn, S.D., ed., 2022. *Stamps, nationalism and political transition*. London.

Child, J., 2005. The politics and semiotics of the smallest icons of popular culture: Latin American postage stamps. *Latin American Research Review*, 40 (1), pp. 108–137, <https://doi.org/10.1353/lar.2005.0003>.

Child, J., 2008. *Miniature messages. The semiotics and politics of Latin American postage stamps*. London.

Grayson, J.H., 2019. *The Semiotics of Postage Stamps: Tiny Bits of Paper as Government Documents*. Available at: <https://koreastampsociety.org/2019/02/03/the-semiotics-of-postage-stamps-tiny-bits-of-paper-as-government-documents/> [Accessed 29 April 2025].

Grayson, J.H., 2024. Representing religion in North and South Korea: seventy-five years of the semiotics of stamp design. *Religions*, 15 (8), pp. 955, <https://doi.org/10.3390/rel15080955>.

Scott, D., 1992. National icons: the semiotics of the French stamp. *French Cultural Studies*, 3 (9), pp. 215–234.

Scott, D., 1995. *European stamp design: A semiotic approach to designing messages*. London.

Scott, D., 1997. Indexical/iconic tensions: The semiotics of the postage stamp. In: W. Nöth, ed. *Semiotics of the Media. State of the art, projects, and perspectives*. Pp. 191–203.

Stoetzer, C., 1953. *Postage stamps as propaganda*. Washington.

## Об авторах

Татьяна Валентиновна Цвигун, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-7941-7236

E-mail: [ttsvigun@kantiana.ru](mailto:ttsvigun@kantiana.ru)

Алексей Николаевич Черняков, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-1531-5780

E-mail: [achernyakov@kantiana.ru](mailto:achernyakov@kantiana.ru)

### Для цитирования:

Цвигун Т.В., Черняков А.Н. Идеология в сумках почтальонов: к прагматике почтовой марки // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 117–133. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-8.





IDEOLOGY IN THE MAILMAN'S BAGS:  
TOWARDS THE PRAGMATICS OF THE POSTAGE STAMP

*Tatiana V. Tsvigun, Alexey N. Chernyakov*

Immanuel Kant Baltic Federal University,  
14 Aleksandra Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia

Submitted on 30.04.2025

Accepted on 13.05.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-8

*The article explores the semiotic potential of a postage stamp as a social communication tool. Despite the fact that a postage stamp is initially a utilitarian means of payment, it is capable of implementing many functions, and its pragmatics are directly related to the representation and transmission of cultural and ideological meanings, which makes the stamp an important means of forming cultural identity. Collectable practices make stamps semiotic artefacts that lose their utilitarian meaning and acquire new cultural connotations. The analysis of the series of postage stamps dedicated to the anniversaries of Alexander Pushkin, proposed in the article, illustrates the changes in cultural symbols during the period from 1937 to 2024. The specifics of the commemorative stamps show how not only the approach to depicting Pushkin himself is changing, but also the symbolic context in which they are included: from endowing Pushkin with the features of an ideal example of poetry to forming detailed personal representations. The dynamics of the 'philatelic plot' building around the anniversaries of Pushkin's work shows that, being a 'strong sign' immersed in the structure of everyday practices as a means of mass influence, the postage stamp is a powerful socio-semiotic resource that has a direct impact on the formation, transmission and representation of cultural meanings and values. The study demonstrates that in modern society, stamps are becoming not only attributes of postal correspondence, but also elements of a cultural narrative that are actively used to form and convey ideological and aesthetic messages.*

**Keywords:** postage stamp, social semiotics, pragmatics, literary anniversaries, Alexander Pushkin

### The authors

*Dr. Tatiana V. Tsvigun*, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-7941-7236

E-mail: [ttsvigun@kantiana.ru](mailto:ttsvigun@kantiana.ru)

*Dr. Alexey N. Chernyakov*, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-1531-5780

E-mail: [achernyakov@kantiana.ru](mailto:achernyakov@kantiana.ru)

### To cite this article:

Tsvigun, T. V., Chernyakov, A. N., 2025, Ideology in the mailman's bags: towards the pragmatics of the postage stamp, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, p. 117 – 133. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-8.



УДК 811.161.1'373

**«АТЛЕТЫ ВЕРЫ, АТЛЕТЫ СЦЕНЫ...»:  
ЛИНГВОДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕРИВАЦИОННОГО ГНЕЗДА  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII — НАЧАЛА XX ВЕКА**

**Д. В. Руднев<sup>1,2</sup>, А. В. Зеленин<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Институт лингвистических исследований РАН,  
Россия, 199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., 9

<sup>2</sup> Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
Россия, 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

<sup>3</sup> Независимый исследователь  
Поступила в редакцию 13.09.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-9

*Рассмотрена динамика семантического поля слова «атлет» (и его производных) в русском языке XVIII – начала XX века. Исследование опирается на теоретические концепции лингвистического портретирования и дискурс-анализа, что позволяет дать всестороннюю характеристику исследуемому явлению. Анализ текстов демонстрирует трансформацию значения заимствованного слова: от обозначения древнегреческого борца (середина XVIII века, латинское или французское происхождение) к обозначениям людей, занимающихся физической культурой (конец XIX века). Показано, как менялись представления о мужчине и женщине-атлете (геркулеска, атлетка) и какие культурные стереотипы были связаны с этими образами. Продемонстрировано, что семантика всей группы слов с корнем -атлет- тесно связана с историческими и социальными процессами, отражая изменения в ценностных предпочтениях и ориентациях общества. Проанализированы причины расширения семантического поля, превращения слова «атлет» в многозначное, употребляемое в различных контекстах; выявлены различия культурных стереотипов, связывающих маскулинитив «атлет» и феминитив «атлетка» с оценками о физической силе; показана роль заимствований из французского и английского языков, обогативших русский язык новыми оттенками значения слова «атлет»; охарактеризована связь всей группы однокоренных слов с социальными и культурными изменениями в Европе и России XIX века.*

**Ключевые слова:** заимствование, портрет слова, дискурс-анализ, стереотип, феминитив, гендер, семантика, словообразование

**1. Предварительные замечания:  
теоретические предпосылки, объект, материал  
и методы исследования**

Построение лингводискурсивных «портретов слова», получившее мощный импульс развития в российской лингвистике в последние десятилетия XX века, имеет под собой прочную теоретическую основу в



разноаспектном анализе слова и его семантической структуры. Обобщающие работы выдающихся филологов В. В. Виноградова (1979), Л. А. Булаховского (1954), В. В. Веселитского (1972), Ю. С. Сорокина (1965), многочисленные статьи, посвященные семантической истории отдельных слов, являются прочной теоретической базой для исследований в области исторической лексикологии русского языка XVIII–XIX веков. Эти труды фиксируют закономерности развития лексической системы, исторические и социальные факторы, влияющие на словарный состав, формулируют методы изучения лексики.

Интенсивное развитие исторической лексикологии заложило надежный концептуально-методический фундамент для современного этапа изучения историй лексем, включая построение лингводискурсивных портретов слова. Диахронический аспект стимулирует изучение метафоризации и семантических сдвигов, деривационных процессов. Подобные исследования помогают выявить устойчивые языковые конструкции, коллокации, клише, которые сохраняются или трансформируются в различных исторических периодах. Создание «портретов слова» способствует развитию и усовершенствованию теоретических моделей, объясняющих механизмы языковых изменений.

Объектом лингвистического портретирования в статье выступает слово *атлет* (и его производные) в хронологически ограниченный период — с момента его появления в XVIII веке до первых годов XX столетия. Такой хронологический срез позволяет, с одной стороны, дать конкретно-историческую историю освоения конкретного заимствования, а с другой — выявить семантико-прагматические тенденции в рамках теоретических подходов к лингвистическому моделированию «портрета слова». Выбор в качестве объекта изучения слова *атлет* и его производных обусловлен тем фактом, что в течение полутора — двух веков они претерпели ряд глубоких и разносторонних преобразований, что дает возможность продемонстрировать влияние различных факторов на изменение слова.

Цель статьи — представить комплексный анализ («портрет») слова *атлет*, его производных, их парадигматики и синтагматики с семантической, словообразовательной, социокультурной, прагматической, гендерной точек зрения.

Теоретической базой исследования является интеграция современных концепций лингвистического портретирования, или моделирования (Апресян 1995, 2006; Мишатица, 2018), и ее практического воплощения (напр., (Фролова 2010; Черникова 2017; Соколова 2024)) с теорией дискурс-анализа (особенно в его преломлении к изучению языка) (Van Dijk 1993; Fairclough 2001). Такой синтез, на наш взгляд, позволяет реализовать исследовательские принципы: 1) разноаспектности (слово рассматривается как сложная единица, обладающая различными характеристиками: лингвистическими, дискурсивными, контекстуальными), 2) динамичности (значение и функции слова не статичны, а изменяются в зависимости от контекста употребления, исторического периода и культурных особенностей), 3) системности (слово не существует изолированно, оно является частью языковой системы и взаимодейст-



вует с другими языковыми единицами), 4) антропометричности (язык и речь рассматриваются как средства человеческого общения, а слово — как инструмент выражения мыслей и эмоций).

Источниками исследования послужили материалы электронного «Словаря русского языка XIX века» (СРЯ XIX), «Словарь русского языка XVIII века» (СРЯ XVIII), «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ) и, в частности, его новый инструмент «Портрет слова» (Савчук и др. 2024), собственные материалы авторов статьи, различные лингвистические работы. В работе использованы методы анализа: этимологический, валентностный, семантический, дистрибутивный, контекстуальный, компонентный.

## 2. Слово *атлет* в русском языке XVIII века

Слово *атлет* появилось в русском языке в XVIII веке и до начала XIX века существовало в двух конкурировавших формах: в Эразмовом произношении *авлѣт*, *авліт* (1766), стремящемся к более точной реконструкции древнегреческого языка, и в Райхлиновом — *атлет* (1734), при котором древнегреческая буква «θ» (фита) заменялась на «т», что ближе к новогреческому произношению (Christiani 1906, S. 51–52; Черных 1999, с. 58). Этимологи сомневаются в указании точного источника заимствования в русском: либо из нем. *Athlet*, либо из франц. *athlète* (Фасмер 1986, с. 96; Черных 1999, с. 58), прототипы лежат в греческом (ἄθλητής) и латинском (*athleta*) языках. А. Е. Аникин считает его интернационализмом (2007, с. 333–334).

В литературе той эпохи неологизм фиксируется в значении ‘древнегреческий борец, участник состязаний’:

(1) *Пятый подвиг [на Олимпийских играх] был кулашный бой; а бойцы, называемы Атлеты, или Пугилы<sup>1</sup>, воужали иногда руки толстыми ремнями и палками [Арг.] (СРЯ XVIII, с. 111).*

В слове отмечены также переносное значение ‘о воинах на поле брани’ (2) и расширительное ‘богатырь, силач’ (3):

(2) *Но, не взираючи на здравые совѣты, Стремитесь в жару, о дерзкие атлеты! [Майк. Соч.] (СРЯ XVIII, с. 111);*

(3) *Остер будь, или тут, атлет, иль дряхл и слаб [Длгрк.] (СРЯ XVIII, с. 111).*

В качестве производных от слова *атлет* фиксируются притяжательное прилагательное *атлетов* (4) и относительное *атлетический* (5), (6), причем притяжательное прилагательное *атлетов* встречается лишь в начале XIX века и имеет единичный характер:

---

<sup>1</sup> Пугилы (или пугили; от латинского слова *pugil* ‘кулачный боец’) — древнегреческие бойцы, участвовавшие в кулачных боях. Атлеты, в свою очередь, — это более общее понятие, которое включало всех участников различных спортивных состязаний, таких как бег, борьба, метание диска и копья, а также панкратион — древнегреческое боевое искусство, сочетающее элементы борьбы и кулачного боя.



(4) *Не Атлетовы силы, но любовь к отечеству делает воинов непобѣдимыми* [Крм. 1803] (СРЯ XVIII, с. 111).

По-видимому, и переносное, образное употребление слова *атлет*, и производные прилагательные являются французскими кальками. На это указывает сопоставление переводов В.К. Тредиаковского, в которых впервые в русский язык вводится прилагательное *атлетический*, и их французских источников, ср.:

(5) *Мы уже не имеем потех атлетических, соблюдавших силы во всем народе* [Жит. Бак.] (СРЯ XVIII, с. 111) — *Nous n'avons plus les jeux des Athlètes qui entretenoient les forces de tout une nation* (Deleyre 1756, p. 321) (букв. 'игр атлетов').

(6) *Наука, которая их [атлетов] обучала сим Подвигам, называлась Гимнастика от наготы Атлетов. Которые определяемы были к Атлетическому художеству, ходили от самая своая юности в Гимназии или Палестры* (Роллен 1760, с. 46) — *L'art qui les formoit a ces combats s'appelloit Gymnastique, a cause de la nudité des Athlètes. Ceux que l'on destinoit a la profession d'Athlète, fréquentoient, dès leur plus tendre jeunesse, les Gymnases ou Palestres* (Rollin 1733, p. 68—69).

Таким образом, к началу XIX века русский читатель уже был знаком с новым словом (и его семантическими и словообразовательными производными), в распространении которого в литературно-книжном обиходе особенно большую роль сыграл В.К. Тредиаковский благодаря своим переводам с латинского и французского языков.

Семантическое содержание новых слов еще достаточно ограничено, но в русском языковом сознании XVIII века уже были зафиксированы признаки, связанные с древнегреческими состязаниями (номинативный аспект) и ассоциативно-семантическими производными: физическая сила, телесная мощь (функциональный перенос) и нравственная сила (метафорический перенос).

Эти смысловые компоненты послужили отправной точкой для глубокого освоения и укоренения слова и понятия в языке XIX века, чутко реагирувавшем на внутри- и экстралингвистические факторы.

### 3. Развитие полисемии слова *атлет* в XIX веке

В случае со словом *атлет* можно выявить несколько механизмов, которые привели к расширению его семантического поля. В русском языке XIX века этимологическое значение, обозначающее древнегреческих участников Олимпийских игр, хотя и продолжает существовать, однако становится периферийным:

(7) *Бой гладиаторов и атлетов, на который я особенно обращаю внимание читателей, был любимым зрелищем древних римлян* [Письма о русской журналистике. XVIII // Современник. 1850] (НКРЯ).



Именно в своем исходном значении слово *атлет* (в форме *аэлет*) фиксируется в словаре Яновского, ср.: «Аэлеты или атлеты. На греческом значит *ратоборцы*, у древних греков собственно так назывались борцы и кулачные бойцы на торжественных играх» (Яновский 1803, стб. 300). Там же отмечено и слово *атлетика* (*аэлетика*) в значении 'искусство бороться'. Многочисленные словари XIX века по традиции продолжали упоминать слово *атлет* в его исходном значении.

Между тем семантическая структура слова *атлет* в XIX веке подверглась сильной трансформации за счет обильного калькирования из французского языка и достаточно быстрого проникновения слова в русскую лексическую систему.

Из французского языка в первые десятилетия было калькировано переносное значение 'о выдающемся деятеле (в искусстве, науке и т. п.)', использовавшееся в русском языке на протяжении всего XIX века (8—9):

(8) *Впрочем, можно ли советовать такому Атлету, который сам давно мечет критики и эпиграммы в худых писателей и намерен подарить нас переводом Феды? [Отечественные записки. 1822] (СРЯ XIX).*

В своем письме 1825 года П. А. Вяземский так писал об А. С. Пушкине:

(9) *Мелкие стихотворения и новая поэма Пушкина «Цыгане» готовятся к печати. Слышно, что юный атлет наш испытывает свои силы на новом поприще и пишет трагедию: «Борис Годунов» (Вяземский 1871, с. 203).*

Слово *athlète* во французском языке использовалось для оценочной характеристики выдающихся деятелей в различных областях, таких как искусство и наука. Вот несколько примеров из французской литературы XIX века: *athlète de la musique* 'атлет музыки' [Ж. Санд. Консуэло. 1842—1843], *athlètes de l'esprit* 'атлеты духа' [О. Бальзак. Человеческая комедия. 1842], *athlète de la vertu* 'атлет добродетели' [Г. Флобер. Госпожа Бовари. 1857], *athlète de la science* 'атлет науки' [Ж. Верн. 20 000 лье под водой. 1870], *athlète de la scène* 'атлет сцены' [Э. Золя. Нана. 1880] и т. д.

Как и во французском, лексема *атлет* — принадлежность риторических жанров речи, книжно-возвышенного стиля:

(10) *Земля здешней долины вознеслась наконец на раменах русских атлетов до гребня сих неприступных высот и образовала укрепления, у подножия коих разобьются, без сомнения, еще не раз бурные валы орд оттоманских [В.Г. Тепляков. Письма из Болгарии. 1829] (НКРЯ).*

Также французским влиянием можно объяснить в русском языке употребление слова *атлет* в значении 'подвижник, мученик, борец за веру':

(11) *Христиане и благочестивые пастыри церкви... избрали на Католикосскую [так!] кафедру с утверждения Вахтанга, брата его Архиепископа Доментия,*



*атлета веры и добродетели* [П. И. Иоселиани. Исторический взгляд на состояние Грузии под властью царей-магометан. 1849] (СРЯ XIX) (ср. франц. прототип: *athlète de la foi*).

Во французском уже с середины XVI века (1554 год) существовало словосочетание *athlète de Jésus-Christ* в образном (фигуральном) значении 'человек, который борется (до смерти) в защиту своей веры, мученик' (Trésor n. d.).

Ввод новых обозначений и значений происходил при помощи подтолкования с целью сделать текст более понятным и доступным для читателя; особенно это касалось специфических терминов, которые могли быть непонятны без дополнительного объяснения:

(12) *Хочешь ли слышать истинного подвижника (атлета) Христова, сражающегося по законному праву ратоборства?* [Иоанн Кассиан Римлянин. Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. Пер. с лат. 1892] (СРЯ XIX).

Вероятно, непосредственной семантической калькой из французского следует считать в русском языке и значение 'человек, обладающий мощной мускулатурой, очень большой силой' (Trésor n. d.). Его укоренение в русском активно происходит с 1820-х годов:

(13) *Только что общество наше вышло на площадку, оно повстречалось с тремя ухарскими франтами, из которых средний, атлет страшного роста, косая сажень в плечах, с усами а la Napoleon III, выпятив вперед высоко поднятый локоть левой руки, сорвал с себя шляпу и, сделав Полинке гримасу, сказал: – Же ву сало, мадам* [Н. С. Лесков. Некуда. 1864] (НКРЯ).

Переносное значение слова *атлет* 'богатырь, силач' впервые фиксируется в словаре 1861 года, ср. *атлет* 'вообще человек сильно сложенный' (Полный словарь иностранных слов 1861, с. 59), далее — у А. Д. Михельсона и в более поздних словарях. Отметим, что в словаре Михельсона дефиниция переносного значения немного расширена — 'вообще человек, сильный телом или духом' (Михельсон 1865, с. 70). Не исключено, что добавочный компонент «и духом» отсылает к указанному выше значению 'о выдающемся деятеле (в искусстве, науке и т. п.)'.

Последняя четверть XIX века ознаменовалась бурным развитием спортивного движения в мире. Зародившись и быстро распространившись в Англии уже в 1860-е годы, быстро привившись в Северной Америке, оно, однако, с некоторым недоверием, а порой и враждебностью воспринималось в континентальной Европе вплоть до 1880-х годов (еще в 1870-е годы можно встретить многочисленные публикации педагогов о вреде спортивных упражнений). Развитию спорта способствовало расширение системы государственных школ, в которых спортивные игры и упражнения стали обязательным элементом обучения и воспитания. Мощный импульс для распространения в мире спорт получил к началу движения Олимпийских игр в 1890-х годах (Naul, Scheuler 2020, p. 24–25).



Эти изменения непосредственным образом сказались на развитии у слова *атлет* «спортивного» значения, калькированного из европейских языков (французского, немецкого и английского):

(14) Среди английской университетской молодежи поэтому и встречаются гораздо чаще *атлеты*, нежели мыслители [Вестник Европы. 1872] (СРЯ XIX). Касалось — разрешить вопрос, кто лучший гонщик сезона, а звание это могут оспаривать двое — Жаклэн и Морэн. Действительно эти *два атлета* должны быть признаны героями сезона [Самокат. 26.10.1896] (СРЯ XIX).

Отметим, что спортивное значение слово *атлет* не имело определенности в русском языке (как и в других языках): лексема употреблялась для обозначения как спортсмена вообще, так и участника определенных видов спорта, в том числе и тех, которые не относятся сейчас к атлетике (например, футбола). В разных странах семантическое наполнение слова *атлет* не совпадало: так, во французской культуре это слово чаще использовалось для обозначения *легкоатлета*, в немецкой — *тяжелоатлета*. В русском языке, видимо под влиянием немецкого языка, слово *атлет* развивает значение 'спортсмен, занимающийся борьбой или поднятием тяжестей':

(15) В поднимании гирь участвовало 9 *атлетов*, из них двое знакомы петербуржцам — Лаас и Кливе [Спорт. 09.06.1900]; Итальянский *атлет* Снотти выиграл всех *атлетов* мира, преимущественно победителей всемирного чемпионата в борьбе, на матч по подыманию тяжестей [Спорт. 08.01.1902] (СРЯ XIX).

Наконец в самом конце XIX века в русский язык (из французского или английского) проникает значение 'амплуа циркового артиста; цирковой силач'<sup>2</sup>:

(16) Действительно, его [Микешина] руки казались такими, что им могли бы позавидовать *атлеты*, которые показываются в цирке [Исторический вестник. 1897] (СРЯ XIX).

«Цирковое» значение слова *атлет* нечетко отделялось от спортивного: на рубеже XIX—XX веков многие профессиональные спортсмены (прежде всего борцы) выступали в цирках, то есть сферы циркового искусства и спорта не были отделены друг от друга; ср.:

(17) Но из всех людей, причастных цирку, *атлеты* и профессиональные борцы вызывали у доктора Луховицына особенное восхищение, достигавшее размеров настоящей страсти [А. И. Куприн. В цирке. 1902] (СРЯ XIX).

---

<sup>2</sup> Во французском переосмысление термина *athlète* и вхождение его в смысловую сферу цирковых развлечений связано с таким фактом: династия наездников Франкони в 1807 году открыла новый амфитеатр на улице Мон-Табор в Париже. Выбрав название «Олимпийский цирк», Франкони апеллировали к древнегреческим играм, подчеркивая тем самым величие и историческую значимость своих представлений. В этом цирке выступали атлеты, гимнасты, шуты и дрессированные звери, а верховая езда всегда была важной частью представлений (Trésor n. d.).



Таким образом, на протяжении XVIII–XIX веков семантическая структура корневого слова *атлет*, складываясь под сильным влиянием иноязычных источников, в первую очередь на французском языке, претерпела значительную трансформацию. Войдя в русский язык как элемент культуры Античности, укоренившейся в европейских культурах эпохи Просвещения и, под их влиянием, в русской культуре Нового времени, это слово имело книжный характер, который сохраняло и в переносном употреблении первой половины XIX века, когда использовалось для обозначения выдающихся деятелей (прежде всего писателей и поэтов).

Ситуация меняется, когда слово *атлет* начинает фигурировать в значении ‘человек, обладающий мощной мускулатурой, очень большой силой’ и особенно в спортивном и цирковом значениях, которые к концу XIX века вытесняли из употребления метафорические значения, связанные с моральной, религиозной сферами, областью литературы и искусства.

Произошедшие семантические и стилистические сдвиги напрямую проявились в изменении словообразовательных особенностей слова *атлет*, о которых речь пойдет далее.

#### 4. Расширение словообразовательного ряда

В языке XIX века происходило стремительное пополнение ряда однокоренных слов, заимствованных или созданных на русской языковой почве: существительных (*атлетика, атлетизм, атлетоман, атлетка*), прилагательных (*атлетистый, атлетический, атлетичный*), наречий (*атлетически*; часто как обстоятельство образа действия: *атлетически сильный, атлетически изящный, атлетически сложенный, атлетически развитый*).

Семантическая структура производных слов чаще всего повторяла иноязычные прототипы, и это ярко проявляется и в значениях, и особенно в терминологических сочетаниях и коллокациях: *атлет (+ no)* – франц. *athlète par* (*атлет по сложению* [Телескоп. 1832] (СРЯ XIX), *атлет по росту и силе* [И. А. Гончаров. Обрыв. 1869] (СРЯ XIX)); *цирковой атлет* – франц. *athlète de cirque*, англ. *circus athlete*, нем. *Zirkusathlet*; *атлетизм* – англ. *athletism, athleticism*, франц. *athlétisme*; *легкая атлетика* – нем. *Leichtathletik* и т. д.

Калькированный характер прослеживается в многочисленных сочетаниях с прилагательным *атлетический*, описывающих внешность человека: *атлетическая красота* (франц. *beauté athlétique*, нем. *athletische Schönheit*); *атлетическая сила* (франц. *force athlétique*, нем. *athletische Stärke*); *атлетическая фигура* (франц. *figure athlétique*, нем. *athletischer Figur*); *атлетический рост* (франц. *taille athlétique*, нем. *athletische Größe*); *атлетическое телосложение* (франц. *constitution athlétique*, нем. *athletischer Körperbau*); *атлетическое тело* (франц. *corps athlétique*, нем. *athletischer Körper*) и пр. К ним примыкают наречно-адъективные сочетания типа *атлетически сложенный* (франц. *athlétiquement constitué*, нем. *athletisch gebaut*) или *атлетически развитый* (франц. *athlétiquement développé*, нем. *athletisch entwickelt*). Впервые прилагательное *атлетический* в значении ‘подобный ат-



лету, крепкий, сильный' фиксируется в словаре иностранных слов 1861 года (Полный словарь иностранных слов 1861, с. 59), эта дефиниция повторяется у Михельсона (Михельсон 1865, с. 70).

Спортивное значение прилагательного *атлетический* сопровождалось появлением в русском языке устойчивого сочетания *атлетический спорт* (англ. *athletic sport*, франц. *sport athlétique*, нем. *athletischer Sport*), заимствованный характер которого особенно заметен при его употреблении в форме мн. числа:

(18) *Будь Бофор более склонен к атлетическим спортам, он оценил бы лучше старания мальчика не отставать от него ни на шаг* [Вестник Европы. 1893] (СРЯ XIX) (ср. англ. *athletic sports*, франц. *sports athlétiques*).

Однако преимущественно калькированный характер многих дериватов слова *атлет* не исключал и действие собственно языковых механизмов русского языка. Выше отмечалась калька-фраза *легкая атлетика* (от нем. *Leichtathletik*), однако составляющая ему пару конструкция *тяжелая атлетика* сформировалась на русской почве (по той же модели), став синонимом выражения *поднятие тяжестей* (ср. англ. *weightlifting*, нем. *Gewichtheben*). Первые случаи употребления словосочетаний относятся к рубежу веков:

(19) *По тяжелой атлетике первенствовал Г. К. Мейер, вытолкнувший двумя руками 8 пудов 3 фунта и 6 пудов одною рукою* [Самокат. 20.03.1899]; *Прежде публика была уверена, что в Атлетическом обществе можно только заниматься атлетикой, т. е. вернее сказать тяжелой атлетикой, между тем как теперь та же публика все больше и больше приходит к убеждению, что это мнение совершенно ложно* [Спорт. 27.11.1900] (СРЯ XIX).

Появление сочетаний *легкая атлетика* и *тяжелая атлетика* не только стало способом преодоления многозначности слова *атлетика*, способного в конце XIX века обозначать разные виды спорта, но и породило, в свою очередь, словосочетания *легкий атлет* и *тяжелый атлет*, которые предшествовали современным однословным номинациям *легкоатлет* и *тяжелоатлет*. Новизна и неузальный характер фраз подчеркивается в примере (20) употреблением кавычек:

(20) *Так, например, в метании ядра весом в ½ пуда, кажется, должны были бы отличаться атлеты, между тем как каждый способный и тренированный «легкий» атлет перебросит «тяжелого» атлета, так как тяжелая атлетика делает мускулы неэластичными* [Спорт. 12.01.1902] (СРЯ XIX).

Сочетания *легкий атлет*, *тяжелый атлет* свидетельствуют и еще об очень важном изменении в отношениях производности в составе гнезда: при употреблении слова *атлет* в спортивном значении оно, по сути, становится в отношении семантической производности к словам *атлетика*, *атлетизм*: эти слова начинают обозначать определенный вид человеческой деятельности, а слово *атлет* — их участника. Эту деривационную перемаркировку отражают словообразовательные словари современного русского языка.



Действие языковых механизмов русского языка можно проследить в конкуренции и дифференциации паронимических прилагательных *атлетический* и *атлетичный*. Французский суффикс *-ique* мог передаваться на русский прилагательными на *-ический* или *-ичный*. Этот факт хорошо известен языку XIX века: «практически все прилагательные на *-ический*, где возможны качественные значения, имеют параллельные образования на *-ичный*» (Сорокин 1965, с. 169)<sup>3</sup>. Однако их употребление, судя по нашим материалам, было в значительной мере семантически и прагматически дифференцированным.

Лексема *атлетический* чаще всего семантически связана с физическим развитием, силой, выносливостью, используется для описания физических характеристик человека (рост, фигура, телосложение), имеет нейтральные или положительные коннотации, ассоциированные с идеалом физического совершенства; ср. примеры: *атлетическое телосложение*, *атлетическая фигура*, *атлетические упражнения*.

Лексема *атлетичный* обычно имеет более эмоциональную окраску, указывая на энергичность, динамичность, силу духа, может использоваться как для описания физических черт, так и для характеристики действий, манеры, стиля, может иметь как положительную, так и отрицательную коннотацию, в зависимости от контекста (например, для описания грубой силы, агрессивности, недостаточной степени мастерства):

(21) *Кузнец должен уметь представить размерные удары молотка по наковалне; позы его должны быть атлетичны, а движения порывисты, неровны и сильны* [К. Блазис. Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы. Пер. с фр. 1864] (СРЯ XIX);

(22) *По-прежнему, талант г. Сливинского недостаточно атлетичен для передачи Бетховена...* [В. Е. Чехихин. Отголоски оперы и концерта. 1896] (СРЯ XIX).

Таким образом, во второй половине XIX века слово *атлетичный* имело более широкое значение, чем *атлетический*, и могло употребляться для описания не только физических, но и более абстрактных качеств, связанных с мастерством, точностью движений, энергией исполнения музыкального произведения (метафорически). Это напрямую обуславливалось способностью прилагательного *атлетичный* иметь краткую форму и, как следствие, использоваться в позиции предиката, которая способствовала развитию у него оценочного употребления.

Эти различия повлияли и на словообразовательную мотивацию прилагательных *атлетический* и *атлетичный*. В XVIII веке прилагатель-

<sup>3</sup> Ср. аналогичное утверждение: «Окончание *-ический* обыкновенно переводит к нам иностранные прилагательные на *-icus* (франц. *ique*, нем. *isch*): *критический*, *физический*; иногда, для сокращения формы и для удобства образования краткого прилагательного, употребляется в том же значении суффикс *-ичный*: *поэтичный*, *логичный*, т.е. к французскому окончанию *ique* прилагается наш обычный суффикс *-ный*, причем предшествующий звук К (*que*) превращается в Ч» (Грот 1876, с. 350).



ное *атлетический* имело только одну деривационную мотивацию (*атлет* > *атлетический*), однако в течение XIX столетия стало рассматриваться также как дериват от слов *атлет*, *атлетка*, *атлетика*, *атлетизм*:

(23) Самые популярные из всех *атлетических* упражнений бег, кулачный бой и гребля в лодках [Е.Н. Водовозова. Жизнь европейских народов. 1881]; *Атлетические* упражнения на гимнастических снарядах справедливо осуждаются многими гигиенистами как изменяющие форму и симметрию тела тем, что только некоторые мышцы тела наделяются *атлетическими* свойствами – силой и ловкостью, между тем как все другие органы от этого ничего не выигрывают, и в худшем случае им наносится непоправимый вред [Вестник воспитания. 1891]; Но в конце заседания г. Демчинскому дали, что называется на языке *атлетических* состязаний, «подножку» – и очень скверную подножку [Стрекоза. 04.11.1901] (СРЯ XIX).

В приведенных примерах прилагательное *атлетический* может быть рассмотрено как производное и от *атлет* (при помощи суффикса *-ическ-*), и от *атлетика*, *атлетизм* (при помощи суффикса *-еск-*). Это напрямую обуславливалось отмеченным выше изменением семантической производности между словами *атлет* и *атлетика*, *атлетизм*. Отметим, что А.Н. Тихонов считает современное прилагательное *атлетический* производным от всех этих существительных (2014, с. 41).

Вместе тем эти процессы не затронули прилагательное *атлетичный*: возникшее в XIX веке, оно имело семантико-словообразовательную производность только от слова *атлет* (в разных значениях, особенно с качественным или метафорическим оттенком).

Аналогично прилагательному *атлетичный* только со словом *атлет* было связано прилагательное *атлетистый*, единично отмеченное в русском языке XIX века:

(24) Тоже цель была завлечь одного молодого человека – фельдшера. Красавец был, колос <так!>, государь мой, мужчина атлетистый. Ну, и наметила его Анна Алексеевна [Д. А. Вилинский. Бытовые охотничьи рассказы. 1892] (СРЯ XIX).

Так «в синхронической плоскости оказывались связанными словообразовательными отношениями в русском языке слова, диахронически являющиеся однокоренными заимствованиями разного времени, а иногда и из разных языков» (Акуленко 1972, с. 176).

## 5. Гендерно ориентированные номинации

Развитие спортивного движения в России и в мире шло рука об руку с движением феминизма: многие женщины стремились проявить себя в сфере спорта, заявить о своих правах и составить конкуренцию мужчинам в различных видах спорта. Участие женщин в спортивных состязаниях привело к многочисленным сдвигам как в культурно-поведенческих моделях, так и в языке. В связи с первым аспектом отметим неприятие значительной частью общества (не только мужской, но и еще в большей степени женской) женщин-спортсменок.



Первым видом спорта, вызвавшим активное образование феминитивов, стала езда на велосипеде. Для обозначения женщин, которые катались на велосипедах, в языке синхронно появились слова *велосипедистка*, *самокатчица*, *самокатница* (отмечаются с 1894 года), *циклистка* (с 1895 года), отражая быстрое распространение моды на велосипед — первый вид спорта, который стал массовым. Разрушение границ между мужским и женским поведением, в частности в области костюма, вызывало даже общественное порицание, ср.:

(25) В приказах по петербургской полиции напечатано, что 20-го минувшего сентября, в 6 часу вечера, г. градоначальником были замечены на Невском проспекте ехавшие в несоответствующих, обращающих на себя внимание публики, костюмах две *велосипедистки* [Циклист. 30.10.1897].

В области языка процесс феминизации спорта вызывал, с одной стороны, выработку феминитивов для обозначения участниц спортивных состязаний, а с другой — поиск речевых моделей для описания и оценки женщин-спортсменок.

Анализ гендерной дифференциации в описаниях *атлетов* и *атлеток* позволяет, во-первых, проанализировать, как в корпусном материале нашего исследования характеризуются, описываются мужчины-атлеты и женщины-атлетки, и, во-вторых, выявить гендерные стереотипы.

Слово *атлетка* отражает в своей семантике не все значения формы *атлет*, а прежде всего указывает на большую физическую силу женщины, вызывающую удивление, восхищение, неодобрение и прочие эмоции окружающих людей.

Для обозначения женщины-силачки одновременно в русском языке появилось два феминитива с разной этимологической мотивировкой и производящим словом. Метафорическое обозначение женщины-силачки *геркулеска* (1879) было этимологически мотивировано возможным иностранным прототипом *Female Hercules* в русской словообразовательной огласовке:

(26) Около балагана с вывеской «Американка огнеетка 10 лет и *геркулеска*» стоит купец, с ребятишками в лисьих тулупчиках [Н. А. Лейкин. Шуты гороховые. 1879] (СРЯ XIX).

В этом примере упомянуты два популярных цирковых амплуа — пожиратели огня (*fire-eaters*) и силачки (часто называемые «женщинами-Геркулесами», *Female Hercules*). В описываемую Лейкиным эпоху особенно популярной была Кэти Сандвина (*Katie Sandwina*) и Вулкана (*Vulcana*), которую часто называли «женщиной-Геркулесом» (*The Female Hercules*), они славились своей силой и выступали в цирках Европы и Америки, в том числе и в России.

Вскоре, в 1882 году, фиксируется производное слово *атлетка* от уже давно существовавшего в русском языке слова *атлет* в корреспондирующем значении маскулинитива 'человек, занимающийся физическими



упражнениями, тренирующий тело' как языковой факт, отражавший активно развивавшееся в 1860—1870-е годы движение женской эмансипации:

(27) Я даже полагаю: вздумай женщина выработать свои физические силы до грубой степени, природа нисколько не воспротивится удовлетворить этому честолюбивому желанию. Чтобы воспитать молодых **атлеток**, ничего более не требуется, кроме с раннего детства начатых непрерывных телесных упражнений и укрепления мускулов [Русская мысль. 1882] (СРЯ XIX).

Примечательно, что первая фиксация слова *атлетка* отражает неодобрительно-оценочные коннотации слова, обусловленные тем, что в европейской культуре до середины 1880-х годов господствовало скорее отрицательное отношение к спорту.

В самом конце XIX века появляется специализированное употребление для обозначения женщины-силачки (обычно иностранки), выступающей в цирковых номерах:

(28) Мисс Арниотис свободно поднимает двумя руками стул, на котором укрепляется длинная доска. Человек солидных размеров влезает на эту доску и раскачивается то вправо, то влево, делая самые порывистые и непредвиденные движения... Сила **атлетки** сосредоточивается не только в ее руках: челюсти ее также сильно развиты. <...> «Гвоздь» представления составляет следующий номер: пять человек садятся на доску, укрепленную на стуле, и при неистовых аплодисментах публики **силачка**, улыбаясь, без заметного напряжения, поднимает их на воздух [Вестник иностранной литературы. 1897] (СРЯ XIX).

К концу XIX века русском языке складывается семантическое гнездо, представленное пятью элементами: однословными производными *атлетка*, *геркулеска*, *силачка* и двусловными кальками-композициями *дама-атлетка* (англ. *lady athlete*), *женщина-атлетка* (англ. *woman athlete*):

(29) Четвертая атлетка — г-жа Я., замужняя особа, которая своею физическою силой значительно превосходит своего мужа. Против же других **дам-атлеток** она стоит гораздо ниже. В то время как другие выжимают около двух с половиною пудов одною рукой, она то же делает лишь двумя... [Циклист. 21.12.1897].

(30) Давно уже в числе артисток были цирковые наездницы и акробатки, теперь же несколько дам, между ними одна наша соотечественница, москвичка Роза Катовская, до такой степени развили свои мускулы, что выступили на подмостках настоящими борцами. Местом этого изумительного состязания служил кафе-шантаный театрик «Колосеум» в Вене, и **женщины-атлеты** производили сенсацию [Циклист. 10.03.1901].

Описательные номинации с компонентом *женщина* (реже *дама*) широко использовались для обозначения женщин, занимавшихся спортом. В литературе рубежа XIX—XX веков встречаются *женщины-авиаторы*, *-гребцы*, *-боксеры*, *-жокеи*, *-пловцы* и т.д. Необходимо отметить чрезвычайно важный количественный аспект употребления феминитивов: численно аналитические (калькированные лексемы) и синтетические формы феминитивов с суффиксом *-к(а)* практически уравнивали



друг друга, причем именно аналитические формы выполняли дискурсивную функцию, связанную с вводом в русский языковой обиход и визуализацией в нем спортивных феминитивов.

Синтагматическое окружение лексем *атлет* и *атлетка* радикально не совпадает. Типичные характеристики мужчины-атлета — *крепкого телосложения, большой физической силы, с мощной мускулатурой, высокого роста, рослый, плечистый, необъятной силы, несокрушимого здоровья, страшного роста, мускулезный, крепко-сложенный* и т. д.; наиболее частотные характеристики женщины-атлетки — *королева пушек, могучее телосложение, блестящий успех, геркулеска, силачка, неистовые формы*. Приведем несколько примеров (31 — 34).

(31) Ярмарки — повсеместны; <...> видите ярмарку в полном разгаре, с балаганами, парусинными шалашами, с трактирами, смрад из которых достигает даже до парохода, с разными фокусниками, шарманками, девицей «геркулеской», показывающей за три копейки свои **неистовые формы**, и т. д. [Г. И. Успенский. Мелкие агенты крупных предприятий. 1887] (СРЯ XIX);

(32) Жаль было одну *девку* — она ночью просидела на веслах два перегона — по почтовым правилам и **коней запрещено гонять разом на два станка**. Эта атлетка, не отстававшая от ямщиков в гребле и отпихивании шестом, была **русская по типу, и по костюму**, но ни слова не понимала по-русски; она с русскими ямщиками все время болтала по-якутски [Вестник Европы. 1898] (СРЯ XIX);

(33) Сила атлетки сосредоточивается **не только в ее руках: челюсти ее также сильно развиты** [Вестник иностранной литературы. 1897] (СРЯ XIX);

(34) Ревельская атлетка *г-жа Беллинг* дебютировала недавно в Варьете «на горке». Она имела **блестящий успех**, что подтвердили и все местные газеты; в последний вечер ее дебюта ей был преподнесен от имени любителей спорта **роскошный лавровый венок** [Спорт. 29.06.1902] (СРЯ XIX).

Представленный список коллокаций дает возможность квалифицировать очевидную гендерную дифференциацию и дискурсивную сегрегацию. Описание мужчин-атлетов акцентируется на их физической силе, мускулатуре и телосложении, часто упоминаются такие качества, как *крепкий, мощный, высокий, рослый, плечистый*. Внимание уделяется их физическим достижениям и способностям, например *поднимающий тяжести, борец*. Однако все эти качества не выступают за рамки общепринятых стереотипов.

Описание женщин-атлеток также включает физическую силу, причем гиперболизированное сравнение может происходить даже не с мужской силой, а с мощью коней (впрочем, эта метафора-прецедент не была чужда русскому языковому сознанию, ср.: «коня на скаку остановит». Н. Некрасов). Также акцентируются внешние признаки (*русская по типу и костюму, челюсти сильно развиты, неистовые формы, «юный возраст, малый рост (два арш<ина> полтора вершка) и незначительный вес тела (3 пуда)»*), упоминаются такие профессионально-характеризующие качества, как *дама-атлетка, королева пушек; [г-жа М. С. П-ва] имеет свой «особый номер», <...> а именно поднятие тяжести на груди и выжимание штанг «с моста»* [Циклист. 03.10.1898] (СРЯ XIX) с целью подчеркнуть не столько их уникальность, исключительность, необычность в социуме



и профессиональном мире с упоминанием спортивных успехов и достижений (*блестящий успех; роскошный лавровый венок* – традиционный символ оценивания, чествования побед мужчин, начиная с античности), сколько маргинальность. Поначалу *атлетки* – это, как правило, иностранки, но к концу XIX века ими становятся и русские женщины; крепнет медийный дискурсивный маркер, указывающий на «заразительность», инициированную и мотивированную мужчинами:

(35) Г-жа П-ва «заразилась» спортивным увлечением от своего брата, горного студента Н. С. П., который считается одним из лучших *атлетов* Петербурга [Циклист. 03.10.1898] (СРЯ XIX).

Семантический объем слова *атлетка* оказывается значительно уже, чем слова *атлет*, и основывается на двух ведущих семантических компонентах: 1) 'женщина с *исключительной* физической силой', 2) '*профессионально* занимающаяся силовыми видами спорта или цирковыми выступлениями'. В слове очень сильны социально-маркированные и индивидуально-авторские коннотации.

Таким образом, анализ гендерных номинаций, отражающих формирующиеся в конце XIX – начале XX века представления о мужчинах и женщинах с невероятной физической силой, выявляет ярко выраженные гендерные стереотипы. Мужчины-атлеты в первую очередь ассоциировались с физической силой и ее внешней «представленностью» в мышцах, мускулах, высоком росте, ширине плеч, а женщины с атлетическим сложением представлялись скорее подчеркнуто описательно, через словесную визуализацию антуража совершаемых ими действий, призванных вызывать ошеломляющее удивление. Эту визуально-дискурсивную модель дополняло упоминание о нестандартной внешности. Такие стереотипы были характерны для массового сознания конца XIX – начала XX века и отражали господствующие представления о гендерных ролях.

## 6. Заключение

Разноаспектный анализ слова *атлет* (и его дериватов) объемно демонстрирует жизнь слова на протяжении двух столетий и те факторы, которые оказывают влияние на его трансформацию.

1. История «атлетической» лексики хорошо показывает смену культурных ориентиров общества в XVIII – XIX веках: интерес к Античности в эпоху классицизма смещается к этике и творчеству отдельного человека в эпоху романтизма, затем к развитию физических сил и спорту, к вопросам феминизма с последней четверти XIX века. Культурные сдвиги находили самое прямое отражение в развитии семантической структуры слова *атлет*, в динамике его словообразовательных возможностей, в модификации стилистической окраски.

2. Изучение истории гнезда подчеркивает тесные культурно-языковые связи русской культуры и европейской. Значительная часть значе-



ний слова *атлет*, а также целый ряд сочетаний были результатом прямого калькирования. Вместе с тем в истории гнезда проявлялось и действие внутренних механизмов русского языка.

3. История гнезда демонстрирует этапы формирования русской спортивной терминологии в конце XIX века, изучение которой еще ждет своего исследователя. Развитие «спортивных» значений у слова *атлет* привело к его стилистической нейтрализации, резкому расширению деривационных возможностей.

4. История слова *атлетка* и его синонимов в конце XIX — начале XX века служит важным источником для изучения истории феминизации русской культуры и языка, истории формирования гендерных стереотипов. Для феминитива *атлетка* и его синонимов был характерен ярко выраженный оценочный характер (в отличие от слова *атлет*), обусловивший его функционирование в контекстах, указывавших на исключительность (в различных отношениях) женщин-атлеток.

#### Список источников и литературы

Акуленко, В. В., 1972. *Вопросы интернационализации словарного состава языка*. А. В. Федоров, ред. Харьков. [Akulenko, V. V., 1972. *Voprosy internatsionalizatsii slovarnogo sostava yazyka* [Issues of internationalization of the vocabulary of the language]. A. V. Fedorov, ed. Kharkov (in Russ.)].

Аникин, А. Е., 2007. *Русский этимологический словарь*. Вып. 1: а — аяюшка. М. [Anikin, A. E., 2007. *Russkii etimologicheskii slovar'* [Russian etymological dictionary]. Iss. 1: а — ayayushka. Moscow (in Russ.)].

Апресян, Ю. Д., 1995. *Избранные труды*. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М. [Apresyan, Yu. D., 1995. *Izbrannyye trudy* [Selected works]. Vol. 2: Integral description of language and systemic lexicography. Moscow (in Russ.)].

Апресян, Ю. Д., 2006. Основные принципы и понятия системной лексикографии. *Языковая картина мира и системная лексикография*. М., с. 33–74. [Apresyan, Yu. D., 2006. Basic principles and concepts of systemic lexicography. In: *Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya* [Linguistic worldview and systemic lexicography]. Moscow, pp. 33–74 (in Russ.)].

Булаховский, Л. А., 1954. *Русский литературный язык XIX столетия*. М. [Bulakhovsky, L. A., 1954. *Russkii literaturnyi yazyk XIX stoletiya* [Russian literary language of the 19th century] Moscow (in Russ.)].

Веселитский, В. В., 1972. *Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в.* М. [Veselitskiy, V. V., 1972. *Otolechennaya leksika v russkom literaturnom yazyke XVIII — nachala XIX v.* [Abstract vocabulary in the Russian literary language of the XVIII — early XIX century]. Moscow (in Russ.)].

Виноградов, В. В., 1979. *История слов. Около 1500 слов и выражений и более 5000 слов, с ними связанных*. М. [Vinogradov, V. V., 1979. *Istoriya slov. Okolo 1500 slov i vyrazhenii i bolee 5000 slov, s nimi svyazannykh* [The history of words. About 1,500 words and expressions and more than 5,000 words related to them]. Moscow (in Russ.)].

Вяземский, П. А., 1878. *Полное собрание сочинений князя Петра Андреевича Вяземского*. Т. 1. СПб. [Vyazemsky, P. A., 1878. *Polnoe sobranie sochinenii knyazya Petra Andreevicha Vyazemskogo* [The complete works of Prince Peter Andreevich Vyazemsky]. Vol. 1. St. Petersburg (in Russ.)].



Грот, Я.К., 1876. *Филологические разыскания: Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне*. Т. 2. СПб. [Grot, Ya.K., 1876. *Filologicheskie razyskaniya: Sportnye voprosy russkogo pravopisaniya ot Petra Velikogo donyne* [Philological research: controversial issues of Russian spelling from Peter the Great to the present]. Vol. 2. St. Petersburg (in Russ.).]

Михельсон, А.Д., 1865. *Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык*. М. [Mikhelson, A.D., 1865. *Ob' yasnenie 25000 inostrannykh slov, voshedshikh v upotreblenie v russkii yazyk* [Explanation of 25,000 foreign words used in the Russian language]. Moscow (in Russ.).]

Мишати́на, Н.Л., 2018. Методическая лингвоконцептология и ее терминосистема. *Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена*, 1 (188), с. 153–164. [Mishatina, N.L., 2018. Methodological linguoconceptology and its terminological system. *Izvestiya Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena* [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences], 1 (188), pp. 153–164 (in Russ.)] EDN: YQVMZN.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <https://ruscorpora.ru> (дата обращения: 12.09.2024) [NKRYa – Natsional'nyi korpus russkogo yazyka [NKRYA – National Corpus of the Russian Language]. Available at: <https://ruscorpora.ru> [Accessed 12.09.2024] (in Russ.).]

*Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка*, 1861. СПб. [Polnyi slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazyka [A complete dictionary of foreign words included in the Russian language], 1861. St. Petersburg (in Russ.).]

Роллен, Ш., 1760. *Древняя история об египтянах о карфагенянах об ассирианах о вавилонянах о мидянах, персах о македонянах и о греках*. Сочиненная чрез г. Роллена бывшего ректора Парижского университета, профессора элоквении и прочая. А ныне с французского переведенная чрез Василья Тредиаковского профессора элоквении и члена Санктпетербургския Императорския Академии наук. Т. 5. СПб. [Rollin, Ch., 1760. *Drevnyaya istoriya ob egiptyanakh o karfagenyanakh ob assirianakh o vavilonyanakh o midyanakh, persakh o makedonyanakh i o grekakh*. Sochinennaya chrez g. Rollenya byvshago rektora Parizhskago universiteta, professora elokvetsii i prochaya. A nyne s frantsusskago perevedennaya chrez Vasil'ya Trediakovskago professora elokvetsii i chlena Sanktpeterburgskiya Imperatorskiiya Akademii nauk [The ancient history of the Egyptians, the Carthaginians, the Assyrians, the Babylonians, the Medes, the Persians, the Macedonians and the Greeks. Composed by G. Rollin, the former rector of the University of Paris, Professor of eloquence, and others. And now translated from French by Vasily Trediakovsky, Professor of the Russian Academy of Sciences and a member of the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences]. Vol. 5. St. Petersburg (in Russ.).]

Савчук, С.О., Архангельский, Т.А., Бонч-Осмоловская, А.А., Дони́на, О.В., Кузнецова, Ю.Н., Ляшевская, О.Н., Орехов, Б.В., Подрядчикова, М.В., 2024. Национальный корпус русского языка 2.0: новые возможности и перспективы развития. *Вопросы языкознания*, 2, с. 7–34. [Savchuk, S.O., Arkhangel'skiy, T., Bonch-Osmolovskaya, A.A., Donina, O.V., Kuznetsova, Y.N., Lyashevskaya, O.N., Orekhov, B.V. and Podryadchikova, M.V., 2024. Russian National Corpus 2.0: New opportunities and development prospects. *Voprosy jazykoznanija* [Topics in the study of language], 2, pp. 7–34 (in Russ.)] EDN: AATSXV, <https://doi.org/10.31857/0373-658X.2024.2.7-34>.

Соколова, М.Г., 2024. «Фреш или не фреш?» (Лингвистическое портретирование слова фреш в современном публицистическом дискурсе). *Русская речь*, 1, с. 49–59. [Sokolova, M.G., 2024. "Fresh or not Fresh?" (Linguistic portraying of the word фреш (fresh) in modern journalistic discourse). *Russkaia rech* [Russian speech], 1, pp. 49–59 (in Russ.)] EDN: JHZUPF, <https://doi.org/10.31857/S0131611724010042>.



Сорокин, Ю. С., 1965. *Развитие словарного состава русского литературного языка. 30–90-е годы XIX века*. М.; Л. [Sorokin, Yu.S., 1965. *Razvitie slovarnogo sostava russkogo literaturnogo yazyka. 30–90-e gody XIX veka* [The development of the vocabulary of the Russian literary language. The 30–90s of the 19th century]. Moscow; Leningrad (in Russ.)].

СРЯ XVIII – *Словарь русского языка XVIII века*, 1984. Вып. 1: А – Безпристрастие. Л. [SRYa XVIII – *Slovar' russkogo yazyka XVIII veka* [Dictionary of the Russian language of the XVIII century], 1984. Iss. 1: A – Bezpristrastie. Leningrad (in Russ.)].

СРЯ XIX – *Словарь русского языка XIX в.*, 2024. СПб. URL: <https://xix.iling.spb.ru> (дата обращения: 12.09.2024) [SRYa XIX – *Slovar' russkogo yazyka XIX v.* [SRY XIX – Dictionary of the Russian language of the XIX century], 2024. St. Petersburg. Available at: <https://xix.iling.spb.ru> [Accessed 12.09.2024] (in Russ.)].

Тихонов, А. Н., 2014. *Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным*. М. [Tikhonov, A.N., 2014. *Novyi slovoobrazovatel'nyi slovar' russkogo yazyka dlya vseh, kto khochet byt' gramotnym* [A new word formation dictionary of the Russian language for everyone who wants to be literate]. Moscow (in Russ.)].

Фасмер, М., 1986. *Этимологический словарь русского языка*. Т. 1. М. [Fasmer, M., 1986. *Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka* [Etymological dictionary of the Russian language]. Vol. 1. Moscow (in Russ.)].

Фролова, О., 2010. Лингвистический портрет слова чиновник. *Studia Rossica Posnaniensia*, 35, с. 47–55. [Frolova, O., 2010. Linguistic portrait of the word 'chinovnik'. *Studia Rossica Posnaniensia*, 35, pp. 47–55 (in Russ.)].

Черникова, Н. В., 2017. Лингвокультурологические аспекты работы со словом (материалы к урокам словесности). *Русский язык в школе*, 4, с. 17–21. [Chernikova, N.V., 2017. Linguistic and cultural aspects of working with the word (materials for literature lessons). *Russkii yazyk v shkole* [Russian language at school], 4, pp. 17–21 (in Russ.)] EDN: YKQWWF.

Черных, П. Я., 1999. *Историко-этимологический словарь*. Т. 1: А – Пантомима. 3 изд. М. [Chernykh, P. Ya., 1999. *Istoriko-etimologicheskii slovar'* [Historical and etymological dictionary]. Vol. 1: A – Pantomime. 3d ed. Moscow (in Russ.)].

Яновский, Н. М., 1803. *Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий: разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины: в 3 ч.* Ч. 1. СПб. [Yanovsky, N.M., 1803. *Novyi slovotolkovatel', raspolozhennyy po alfavitu, sodержashchii: raznye v rossiiskom yazyke vstrechayushchiesya inostrannye recheniya i tekhnicheskie terminy: v 3 ch.* [A new dictionary, arranged alphabetically, containing: various foreign phrases and technical terms found in the Russian language: in 3 vol.]. Vol. 1. St. Petersburg (in Russ.)].

Christiani, W. A., 1906. *Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17. und des 18. Jahrhunderts*. Berlin.

Deleyre, A., 1756. *Analyse de la philosophie du chancelier François Bacon avec sa vie*. T. 1. Leyd.

Fairclough, N., 2001. *Language and power*. Harlow.

Naul, R. and Scheuler, C., 2020. Introduction. In: *Research on physical education and school sport in Europe*. Aachen, pp. 10–21.

Rollin, Ch., 1733. *Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Grecs*. Par M. Rollin, ancien Recteur de l'Université de Paris, Professeur d'Eloquence au Collège Royal, & Associé à l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. T. 5. Paris.

*Trésor de la langue Française informatisé*, n. d. Available at: <http://www.atilf.fr/tlfi> [Accessed 12.09.2024].

Van Dijk, T. A., 1993. Principles of critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 2, pp. 249–283.



## Об авторах

*Руднев Дмитрий Владимирович*, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия; профессор кафедры русского языка, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-3264-9483

E-mail: rudnevd@mail.ru

*Зеленин Александр Васильевич*, доктор филологических наук (PhD), независимый исследователь, Санкт-Петербург, Россия.

ORCID ID: 0000-0003-2656-8457

E-mail: f1alze@yandex.ru

### Для цитирования:

*Руднев Д. В., Зеленин А. В.* «Атлеты веры, атлеты сцены...»: лингводискурсивный анализ деривационного гнезда в русском языке XVIII — начала XX века // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 134 — 153. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-9.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ  
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## "ATHLETES OF FAITH, ATHLETES OF THE STAGE...": LINGUISTIC AND DISCURSIVE ANALYSIS OF THE DERIVATIONAL FAMILY IN RUSSIAN FROM THE 18TH TO THE EARLY 20TH CENTURIES

*Dmitry V. Rudnev<sup>1,2</sup>, Alexander V. Zelenin<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences,  
9 Tuchkov Per., St. Petersburg, 199053, Russia

<sup>2</sup> Herzen State Pedagogical University of Russia,  
48 Moika River Emb., St. Petersburg, 191186, Russia

<sup>3</sup> Independent Researcher

Submitted on 13.09.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-9

*This article delves into the dynamics of the semantic field surrounding the word 'atlet' (athlete) and its derivatives in the Russian language from the 18th to the early 20th centuries. Drawing upon theoretical frameworks of linguistic portraiture and discourse analysis, this study provides a comprehensive characterization of the phenomenon under investigation. Textual analysis reveals a transformation in the meaning of this loanword: evolving from denoting an ancient Greek 'wrestler' in the mid-18th century (with Latin or French origins) to signifying individuals engaged in physical culture by the late 19th century. Furthermore, the article explores the shifting perceptions of male and female athletes ('gerkuleska', 'atletka' — 'female Hercules figure', 'female athlete' respectively), and the associated cultural stereotypes surrounding these figures. The research demonstrates that the semantics of the entire word*



group stemming from the root – ‘atlet’ is intrinsically linked to historical and social processes, reflecting evolving societal values and orientations. The analysis investigates the reasons behind the semantic expansion of ‘atlet’, its development into a polysemous word used across diverse contexts, and elucidates the distinctions in cultural stereotypes associated with the masculine ‘atlet’ and its feminine counterpart ‘atletka’ in relation to perceptions and evaluations of physical strength. It also highlights the role of borrowings from French and English in enriching the Russian language with nuanced shades of meaning for ‘atlet’, and characterizes the connection of this entire group of cognate words to broader social and cultural changes in 19th-century Europe and Russia.

**Keywords:** borrowing, word portrait, discourse analysis, stereotype, femininity, gender, semantics, word formation

### The authors

Dr. Dmitry V. Rudnev, Leading Research Fellow, Institute for Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia; Professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0002-3264-9483

E-mail: rudnevdm@mail.ru

Dr. Alexander V. Zelenin, Independent Researcher, Saint Petersburg, Russia.

ORCID ID: 0000-0003-2656-8457

E-mail: f1alze@yandex.ru

### To cite this article:

Rudnev, D. V., Zelenin A. V., 2025, “Athletes of Faith, Athletes of the Stage...”: linguistic and discursive analysis of the derivational family in Russian from the 18th to the early 20th centuries, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 134–153. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-9.



## ИННОВАЦИОННЫЕ СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ НА РАННЕМ ЭТАПЕ СЛОЖЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ: ОПЫТ КОСТА ХЕТАГУРОВА

*Т. К. Салбиев*

Владикавказский научный центр РАН  
Россия, 363110, РСО-Алания, Пригородный район,  
с. Михайловское, ул. Вильямса, 1  
Поступила в редакцию 14.10.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-10

*Рассмотрены условия и механизмы, ставящие смыслопорождения в зависимость от контекста на раннем этапе сложения литературной традиции. На примере перевода заголовка программного стихотворения Коста Хетагурова «Ныстуан», открывающего его сборник «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»), удается показать принципиальные различия между семантикой этого слова в этнографическую эпоху и его современной интерпретацией. Далее, следуя указанию Ф.И. Буслева о том, что на своем начальном этапе литература принимает на себя не светские, а духовные обязательства перед обществом, автор демонстрирует, что заголовок стихотворения фактически оказывается смысловым интенсификатором, необходимым для усиления повелительного наклонения в открывающей стихотворение глагольной фразе «Ныббар мын!» («Прости (мне)!»). Тем самым слово в заголовке не только десемантизируется, но и утрачивает свои именные признаки, обретая глагольные свойства. Как следствие, размывается и граница между словами, которая должна быть между просодически обособленными заголовком и началом стихотворения. Одновременно «Ныстуан» обретает и особую эмоциональность, что ставит его в один ряд с глагольными и междометными заголовками, столь характерными для поэзии Коста Хетагурова. Подобная «размытость» обусловлена необходимостью приведения к общему знаменателю сложных христианских богословских понятий (в данном случае – жертвенности) и идеологем осетинской духовной традиции, обнаруживающих себя в молитвословиях и обрядовой традиции в целом. Сделан вывод, что в плане семантики Коста Хетагуров фактически исходит из этимологических значений слова «ныстуан», трактуя его в качестве осетинского аналога историко-богословского термина «канон» – как некоего «(божественного) установления, правила». Сам переход от фольклора к литературе предлагается рассматривать в рамках предложенного Ю.М. Лотманом разграничения «эстетики тождества» и «эстетики противопоставления».*

**Ключевые слова:** *семантическая структура, контекст, тождество слова, десемантизация, осетины, литература, Коста Хетагуров, христианство, покаянный канон*

### 1. Введение

Проблема взаимодействия языка и литературы на раннем этапе сложения последней никогда еще не ставилась в осетиноведении. Между тем есть достаточно оснований полагать, что только ее постановка



позволяет рассмотреть этот процесс во всей его возможной полноте — комплексно и системно. Подобное предположение основано на том общепризнанном представлении, что становление в конце позапрошлого века литературной традиции фактически одновременно означало и возникновение литературного языка. На эту нерасторжимую связь указывает В. И. Абаев, когда утверждает, что Коста Хетагуров — автор поэтического сборника «Ирон фæндыр» («Осетинская лира»), вышедшего в свет в 1899 году, является «подлинным создателем осетинского литературного языка и основоположником национальной литературы»; при этом особо подчеркивается, что «словесное мастерство» поэта заслуживает отдельного внимания (Абаев 1990, с. 542–543, 557). С ним солидарен и историк осетинской литературы Н. Г. Джусойты, справедливо полагающий, что несомненная заслуга Коста Хетагурова в том и состоит, что он, в отличие от современников, сумел преодолеть сопротивление «исторических условий», создать литературу на родном языке. Он же отмечает невозможность отелить его поэзию от языка его произведений (Джусойты 1980, с. 9, 121). Лингвист К. Е. Гагкаев уже рассматривает сам язык произведений Коста Хетагурова в органичном единстве с их стилем, который, по его мнению, столь же значим для исследователя, как и его литературные достижения, и потому должен быть предметом специального изучения (Гагкаев 1956, с. 4). В итоге становится очевидной актуальность изучения особенностей самой этой связи, возникающей между процессами сложения осетинской литературы и становления осетинского литературного языка.

На первый взгляд, складывается впечатление, что на раннем этапе сложения литературной традиции происходит главным образом преодоление фольклора; непосредственно же язык претерпевает минимальные изменения, оставаясь по-прежнему понятным и широко используемым его носителями. Наиболее зримым нововведением при этом становится обретение языком письменной формы, возникновение книжной традиции и способность носителей языка читать и писать, а также появление произведений, наделенных индивидуальным авторством. Однако теперь уже нет сомнений в том, что на этом переходном этапе язык также подвергается существенным качественным изменениям, следуя за складыванием литературной традиции.

Судя по всему, эти изменения наиболее ясно и убедительно обнаруживают себя в проблеме тождества слова (его неустойчивости, текучести как в плане фонетическом, так и в смысловом, и даже грамматическом). Обсуждение этой проблемы будет составлять основное содержание настоящей статьи и включать выяснение характера и условий возникновения этой проблемы, описание ее механизма и движущих сил, выявление обусловивших ее факторов.

Знаменательно, что уже сам Коста Хетагуров обратил внимание на лежащие на поверхности специфические свойства слова на переходном этапе к литературе. В частности, решая проблемы орфографии, он заметил, что фиксации слова, обретению им устойчивой фонетической формы помимо прочего способствует и стихотворный размер. В письме



к своему другу Гаппо Баеву, занимавшемуся подготовкой его стихотворного сборника к печати и допускавшему отступления от авторской рукописи, он выговаривал: «Если я пишу то или иное другое слово так, а не иначе, то я пишу сознательно, я над ним долго ломал голову и не хочу ни тебе, ни кому бы то ни было позволить изменять их без моего ведома, бездоказательно, и тем более в стихотворениях, где не должно быть ни одного лишнего звука или недостатка в нем и где каждая буква занимает рассчитанное заранее автором место» (Хетагуров 2001, с. 190—192). Все же обращение к текстам вышеназванного сборника убеждает в том, что при постановке проблемы тождества слова дело не ограничивается лишь орфографией, но также затрагивает и другие языковые уровни. Неоспоримым свидетельством наличия проблемы тождества слова могут стать, например, трудности, с которыми сталкивается переводчик, чей рабочий язык, как правило, относится к литературе с уже сложившейся и развитой (и потому преодолевшей эту «детскую болезнь») традицией.

Признание проблемы тождества слова позволяет сделать следующий шаг к вопросу о смыслопорождении, предполагающему выявление связи между языковыми и социокультурными смысловыми структурами на уровне глубинной семиотики в рамках трансдисциплинарного подхода. Представляется, что применение этого подхода, предложенного С. Т. Золяном и Г. Л. Тульчинским и успешно апробированного в их исследованиях (Золян, Тульчинский 2024, с. 10), может быть плодотворным и на осетинском материале, позволяя в новом свете представить проблему возникновения инновационных смыслопорождающих структур.

## 2. Проблема перевода

Весьма показательным в этом отношении представляется перевод заголовка стихотворения «Ныстуан», открывающего сборник стихов поэта, впервые опубликованного в 1899 году (Хетагуров 1999, с. 14—15). Приведу его текст и перевод на русский язык П. Панченко.

Ныббар мын, кæд-иу дæм зарæг,  
Кæуæгау фæзына, мыййаг, —  
Кæй зарæдæ нæ агуры хъарæг,  
Уый зарæд йæхи фæндиаг!..

Прости, если отзвук рыдания  
Услышишь ты в песне моей:  
Чье сердце не знает страдания,  
Тот пусть и поет веселей,

Æз дзыллаейæ къаддæр куы дарин,  
Куы бафидин искуы мае хæс,  
Уæд афтæ æнкъардæй нæ зарин,  
Нæ хъуысид мае кæуын хъæлæс...

Но если б народу родному  
Мне долг оплатить удалось,  
Тогда б я запел по-другому,  
Запел бы без боли, без слез.

Будучи программным по своему характеру, оно неизменно привлекает к себе внимание литературоведов и переводчиков. Интерес к нему настолько велик, что оно было даже издано в виде отдельной книги, в которой представлены все известные его переводы на языки мира.



Примечательно, что основным переводом этого заголовка, давшего название всему сборнику (Хетагуров 2018, с. 3), стало «завещание», что даже при первом приближении неизбежно порождает вопросы. Дело в том, что предлагаемый перевод расходится со словарным описанием значений этого слова (согласно В. И. Абаеву: 'поручение', 'наказ', 'завет', 'заповедь'). При этом можно считать несомненным, что рассматриваемая лексема восходит к реконструируемому общеиранскому отглагольному существительному \**ništāwan*- 'наказ', 'приказ', 'повеление'. Глагольная основа надежно представлена в древних языках иранской группы: в древнеперсидском *ništā*- 'повелевать', авестийском *ništa*- 'instituire', 'приказывать', 'предписывать' и др. (Абаев 1973, с. 210; Cheung 2002, р. 210). Отсутствие в осетинском языке словарного значения «завещание» вполне ожидаемо не только в силу приведенной этимологии, но также и потому, что обычное право осетин не знало подобной юридической нормы. Хорошо известно, что в этнографическую эпоху права наследования регулировались традицией и мало зависели от воли индивида. М. М. Ковалевский, изучавший семейное право и обычный закон осетин, подробно описал и нормы наследственного права, исключавшего личное волеизъявление (1886, с. 315–340). Сила этих уложений была безусловной, и потому для носителей языка на том этапе, до знакомства с юридической системой Российской империи, значение лексемы *ныстуан* «завещание» не могло быть известным.

Тем самым с точки зрения тождества слова нуждается в объяснении и его смысловая «размытость», без учета которой не может быть интерпретировано значение, которое вкладывал в него сам поэт. В связи с этим возникают сомнения в том, правильно ли был понят Коста Хетагуров потомками. В этой «текучести» слова, как представляется, обнаруживают себя его типологические особенности, возникающие на раннем этапе складывания литературной нормы. В конечном счете речь должна идти именно о выяснении замысла самого Коста Хетагурова, что предполагает выявление адресата стихотворения, описание его идейно-тематического содержания, установление его возможных интертекстуальных связей. Для продвижения по намеченному пути будет также необходимо описание историко- и социокультурных условий, в рамках которых Коста Хетагуров создает осетинскую литературу и осетинский литературный язык.

В первую очередь следует исходить из того, что на начальном этапе складывания литературной нормы фольклорно-мифологическая картина мира сменяется авторской. Фактически речь должна идти о переходе от коллективного бессознательного к индивидуальному осознанному творчеству. Очевидно, что подобный переход не может быть легким, но, напротив, требует колоссального усилия со стороны осуществляющей его личности. Действительно, с одной стороны, сам этот переход неизбежно опирается на устное народное творчество, вырастает из него и им вдохновляется. С другой — будучи коллективным по своему характеру, устное народное творчество всячески противится авторской индивидуализации и вступает в конфликт с литературным «произво-



лом», требующим от пишущего обязательного самовыражения. Тем самым Коста Хетагурову в некотором смысле предстояло преодолеть традицию, опираясь на нее.

Примечательно, что под предлагаемым углом зрения проблема тождества слова, если следовать Ю. М. Лотману, может быть выведена и на уровень эстетики художественного произведения. Лотман говорит о двух стадиях в истории поэтики, различая «эстетику тождества» и «эстетику противопоставления». В одном случае мы имеем некие штампы, в которых определенным явлениям действительности соответствуют определенные логические модели текста; В другом — появляется большее количество новых элементов в старых литературных алгоритмах: деконструкция поэтики, семантики и литературности характеризуется противопоставлением автором своего, нового варианта построения художественной действительности традиционному. Эстетика тождества связана с упрощением, а эстетика противопоставления — с усложнением (Лотман 1998, с. 276–278). Схожую картину, но уже в рамках оппозиции фольклора и литературы, наблюдаем и у Коста Хетагурова, который создает свою новую художественную реальность, усложняя существующий как данность фольклорный материал.

Понимание этого процесса в первую очередь предполагает осмысление социокультурной ситуации, сложившейся в Осетии в пореформенный период, то есть после отмены крепостного права в Российской империи.

### 3. На рубеже веков

Примечательно, что хронологически у Коста Хетагурова было два предшественника: Темирболат Мамсуров и Александр Кубалов. Однако только ему одному удалось стать общепризнанным основоположником осетинского литературного языка и самой литературы (подробнее об этом см.: Хугаев 2019, с. 36–39)). При этом, оценивая его достижения, В. И. Абаев ставит во главу угла духовно-нравственный аспект его наследия (1990, с. 551). Если признать, что при переходе от фольклорной традиции к литературной особую роль приобретает именно духовный аспект, применительно к осетинской литературе в центре внимания неизбежно окажется взаимодействие народной ритуально-мифологической традиции с христианством.

Известно, что Коста Хетагуров был крещен и имел в ставропольской гимназии своего духовника, о. Чаленко, на смерть которого написал проникновенное стихотворение, исполненное искренней благодарности к нему (Мальцев 2014, с. 17–18). Коста Хетагуров расписывал храмы и писал иконы, сочинял духовные стихи по поводу Рождества и Пасхи, а также сделал поэтический перифраз событий Страстной недели начиная с молитвы в Гефсиманском саду (поэма 1895 года «Се человек»), был похоронен в ограде Осетинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Он первым, согласно И. С. Хугаеву, в кавказской литературе обратился к евангельской теме (Хугаев 2014, с. 7). Наконец, он сам прямым текстом в письме к Ю. А. Цаликовой от 8 сентября 1899 года из



Херсона писал: «...и, конечно, никакая мудрость несравнима с христианской, которую я искренно хотел бы исповедовать всю жизнь» (Хетагуров 2001, с. 233–234). При этом очевидно, что его обращение к христианской традиции было во многом predetermined теми задачами, которые ему предстояло решать.

Знаменательно, что при исследовании истоков русского словесного искусства Ф. И. Буслаев использовал термин «двоеверие» для обозначения принципа развития и содержания переходных периодов в эволюции общества, что представляется столь же важным при изучении литературного наследия Коста Хетагурова. Говоря о положительном влиянии византийской традиции, Буслаев во главу угла ставил духовный аспект, то есть благочестие, считая, что именно духовная составляющая (или категория христианской любви) выступает связующим звеном между двумя традициями (Злобина 2011, с. 126–127). Сходство этих двух ситуаций очевидно. На рубеже двух веков, XIX и XX, складывается ситуация русско-осетинского двуязычия. Видимо, в этом и была основная заслуга Коста Хетагурова, которую хорошо осознавали уже его современники. Он смог найти «общий знаменатель» для местной традиции и христианского вероучения. Его жизненные обстоятельства, сохранившиеся письма и произведения являются ясным свидетельством того, насколько искренне и упорно Коста трудился во благо общества.

Какова же формула гармоничного взаимодействия двух духовных традиций, и в чем ее главное содержание? Каковы истоки этой формулы и пути ее исторической эволюции? Вот вопросы, на которые предстоит дать ответ. Опыт изучения творческого наследия Коста Хетагурова убеждает в том, что таким «общим знаменателем» для двух духовных традиций могла стать идеология жертвенности, лежащая в основе осетинской обрядовой традиции. Коста Хетагуров трактует ее как общечеловеческое правило, оказавшееся ключевым для христианства, то есть некое духовно-нравственное требование, могущее стать идеологической основой культурно-исторического переворота, происходящего в период жизни поэта.

Подобную постановку проблемы в теоретическом плане надежно обеспечивают обобщающие труды С. А. Айларовой, которая усматривает в творческом наследии Коста Хетагурова бесспорное влияние христианской антропологии П. Л. Лаврова, пользовавшейся в те годы необычайной популярностью в среде российской интеллигенции. Отсюда, полагает исследователь, можно вывести мифологему идущего на крестную смерть и проповедующего любовь во время этого пути Иисуса Христа. Любовь – это символ критически мыслящей личности, добровольно отдающей себя на смерть ради спасения человечества. С. А. Айларова приводит цитату из записей и набросков самого Коста, где поэт открыто проявляет готовность пожертвовать собой: «...мæ иунаг сидзæры уд нывонд канын нæ Иры дзыллæйæн... балавар кодтон... на Иры дзыллæйæн итæг æрдиагонæй: 1. “Ирон фæндыр”» («Свою одинокую сиротливую душу я приношу в жертву осетинскому народу... и дарю ему “Ирон фæндыр”»). При этом поэт справедливо подчеркивает значимость развития личностного начала, предпола-



ющего самопожертвование в качестве свободного внутреннего выбора. Далее С. А. Айларова фактически определяет основы методологии изучения наследия Коста. По ее мнению, «феномен “Ирон фандыра”, являющийся в литературной традиции ярким примером духовного слияния интеллигента с народной “почвой”, образцом синтеза культур, становится понятнее и в контексте теоретических поисков русской демократической мысли, и через призму христианской религиозной традиции, и, наконец, осетинской мифо-эпической культуры» (Айларова 2014, с. 33, 39–40). Далее остается сделать лишь еще один шаг к изучению самой осетинской духовной традиции, на которую Коста, безусловно, опирался и в которой черпал силы.

Когда Осетия на рубеже позапрошлого и прошлого веков оказалась на стыке двух эпох, при переходе от патриархально-родового общества в правовое пространство Российской империи, от устной традиции к письменной культуре Нового времени, Коста актуализировал в осетинской картине мира те смыслы, которые позволили ей с опорой на православие сохранить неизменной свою духовно-нравственную основу. Это базовое положение теперь нуждается в подкреплении анализом идейно-тематического содержания того программного стихотворения, заголовок которого находится в фокусе нашего внимания.

#### 4. Экзегетика

Обычно при анализе содержания рассматриваемого стихотворения «Ныстуан» («Заповедь»), состоящего всего из двух четверостиший, во главу угла ставится декларация поэтом своего чувства долга перед родным народом или, как полагает Н. Г. Джусойты, перед всеми народами мира, перед всем человечеством (1980, с. 267). Однако, если принимать во внимание взаимодействие двух духовных традиций, можно сделать вывод, что в языковом плане центральным для него оказывается глагол *бырын* ‘прощать’, который является основополагающим для осетинского обрядового моления.

Действительно, в осетинской традиции идея искупительной жертвы находит ясное выражение в пожеланиях участников обрядового моления друг другу: «Куывд барст (фæ)уæд!» («Да будет наше моление угодным (Всевышнему)»). Буквально, речь идет о получении прощения, что находит выражение еще в одной формуле из молитвословий: «Æмае нын батаæригъæд кæн!» («И пусть (Всевышний) пожалеет нас!») (Хамицаева 1992, с. 52, 54, 56, 57, 61). Тем самым открывающий стихотворение глагол в повелительном наклонении «Ныббар!» не только ясно указывает на связь с обрядовой традицией, но и выражает идею прощения, центральную для всего осетинского обрядового моления и получающую дополнительное выражение в самом ритуале благодаря участию в нем детей.

Известно, что, несмотря на свой невысокий социальный статус и ограниченные физические и духовные возможности, дети не только участвовали в посильной хозяйственной деятельности, например пасли ягнят и телят, но также были просто незаменимы в обрядовой жизни



традиционного социума. Именно детьми первыми вкушаются жертвенная пища и напиток в рамках обряда причастия – *аходан*, исполняемого при открытии обрядового моления. В.С. Уарзиати писал, что, согласно мнению его консультантов, право сразу после посвячительной молитвы старшего пригубить ритуальный напиток, чего удостоивались только младшие, было связано с представлением о том, что у каждого взрослого человека, в отличие от детей, может появиться искушение совершить грех. Детям же свойственны большая степень чистоты и безгрешность, так как они еще мало прожили (Уарзиати 2017, с. 167). То есть грех выступает как препятствие к тому, чтобы Бог принял молитву. В самом же обряде причастия ясно распознается связь с христианской евхаристией. Весьма показательным оказывается и приведенный не так давно Я.В. Васильковым древнеиндийский материал о мотиве «кубка победителя» и «испития славы», который свидетельствует об индоевропейском происхождении этого мотива (Васильков 2021, с. 70). Таким образом, в рамках обряда испития «чаши славы» удастся привести к общему знаменателю две духовные традиции, поскольку мотив испитительной жертвы и хорошо известен христианству, в особенности Новому Завету, и, как видим, в осетинской обрядности по своему происхождению неразрывно связан с культом героя, готового жертвовать своей жизнью ради общего блага.

Замечу, что в плане искусства слова к рассматриваемому стихотворению вполне применимо наблюдение, сделанное М.М. Бахтиным относительно поэтики Ф.М. Достоевского о диалогизме и двуголосом слове (2002, с. 41, 85, 87), которое одновременно оказывается у обоих участников диалога, выводя известную формулу: «чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня» (Бахтин 1986, с. 56). В этом случае, представляется возможным допускать отсылку к молитве «Отче Наш» (Мф. 6: 9–13), с идеей взаимного прощения: ты – нас, а мы – их. Исходя же из того, что это стихотворение Коста Хетагурова оказывается исповедальным по своему характеру, оно может быть соотнесено с христианским покаянным канонам, предваряющим таинство исповеди и причастия, в частности с его первой песнью. Сходство обнаруживает себя не только в упоминании «песни» в тексте стихотворения Коста Хетагурова («*ма зараг*»), но и в общей горестной тональности плача, становящейся очевидной при обращении к одной из частей канона, приводимой ниже:

Помілуй мя, Бо́же, помілуй мя.  
 О горе мне грѣшному!  
 Па́че всех челове́к окаянен есмь,  
 покая́ния несть во мне; даждь ми,  
 Го́споди, слѣзы, да пла́чуся дел мо́их горько<sup>2</sup>.

Для православного христианина, каковым был Коста Хетагуров, обращение к покаянному канону в самом начале собственного сборника стихов представляется вполне вероятным и, более того, уместным. Ад-

<sup>2</sup> Православие.ру. URL: <http://www.pravoslavie.ru/> (дата обращения: 27.10.2024).



ресатами же его стихотворения, в рамках бахтинской формулы, оказываются одновременно и читатель его сборника, и Всевышний, сведенные таким причудливым образом в рамках поэтики двуголосого слова.

В связи с этим заслуживают упоминания собственные попытки Коста Хетагурова перевода текста Священного Писания с русского языка на осетинский. В процитированном выше письме к Ю. А. Цаликовой он обращается к теме перевода Евангелия на осетинский язык: «Стесняет меня только то, что в осетинском языке нет точно соответствующих слов и выражений некоторым словам и выражениям в Евангелии, и проверить их не на чем». Тремя днями позже, 11 сентября 1899 года, в письме к А. Л. Хетагурову, также из Херсона, он прямо говорит, что начал перевод на осетинский язык Евангелия и потому хотел бы сравнить свою версию с уже существующим переводом, которым, судя по всему, не был доволен (Хетагуров 2001, с. 223, 234). Какое же решение он находит для этой проблемы? Очевидно, что он выбирает не просто наиболее приемлемый, но, вероятно, единственно возможный в тех культурно-исторических условиях путь — использует тот ресурс, которым обладает сам осетинский язык.

## 5. Ресурс языка

Прежде всего замечу, что заголовок рассматриваемого стихотворения может быть включен, с одной стороны, в ряд подобных однословных заголовков из его сборника стихов, где использованы глаголы в повелительной форме, каковых оказывается достаточно много: «Азар!» («Спой!»), «Фесаф!» («Пропади!»), «Харзбон!» («Прощай!»), «Ракас!» («Взгляни!») (Хетагуров 1999, с. 24–25, 26–27, 36–37, 50–51). Вместе с тем он также весьма охотно использует в качестве заголовков своих стихотворений и междометья: «Æй, джиди!» («Если бы...»), (Там же, с. 22–23). Тем самым представляется возможным говорить о десемантизации существительного *ныстуан*, которое выступает в заголовке в качестве интенсификатора, усилителя императива, а также усилителя общего эмоционального посыла стихотворения. Замечу, что аналогичные примеры десемантизации в осетинском языке хорошо известны. Достаточно сослаться в этой связи на осетинское прилагательное *сау* 'черный'. Оно становится просто усилителем свойства или качества в таких устойчивых словосочетаниях, как *сау расыг* 'мертвецки пьяный', *сау над* 'избитый до полусмерти', *сау расугъд* 'необычайно красивая' (о девушке) и др. (Абаев 1979, с. 42–43). Одновременно существительное *ныстуан* наделяется также качествами и междометия, а граница между частями речи, в данном случае между междометием и существительным, становится чисто условной, вполне проницаемой.

Знаменательно, что сам К. Хетагуров в одном из писем отмечает, что пишет стихи для того, чтобы выразить какие-то важные для себя идеи. Он открыто говорит об этом: «А стихи я пишу только в такое время, когда потребность высказаться всецело охватывает все мое существо. Над многими стихотворениями я рыдал, как нервная институтка, когда их писал. Немало было написано и в минуты страшного негодо-



вания, но такие стих<отворения> я никогда не отдавал в печать — потому что они прямо-таки ужасны по чувству высказываемых в них ненависти и презрения к объекту обращения» (Хетагуров 2001, с. 136). Можно утверждать, основываясь на собственных наблюдениях поэта, что эмоциональный градус его стихов должен быть необычайно высок, и это находит отражение в заголовках его стихов.

Весьма показательно во многих отношениях обращение к заголовку еще одного стихотворения Коста Хетагурова — «Тæхуды» («Желание»). Само стихотворение отличает и необычайная интимно-исповедальная интонация, и скрытая, но вполне допустимая, связь с христианством (Хетагуров 1999, с. 34):

Тæхудиаг, буц хъæбулаэй  
 Йæ уалдзæджы царды хураэй  
 Чи бафсæст йæ мады хъæбысы!  
 Тæхуды, æрагвæззæджы,  
 Хъæлдзæгаэй æнкъард рæстæджы  
 Йæ рагуалдзæг хорзæн чи мысы!

Тæхуды, йæ фыды зæххыл,  
 Йæ уарзон æмгарты рæггыл  
 Кæмæн хъуысы дардмæ йæ зарæг!  
 Тæхуды, йæ гутонимæ,  
 Хæрзифтонг бæхуæрдонимæ  
 Йæ бинонтæн чи у сæ дарæг!

Тæхуды, йæ дзыллаэйы раз  
 Чи ракæны барджын ныхас,  
 Кæй фарсынц, кæй равзарынц зондаэй!  
 Тæхуды, йæ уарзондзинад,  
 Йæ хорз ном, йæ фыдæлтты кад,  
 Чи уадзы уæлауыл зæрондаэй!

В. И. Абаев отмечает, что само название стихотворения, переведенное на русский язык как «Желание», представляет собой возглас восхищения 'о, если бы!' (латинское *utinam!*). Хотя исследователь и допускает возможность заимствования из какого-либо соседнего языка, в рамках народного осмысления вполне допустимо разделение на *тæх-уды*. В первой части имеем *тæх* 'стремительно', 'сильно', а во второй — *-уды*, глагольную форму третьего лица единственного числа от *удын* 'стараться', 'стремиться'. Весьма примечательна форма, образованная с помощью суффикса *-аг*, обозначающего в данном случае 'предназначенный для чего-либо', 'достойный чего-либо', форма *тæхудиаг*. Это слово, с которого открывается рассматриваемое стихотворение Коста Хетагурова, напрямую отсылает к евангельской Нагорной проповеди и переводится как 'блаженны'. В. И. Абаев ссылается на соответствующее место из осетинского перевода Евангелия от Матфея (5: 8): «тæхудиаг сты зæрдаэйæ сыгъдаг чи у, умæн æмæ удон Хуыцауы фендзысты» («блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят») (Абаев 1979, с. 285—286). Как видим, Коста Хетагуров, не имевший в распоряжении историко-



богословской лексики, находит выход из затруднительного положения, обращаясь к внутренним ресурсам языка, которые очень хорошо чувствует.

Заслуживает упоминания и то, что в переводе этого стихотворения на русский язык С. Олендером эта связь с Нагорной проповедью сохранена (Хетагуров 1953, с. 17):

Блажен, кто с младенческих лет  
Был солнцем весенним согрет  
И ласкою матери милой!  
Блажен, кто весну своих дней  
Припомнит под ропот дождей  
Осенней порою унылой!

Блажен, кто в родимом краю  
Веселую песню свою  
С друзьями подчас запекает...  
Блажен, кто за плугом своим  
По нивам проходит родным,  
Кто хлеб для семьи добывает!

Блажен, кто душой и умом  
Прославлен в народе своем,  
Чье ценится веское мнение!  
Блажен, кто отчизну любил,  
Кто славой отцов дорожил,  
Чье имя не знает забвенья!

Однако в переводе Б. Иринина стихотворение получает сугубо светское звучание, поскольку начальные фразы каждого из шести трехстиший у него звучат как «Завидую тем, кто...» (Хетагуров 1999, с. 35).

Завидую тем, кто согрет  
На утре безоблачных лет  
Теплом материнских объятий.  
Завидую тем, кто потом  
Дни детства помянет добром,  
Кто весел на грустном закате.

Завидую тем, кто в своей  
Отчизне среди верных друзей!  
Чей пир — это песня с игрою!  
Завидую тем, кто с арбой,  
Кто с плугом своей бороздой  
Проходит рабочей порою.

Завидую тем, кто народ  
Мятежною речью зажжет,  
Чьего ожидают совета.  
Завидую тем, кто любовь,  
Честь имени, славу отцов  
Хранит и в преклонные лета!



Подобный отказ от интертекстуальных связей с евангельской проповедью весьма показателен. Именно этот перевод не так давно выбрали в качестве эталонного и составители Полного собрания сочинений поэта, хотя им наверняка были известны и другие. Здесь находит выражение многолетний подход, в рамках которого Коста Хетагуров трактовался как «атеист» (подробнее см. об этом: (Хугаев 2014, с. 5–6)). Представляется, что приведенные аргументы склоняют чашу весов в пользу признания мировоззрения поэта глубоко религиозным.

## 6. Заключение

Итак, обращение к проблеме зависимости семантики слова от контекста позволяет выявить инновационные смыслопорождающие структуры, обеспечивающие становление литературной традиции. Изучение заголовка программного стихотворения Коста Хетагурова «Ныступан» убеждает в том, что на раннем этапе сложения осетинской литературной нормы решающую роль играет недостаточная разграниченность светского и духовного стилей, их принципиальная взаимная пронцаемость. В этом случае смысл, который вкладывал автор в его заголовок, должен был отражать его связь с христианским покаянным канонам и потому мог означать собственно «канон» как «(божественное) установление, правило». Подобная семантика слова была, по сути, уже присуща ему этимологически, и поэту лишь оставалось сделать ее актуальной в пространстве своего сборника стихов.

В плане синтагматики на становление подобных структур влияет отсутствие границы между словами в потоке речи, когда, как в рассмотренном примере, заголовок стихотворения оказывается настолько тесно связан со словом, открывающим его, — *ныббар*, что можно говорить об их смысловой и синтаксической диффузии. Основой подобной диффузии является высокая эмоциональность слова как своего рода компенсация неизбежного лаконизма используемых выразительных средств при отсутствии свойственной устной речи просодики. Существительное, подвергаясь значительной десемантизации, принимает на себя часть повелительных интонаций, свойственных глаголу в императиве, выступая в роли лексического интенсификатора. Вместе с тем в плане парадигматики речь должна идти и о недостаточной разграниченности частей речи, в частности, существительного и междометия, что дает свободу в выражении тех новых смыслов, которые языку еще только предстоит освоить.

Становление подобных инновационных структур сопровождается «расподоблением» слова как в семантическом, так и в грамматическом (включающем и морфологию, и синтаксис) плане. Это явление по праву становится важнейшим условием освоения языком нового для него идейно-тематического поля на этапе сложения литературной традиции как средства модернизации осетинского социума на рубеже позапрошлого и прошлого веков.



## Список источников и литературы

- Абаев, В.И., 1973. *Историко-этимологический словарь осетинского языка*. Т. 2. Л. [Abaev, V.I., 1973. *Istoriko-etimologicheskii slovar' osetinskogo yazyka* [Historical and etymological dictionary of the Ossetian language]. Vol. 2. Leningrad (in Russ.)].
- Абаев, В.И., 1979. *Историко-этимологический словарь осетинского языка*. Т. 3. Л. [Abaev, V.I., 1979. *Istoriko-etimologicheskii slovar' osetinskogo yazyka* [Historical and etymological dictionary of the Ossetian language]. Vol. 3. Leningrad (in Russ.)].
- Абаев, В.И., 1990. *Избранные труды: Религия, фольклор, литература*. Владикавказ. [Abaev, V.I., 1990. *Izbrannnye trudy: Religiya, fol'klor, literatura* [Selected works: Religion, folklore, literature]. Vladikavkaz (in Russ.)].
- Айларова, С.А., 2014. Проблема «Интеллигенция и народ» в творчестве Коста Хетагурова. *Коста и мировой историко-культурный процесс: сб. матер. Междунар. конф., посвященной 155-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова*. Владикавказ, с. 21–46. [Ayularova, S.A., 2014. The problem of “Intelligentsia and the people” in the work of Kosta Khetagurov. In: *Kosta i mirovoi istoriko-kul'turnyi protsess: sb. mater. Mezhdunar. konf., posvyashchennoi 155-letiyu so dnya rozhdeniya K. L. Khetagurova* [Costa and the world historical and cultural process: collection of materials. International Conference dedicated to the 155th anniversary of K.L. Khetagurov's birth]. Vladikavkaz, pp. 21–46 (in Russ.)].
- Бахтин, М.М., 1986. *Эстетика словесного творчества*. М. [Bakhtin, M.M., 1986. *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow (in Russ.)].
- Бахтин, М.М., 2002. Проблемы поэтики Достоевского. *Собрание сочинений в семи томах*. Т. 6. М. [Bakhtin, M.M., 2002. Problems of Dostoevsky's poetics. In: *Sobranie sochinenii v semi tomakh* [Collected works in seven volumes]. Vol. 6. Moscow (in Russ.)].
- Васильков, Я.В., 2021. Индоевропейские мотивы в «Махабхарате»: «испитие славы» и «кубок героя». *Этнография*, 4 (14), с. 55–74. [Vassilkov, Ya., 2021. Indo-European Motifs in the Mahābhārata: “Basking in glory” and the “Hero’s goblet”. *Etnografiya*, 4 (14), pp. 55–74 (in Russ.)] EDN: NMFAGR, [https://doi.org/10.31250/2618-8600-2021-4\(14\)-55-74](https://doi.org/10.31250/2618-8600-2021-4(14)-55-74).
- Гагкаев, К.Е., 1956. *О языке и стиле Коста Хетагурова*. Орджоникидзе. [Gagkaev, K.E., 1956. *O yazyke i stile Kosta Khetagurova* [On the language and style of Kosta Khetagurov]. Ordzhonikidze (in Russ.)].
- Джусойты, Н.Г., 1980. *История осетинской литературы*. Кн. 1: XIX век. Тбилиси. [Jusoity, N.G., 1980. *Istoriya osetinskoi literatury* [The history of Ossetian literature]. Book 1: The XIX century. Tbilisi (in Russ.)].
- Злобина, Н.Ф., 2011. Дискуссия Ф.И. Буслаева и А.Н. Пыпина по вопросам истории русской словесности. *Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология*, 4 (16), с. 122–129. [Zlobina, N.F., 2011. Scientific discussion between Buslaev and Pypin on the history of Russian literature. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiiskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 4 (16), pp. 122–129 (in Russ.)] EDN: OJKMHR.
- Золян, Т.С., Тульчинский, Г.Л., 2024. *Динамика смысла: глубинная семиотика и стереометрическая семантика*. М. [Zolyan, S.T. and Tulchinskiy, G.L., 2024. *Dinamika smysla: glubinnaya semiotika i stereometricheskaya semantika* [Dynamics of meaning: deep semiotics and stereometric semantics]. Moscow (in Russ.)].
- Ковалевский, М.М., 1886. *Современный обычай и древний закон*. Т. 1. М. [Kovalevsky, M.M., 1886. *Sovremennyyi obychai i drevnii zakon* [Modern custom and ancient law]. Vol. 1. Moscow (in Russ.)].



Лотман, Ю. М., 1998. Структура художественного текста. *Об искусстве*. СПб., с. 269–281. [Lotman, Yu. M., 1998. The structure of the literary text. In: *Ob iskusstve* [About art]. St. Petersburg, pp. 269–281 (in Russ.).]

Мальцев, С. И., 2014. *Душою с Коста*. Владикавказ. [Maltsev, S. I., 2014. *Dushoyu s Kosta* [My soul is with Costa]. Vladikavkaz (in Russ.).]

Уарзиати, В. С., 2017. *Избранные труды: Этнология. Культурология. Семиотика*. Т. 1. Владикавказ. [Ouarziati, V. S., 2017. *Izbrannyye trudy: Etnologiya. Kul'turologiya. Semiotika* [Selected works: Ethnology. Cultural studies. Semiotics]. Vol. 1. Vladikavkaz (in Russ.).]

Хамицаева, Т. А., ред., 1992. *Памятники народного творчества осетин: Трудовая и обрядовая поэзия осетин*. Владикавказ. [Khamitsayeva, T. A., ed., 1992. *Pamyatniki narodnogo tvorchestva osetin: Trudovaya i obryadovaya poeziya osetin* [Monuments of Ossetian folk art: Labor and ritual poetry of Ossetians]. Vladikavkaz (in Russ.).]

Хетагуров, К., 1953. *Избранное*. Дзауджикау. [Khetagurov, K., 1953. *Izbrannoe* [Favourites]. Dzaujikaу (in Russ.).]

Хетагуров, К. Л., 1999. *Полное собрание сочинений в 5 томах*. Т. 1. Ш. Ф. Джикаев, ред. Владикавказ. [Khetagurov, K. L., 1999. *Polnoe sobranie sochinenii v 5 tomakh* [Complete works in 5 volumes]. Vol. 1. Sh. F. Dzhikaev, ed. Vladikavkaz (in Russ.).]

Хетагуров, К. Л., 2001. *Полное собрание сочинений в 5 томах*. Т. 5. Ш. Ф. Джикаев, ред. Владикавказ. [Khetagurov, K. L., 2001. *Polnoe sobranie sochinenii v 5 tomakh* [Complete works in 5 volumes]. Vol. 5. Sh. F. Dzhikaev, ed. Vladikavkaz (in Russ.).]

Хетагуров, К. Л., 2018. *Завещание: только одно стихотворение*. И. Бибоева, ред. Владикавказ. [Khetagurov, K. L., 2018. *Zaveshchanie: tol'ko odno stikhotvorenie* [Testament: only one poem]. I. Biboeva, ed. Vladikavkaz (in Russ.).]

Хугаев, И. С., 2014. «Евангелие» от Коста: идейно-эстетическая концепция поэмы К. Л. Хетагурова «Се человек». *Вестник Владикавказского научного центра*, 14 (1), с. 2–7. [Khugaev, I. S., 2014. "The Gospel" from Kosta: Ideological and aesthetic conception of K. L. Khetagurov's poem "Ecce Homo". *Vestnik Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra* [Bulletin of the Vladikavkaz Scientific Center], 14 (1), pp. 2–7 (in Russ.)] EDN: RYBQDN.

Хугаев, И. С., 2019. «Осетинская лира» Коста Хетагурова: основоположение осетинской национальной литературы. *Вестник Владикавказского научного центра*, 19 (2), с. 36–42. [Khugaev, I. S., 2019. "The Ossetian Lyre" of Kosta Khetagurov: The foundation of the Ossetian literature. *Vestnik Vladikavkazskogo nauchnogo tsentra* [Bulletin of the Vladikavkaz Scientific Center], 19 (2), pp. 36–42 (in Russ.)] EDN: WIJCGM, <https://doi.org/10.23671/VNC.2019.2.31375>.

Cheung, J., 2002. *Studies in the historical development of the Ossetic vocalism*. (Beiträge zur Iranistik. Gegründet von Georges Redard, herausgegeben von Nicholas Sims-Wiliams. Bd. 21). Wiesbaden.

## Об авторе

Тамерлан Казбекович Салбиев, кандидат филологических наук, доцент, и. о. заведующего отделом «Центра скифо-аланских исследований» Владикавказского научного центра РАН, Владикавказ, Россия.

ORCID ID: 0000-0002-8526-1984

E-mail: galabu054@gmail.com

**Для цитирования:**

Салбиев Т. К. Инновационные смыслопорождающие структуры на раннем этапе сложения литературной традиции: опыт Коста Хетагурова // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 154–168. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-10.





INNOVATIVE MEANING-GENERATING STRUCTURES  
IN THE EARLY FORMATION OF A LITERARY TRADITION:  
THE CASE OF KOSTA KHETAGUROV

T. K. Salbiev

Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences,  
1 Williams St., Prigorodny District, North Ossetia-Alania, 363110, Russia

Submitted on 14.10.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-10

*The article examines the conditions and mechanisms leading at an early stage of the formation of a literary tradition to the dependence of the innovative meaning of the word and its context. The translation of the title of Kosta Khetagurov's program verse "Nystwan", which opens his poetic collection "Iron fændyr" ("Ossetian Lyre"), shows the fundamental differences between the semantics of this word in the ethnographic era and its modern interpretation. Further on, following Buslaev's fundamental idea that at its initial stage literature assumes not only secular, but also spiritual social obligations, it is possible to show that the title of the poem turns out to be a semantic intensifier, necessary to strengthen the imperative mood of the verb phrase "Nybbar myn!" ("Forgive (me)!"), which opens the verse. The word in the title is not only desemantized, but also loses its nominal features, at the same time acquiring verbal properties. As a result, the boundary, which should run between the title and the beginning of the poem, is blurred. At the same time, "Nystwan" acquires a special emotional strength, which puts it on a par with the verbal and interjective titles so characteristic of Kosta Khetagurov's poetry. This 'blurring' is due to the need to bring to a common denominator both Christian theological concepts, in this case, of a sacrifice, and also the ideology of the Ossetian spiritual tradition, which reveals itself in prayer and ritual tradition in general. It is also concluded that, in terms of semantics, Kosta Khetagurov, proceeds from the etymological meanings of the word 'nystwan', interpreting it as an Ossetian analogue of the historical and theological term 'church tradition', as a kind of 'divine institution, rule'. The transition from folklore to literature itself is considered within the framework of the distinction proposed by Yu. M. Lotman between the aesthetics of sameness and the aesthetics of contradiction.*

**Keywords:** semantic structure, context, sameness of the word, desemantization, Ossetians, literature, Khetagurov Kosta, Christianity, repentance

### The author

Dr. Tamerlan K. Salbiev, Associate Professor, Acting Head of the Department, the Centre for Scythian-Alanian Studies, Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences; Vladikavkaz, North Ossetia-Alania.

ORCID ID: 0000-0002-8526-1984

E-mail: galabu054@gmail.com

### To cite this article:

Salbiev, T.K., 2025, Innovative meaning-generating structures in the early formation of a literary tradition: the case of Kosta Khetagurov, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 154–168. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-10.



**ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО:  
К ИСТОРИИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
В ЯЗЫКЕ РАННЕСОВЕТСКОЙ ЭПОХИ**

***К. П. Костомарова***

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,  
Россия, 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2  
Поступила в редакцию 10.12.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-11

*Рассмотрена семантическая эволюция оценочных прилагательных «хороший» и «плохой» в раннесоветском языке. На материале партийных документов, агитационных лозунгов, писем во власть и литературных текстов 1920–1930-х годов показано, как слова «хороший» и «плохой» превращаются в универсальные маркеры, отражающие соответствие новым общественным и политическим стандартам. В первом разделе проанализирована роль прилагательного «хороший» как универсального риторического инструмента, используемого для создания оптимистического образа социалистической реальности. Это слово постепенно утрачивает субъективную оценочную окраску, превращаясь в стандартный идеологический штамп, символизирующий позитивность и соответствие социалистическим нормам. Во втором разделе рассмотрено переосмысление понятия «хороший человек» и возникновение оппозиции между «хорошим человеком» и «хорошим коммунистом», где первый выступает носителем личных добродетелей, а второй – воплощением социалистических идеалов. Понятие «настоящий человек» рассматривается как компромисс между этими категориями. Третий раздел посвящен метафорическим концептам прочности, стойкости и надежности, которые приобретают статус центральных для описания советского человека и социальных структур. Эти характеристики, формирующиеся на основе технических метафор, отражают индустриальный и коллективистский дух эпохи. Используемая методология подразумевает дискурсивный анализ и сопоставление семантического наполнения понятий «хороший», «плохой», «настоящий», позволяющее выявить, как язык, формируя нормативные представления, становится активным инструментом идеологического воздействия, закрепляя социалистические ценности через семантические трансформации повседневной лексики.*

**Ключевые слова:** советская лексика, семантическая эволюция, идеология, хороший, плохой, дискурсивные изменения, раннесоветская эпоха, языковая политика

## **1. Введение**

Наиболее яркие черты советского языка – аббревиатуры, новояз и риторика лозунга. Именно им обычно уделяется внимание в работах, посвященных советскому лексикону, см. хотя бы: (Мазон 1920; Карцевский 1923; Винокур 1925; Селищев 1928; Ожегов 1974, с. 20–36; Земцов 1985; Мокиенко, Никитина 1998; Гюнтер 2000; Добренко 2000б; Вайс



2007), этими же элементами представление о советском языке — стилистически разнородном, бриколажно сочетающем черты старого и нового — зачастую и ограничивается.

В настоящей статье, напротив, рассматривается история изменения тех слов, которые не были порождением нового времени и не стали в советскую эпоху маркированными «советизмами». Эта история практически не описана, хотя именно они за счет своего долгого существования в языке позволяют проиллюстрировать характерные для эпохи идеологические и дискурсивные изменения, приводящие к семантическим сдвигам в значениях слов. К таким показательным для советского языка словам относятся прилагательное *хороший* и наречие *хорошо*, а также выражающие антонимичное значение слова *плохой* и *плохо*.

Статья посвящена анализу семантической эволюции оценочных прилагательных *хороший* и *плохой* и состоит из трех содержательных частей. В первой рассматриваются особенности оптимистического дискурса, сложившегося в раннесоветском языке, во второй внимание сосредоточено на трансформации понятия *хороший человек* и его переходе к новым идеологическим категориям, таким как *хороший коммунист* и *настоящий человек*, третья посвящена метафорическим концептам прочности и стойкости, ставшим центральными для советского языка, и их связи с описанием людей и социалистических структур.

## 2. Оптимистический штамп

В период НЭПа оценочные лексемы *хороший* и *плохой* перемещаются с языковой и понятийной периферии в центр<sup>1</sup> и становятся ключевыми социалистическими понятиями<sup>2</sup>. Прилагательное *хороший* и наречие *хорошо* превращаются в общий оптимистический штамп — характеристику общества и всей жизни, которая сводится к положительному, вдохновляющему опыту построения «правильного» социалистического мира: *Такую бы жизнь — Ленину, / Хорошую, / Как у нас!* [И. Уткин. 1924—1925]; *На смывах / октябрьского вала / нам жизнь / хорошую / строить дано* [В. Маяковский. 1928]<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Говоря о центре и периферии раннесоветского языка, нужно помнить о его более сложном, нелинейном устройстве. Как отмечает Ю. К. Щеглов, для 1920-х годов характерна своеобразная лоскутность узуса, «стилистическая разноголосица» в рамках которой возможно сосуществование старых и новых языковых единиц и стереотипов (Щеглов 2009, с. 21).

<sup>2</sup> Важно уточнить, что новый советский оптимизм был искусственно декларируемой эмоцией, а не естественной реакцией на изменения мира и жизни, ср. воспоминания Е. Петрова: «Вместо морали — ирония. Она помогла нам преодолеть эту послереволюционную пустоту, когда неизвестно было, что хорошо и что плохо» (Петров 2001, с. 62). В начале XX века прилагательное *хороший* встречается в самых разных типах текстов, чаще всего характеризуя при этом людей и нематериальные объекты. В модернистских и авангардных текстах начала XX века прилагательное *хороший* фиксируется сравнительно редко.

<sup>3</sup> Здесь и далее примеры приводятся по Национальному корпусу русского языка (<https://ruscorpora.ru>) и Электронной библиотеке исторических документов



Эволюция употребления слов *хороший* и *хорошо* и изменения в их семантике, произошедшие в 1920–1930-е годы, — не результат *драмы языка* (Добренко 1999, с. 356), а скорее отражение свойственного новому строю *исторического оптимизма*<sup>4</sup>, который во многом определял официальную советскую риторику тех лет. Центральную идею исторического оптимизма сформулировал А. В. Луначарский: «Наша поэзия, наше искусство переходного времени, направленное вперед и преодолевающее огромные препятствия... должно быть оптимистичным. Но есть два оптимизма: оптимизм до испытаний, до страданий, до острых проблем, в некоторой степени телячий оптимизм, и оптимизм человека, который выстрадал свое право на то, чтобы сказать — несмотря на все невзгоды, нам хорошо живется» (Луначарский 1929, с. 80)<sup>5</sup>.

Как отмечал Г. О. Винокур, «военный коммунизм знал, [во]обще говоря, лишь одну социальную категорию в пределах своего господства: категорию “хорошего”. “Плохое”, если оно и было, то только во вражеском стане. Все общественно-государственные учреждения и отношения положительны. Но провозглашена новая экономическая политика, и категории “хорошего” и “плохого” дифференцируются уже внутри одного коллектива, а не двух враждующих между собою» (Винокур 1925, с. 59). Подобный сдвиг системы оценки от «хорошее — типично, не хорошее — не типично» к «и хорошее, и плохое — типично» требовал дополнительной аксиологической поляризации и акцента на том *хорошем* и *положительном*, что уже сейчас окружает советского человека и к чему он продолжает стремиться<sup>6</sup>:

– *Невозможное возможно — / Нынче век у нас хороший* [М. Светлов. 1924–1925];

– *Я / земной шар / чуть не весь / обошел, — / и жизнь / хороша, / и жить / хорошо* [В. Маяковский. 1927];

– *Под счастливой советской звездой / Хорошо и работать, и жить* [В. И. Лебедев-Кумач. 1938];

– *Наш народ заставит повернуть многие умы для блага нашей социалистической родины на хорошую, радостную, счастливую жизнь* [Письмо гражданина М. М. Шапиро];

---

(<https://docs.historyrussia.org/ru>) с указанием автора или источника в скобках. Если пример взят из другого источника, он сопровождается внутритекстовой ссылкой и указывается в списке источников.

<sup>4</sup> См. о нем подробнее: (Гройс 1993).

<sup>5</sup> Здесь также уместно вспомнить о «положительной деятельности», которая, как пишет Т. Мартин, «пронизывала собой весь Советский Союз на раннем этапе его существования и была одной из его характерных черт» (Мартин 2011, с. 32).

<sup>6</sup> Описывая эту особенность эволюции оценки, Е. Добренко отмечает: «в книге об А. Корнейчуке М. Пархоменко, например, исходил из того, что все отрицательное есть “явное исключение из нашей жизни”, а отрицательные черты действительности “выступают как уродливое и становящееся исключительным, чему и противостоит... прекрасное и вместе с тем типическое”» (Добренко 2000б, с. 468).



— «Мир — хорош» [Название сборника стихотворений Дм. Семеновского. М.: Круг, 1927].

Такое оптимистически-избыточное употребление прилагательного *хороший* косвенно осложняет выражение отрицательной оценки: *плохим* должно быть только чужое, и однозначно осуждаемое, если же речь идет о *плохом* внутри *хорошего* советского мира, то такие недостаточно социалистические объекты необходимо исправить согласно идеологии положительной деятельности:

— Я писал плохие сказки. Я признаю, что мои сказки не годятся для строительства социалистического строя [К. Чуковский. Литературная газета. 1929. 30 дек.].

Стремление охарактеризовать окружающую реальность как *хорошую* логично рассматривать как результат ослабленных утопических идей первых советских лет<sup>7</sup>. Отказ от потенциального и ориентация на настоящее ожидаемо усиливает «позитивизм» и положительную оценку уже наступившего сегодняшнего дня<sup>8</sup>. Оптимизм новой эпохи отмечали и ее современники:

— Теперь время закладывать фундамент фабрики оптимизма. Руками футуристов. Тех — кто возглашают: — Алло, жизнь! — Здравствуй, жизнь! Ты трудна, но проста. В тебе нет святости, ты не нуждаешься в благословении, ты — жизнь, к стенке ставящая священников всего священного. Священен лишь оптимизм. Не буйный и хмельный. Не романтично-кудрявый. Из этого выросли. Оптимизм, который знает: Все можно сделать, ибо нет творчества, есть лишь работа, мастерство. И всего может коснуться рука работника (Левидов 1927, с. 204), ср. также название книги В. Б. Шкловского «Поиски оптимизма» (1931).

Основной эстетической положительной установкой 1920–1930-х годов становится представление о том, что «прекрасное — это наша жизнь» (Гюнтер 2000, с. 46):

— «О чем же рабкорам следует писать больше — о хорошем или о плохом? Я — за то, чтобы писали больше о хорошем. Почему? Да потому, что плохое-то не стало хуже того, каким оно всегда было, а хорошее у нас так хорошо, каким оно никогда и нигде не было» [М. Горький. Письмо рабкору Сапелову. 1929] цит. по: (Добренко 1999, с. 440)<sup>9</sup>;

<sup>7</sup> Х. Гюнтер отмечает, что социальные революции обычно сопровождаются расцветом утопических идей, вызывающих затем инерцию антиутопизма, реализма и «правды жизни» (Гюнтер 2000, с. 46).

<sup>8</sup> «Завтра» в культуре соцреализма определяется как (второе) «сегодня» (Постутенко 2000, с. 484).

<sup>9</sup> Такое оптимистически-избыточное употребление прилагательного *хороший* хорошо соотносится с предложенным Д. Вайсом принципом языкового экстремизма (Вайс 2007, с. 37), механизм действия которого описывает К. И. Чуковский, критикуя особенности канцелярского языка молодых писателей: *Если ты написал «отражают», нужно прибавить «ярко»; если «протест», то «резкий», если сатира, то «злая и острая». <...> Мудрено ли, что уже на пятой странице эта «яркость» начинает оцукаться, как «тусклость», а на шестой окончательно гаснет*



– *Живи да работай – хорошая жизнь!* [А. Гайдар. Сказка про военную тайну, Мальчишка-Кибальчиша и его твердое слово. 1935].

За счет «оптимистического» употребления, значение прилагательного *хороший* и наречия *хорошо* в узусе 1920–1930-х годов как будто теряет собственно оценочный компонент. Выхолощенные слова уже не столько оценивают, сколько описывают характеризующие объекты:

– *Мужичок все говорил и говорил без конца: – Площадь у нас хорошая. И номера хорошие, Селезневские. И народ хороший, помнящий. И все у него было хорошее: и жизнь, и народ* [П. Романов. Русская душа. 1920–1928];

– *Чем же наша участь плоше? / Ах, и в будущем / И в прошлом / Столько девишек хороших / В нашем городе хорошем!.. / <...> / Хорошо, / Что плачет скрипка, / Хо-ро-шо, / Что парень пляшет* [И. Уткин. 1927];

– *Я живу с мужем и дочкой в городе Горьком. Город большой, хороший, за последнее время выстроили много больших и красивых домов. Но с продовольствием плохо* [Письмо домашней хозяйки А.М. Матвеевской В.М. Молотову. 15 ноября 1938];

– *Теперь, дорогие товарищи, прошу вас, – вы живете хорошо, у вас и хлеба хватает, и питание хорошее, и жалованье приличное, у вас есть и обувь, и одеть. <...> Вы живете в хорошей жизни. А у меня и моей семьи нет ни обуви, ни одежды, ни хлеба, ни квартиры хорошей. <...> Помогите нам выбраться из нужды на хорошую культурную дорогу, чтобы мы могли жить культурно, по-советски* [Заявление колхозника А. Б. Николаева М. И. Калинин. 30 апреля 1934].

Риторическая установка на хорошую жизнь в хорошем мире ярко проявляется в языке лозунгов и агитационных плакатов, для которых характерно общее дискурсивное упрощение, определявшее выбор в пользу универсальной пары *хороший – плохой*, а не других оценочных слов: *Хорошо трудиться – хлеб уродится; Машине – хороший уход*; ср. также: *Даешь хорошее, первосортное масло! Таков у нас лозунг дня* [Правда. 1926. 29 мая] (цит. по: Селищев 2003, с. 92)<sup>10</sup>.

Поскольку лозунговое «сглаженное слово» (термин Ю. Тынянова) теряет конкретную референцию, слова *хороший* и *хорошо* начинают отсылать к хоть и эмоционально окрашенному, но довольно абстрактному набору ассоциаций. Как пишет Е. Добренко: «Соцреализм, будучи языком власти и массы, не создает своих художественных кодов, но ис-

---

[К. Чуковский. Литературная газета. 1954. 25 дек.]. Среди примеров языкового экстремизма Д. Вайс приводит, в частности: *небывалый успех; всемирно-историческая победа; титаническая деятельность КПСС; беспощадная борьба; беззаветная преданность; действенные шаги; твердое и последовательное проведение в жизнь; полное и безоговорочное присоединение; неуклонный прогресс; незыблемая основа; величайшее благо; глубочайшая благодарность; целиком и полностью* и т. д. (Вайс 2007, с. 37).

<sup>10</sup> В связи с языком лозунгов стоит также упомянуть употребление прилагательного *хороший* в стихах В. В. Маяковского, чей поэтический язык часто повторяет риторический тон агитационных текстов и «пронизан стихией устного, и притом преимущественно громкого устного слова» (Винокур 1943, с. 111): *А мне / в действительности / единственное надо – чтоб больше поэтов / хороших / и разных* [В. Маяковский. 1926]; *Громоздите за звуком звук вы / и вперед, / поя и свища. / Есть еще хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща* [В. Маяковский. 1918].



пользует уже наработанные культурой... как замечает С. Зимовец... “наиболее действенные и ‘физиологически’ простые, ближе всего стоящие к бессознательному опыту массы, врожденные ей как способы ее автоматического бытия”» (Добренко 2000а, с. 32). Обращение к простым и порой даже примитивным категориям способствует тому, что одной из самых частых сфер употребления оптимистично-выхолощенного прилагательного *хороший* становится детская литература, воспитательная программа которой легко оперирует упрощенными категориями правильного и неправильного, хорошего и плохого:

- В оконном стекле отражаясь, / по миру идет не спеша / хорошая девочка Лида / Да чем же она хороша? [Я. Смеляков. 1941];
- Уронили мишку на пол, / Оторвали мишке лапу. / Все равно его не брошу – / Потому что он хороший [А. Барто]<sup>11</sup>;
- Негритенок Самми / Знаете вы сами / Далеко живет. / Мальчик он хороший, / Но черней галоши / У него живот [Е. Тараховская].

В детском тексте, инфантильность и «детскость» соцреализма, связанные с общей редукцией языка, оказываются хотя бы частично оправданны. В поле детской литературы такое упрощение, по словам М. Чудаковой, было если не ожидаемо, то как минимум частично жанрово мотивировано (2001, с. 347). Ярким примером регулярного употребления слова *хороший* в этом контексте могут служить произведения А. Гайдара:

- Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошей. Он еще крепче укутался в полушубок, закрыл глаза, подумал: «А какая она будет хорошая?» – и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смелый красноармеец стоит у столба и, сжимая замечательную винтовку, зорко смотрит вперед (Гайдар 1972, с. 66);
- А может быть, – думал я, – дядя мой совсем и не жулик. <...> Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается... Но... (Судьба барабанщика) (Там же, с. 377);
- А жизнь, товарищи... была совсем хорошая! (финал рассказа «Голубая чашка») (Там же, с. 298).

### 3. Хороший человек

Новые советские реалии требовали не только переоценки окружающего мира, но и новой субъективации, а значит, и изменений в представлении о *хорошем человеке*, живущем в *хорошей стране*, которым обязательно станет каждый *хороший мальчик* и *хорошая девочка*. Традиционного набора качеств *хорошего человека* (*добродетельный, сострадающий,*

---

<sup>11</sup> Ср. также употребление в детском дискурсе наречия *хорошо*: Крошка сын / к отцу пришел, / и спросила кроха: / – Что такое / хорошо / и что такое / плохо? [В. Маяковский]; Идем мы, октябрюта, / Сегодня дружно в ряд. / Как хорошо сегодня, / Седьмого Ноября [М. Заблудовский. 1925], см. также более позднее каноничное: Как хорошо уметь читать! [В. Берестов].



стремящийся к добру) для новой жизни оказывалось недостаточно. В фильме «Ленин в 1918 году» первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР сам терпеливо объясняет это сентиментальному Горькому:

– Алексей Максимович настроен мрачно. – Владимир Ильич, – обращается он к Ленину, – арестован профессор Баташев. Это хороший человек. – Что значит «хороший человек»? – хмурясь, спрашивает Ленин. – А какова у него политическая линия? – Баташев прятал наших. – А, может быть, он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов? <...> Ленин знает и убежден, что революция должна быть непреклонна, беспощадна к врагам, что малейшее проявление жалости грозит ей гибелью. Горький опутан цепями жалости [Пересказ фильма «Ленин в 1918 г.». Красная звезда. 1939. 3 марта].

Было бы логично предположить, что с появлением дополнительных требований, предъявляемых к советскому человеку (*идейность, верность партии*), расширится и семантическое содержание слова *хороший*, однако этого не происходило. Напротив, представление о *хорошем человеке* (к которому часто присоединяется и представление о *хорошем профессионале*) последовательно отдалается и даже отчасти противопоставляется представлениям о *хорошем (партийном, идейном) советском человеке*, для выражения которых обычно использовалось сочетание *хороший коммунист*<sup>12</sup>:

– Никто не сказал о комиссаре как о большевике, все говорили *хороший он или плохой летчик* и волей-неволей получается, что у нас комиссара неправильно нацеливают. Функции комиссара не только в том, чтобы он был *хороший летчик*, а в том, чтобы он был *настоящим большевиком, воспитателем* [Протокольная запись заседания ГВС РККА. 16–17 мая 1939];

– Бывают случаи, что рекомендации (для вступления в ВКП(б). – К. К.) пишутся наспех, ... без твердого знания человека, не отражают действительное лицо вступающего в партию. Из такой рекомендации можно заключить лишь, что рекомендуемый товарищ – «хороший человек», «добросовестный работник». А мало ли у нас в стране хороших людей, добросовестных работников? Одной добросовестности совершенно недостаточно для того, чтобы быть членом большевистской партии <...>. Вот, например, тов. Маскин пишет в своей рекомендации: «Тов. Болотских работал шофером, к работе относился хорошо, порученную работу по отправке груза выполнял быстро и аккуратно». Вот и все. Здесь не сказано ни единого слова о политическом лице товарища, о том, какое он участие принимает в общественно-политической работе, достаточно ли он выдержан, устойчив [Красная звезда. 1940. 25 авг.].

Показательно, что в толковых словарях, написанных в советскую эпоху, в большинстве выделяемых значений прилагательного *хороший* в качестве иллюстраций приводятся примеры из советской литературы,

<sup>12</sup> Как пишут Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, использование неповторяющихся рядов лексических единиц при разговоре о «своем» и «чужом» было принципиально для языка советской пропаганды, поскольку соответствовало ключевому положению советской идеологии, согласно которому даже внешне сходные явления в коммунистических странах и в странах Запада имеют совершенно разную природу (Булыгина, Шмелев 1997, с. 461; Шмелев 2012, с. 539).



тогда как в значениях, описывающих этическую положительную оценку человека, иллюстрации ограничиваются примерами из XIX века. Так, в словаре Ушакова значение 'вполне достойный, приличный' иллюстрируется только примером из Некрасова (*Знайте, люди хорошего тона, что я сам обожаю балет*) (Ушаков 1940, с. 1179), в Словаре современного русского литературного языка (БАС) в значении 'благородный, приличный, порядочный' — иллюстрации из Пушкина и Достоевского, а в значении 'опытный, искусный в своем деле' — пример из текста советского писателя Сергея Голубова (БАС, с. 398—400), в Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой (МАС) в значении 'обладающий положительными моральными качествами (о человеке)' приводятся иллюстрации из Чехова и Горького, а в значении 'образцово выполняющий свои обязанности, обязательства' — примеры из текстов Катаева и Маяковского (МАС, с. 621).

Отделение *хорошего человека* от *хорошего советского человека* в жизни и на бумаге происходило во многом потому, что опора на собственные этические принципы и способность принимать решения — качества, характерные для хорошего человека, — зачастую шли вразрез с ожиданиями партии. В новом мире предполагалось возникновение нового типа личности — коллективиста — самостоятельность которого ограничивалась бы способностью ориентироваться и действовать в рамках предзаданной советской системы власти<sup>13</sup>:

— *Кто соображения личной дружбы ставит над дружбой коллективной, которая ведет к принципиальной, объединяющей всех нас дружбе, тот не большевик* [Андре Марти] (Штудер, Унффрид 2011, с. 230);

— *Коммунизм не падает с неба, не рождается из головы или из желания хороших людей, а строится победоносными рабочими из фабрик, полей, которые не знают засухи* [Из Манифеста ко всем комсомольцам, ко всей рабочей и крестьянской молодежи 1924].

Человек, способный критически подходить к директивам, становился помехой, которую необходимо устранить. Но если осуждать за недостаточную советскость людей недобродетельных, корыстных, злых и нечестных — одним словом, плохих — скорее легко<sup>14</sup>, то осудить не

---

<sup>13</sup> Такое советское понимание *человека* близко к представлениям о природе личности К. Маркса, который считал, что человеческая сущность — лишь точка пересечения социальных отношений, а не нечто абстрактное и присущее каждому индивиду (*das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse*) (Marx 2022, S. 28).

<sup>14</sup> См., однако, размышления В. Набокова о преимуществах Остапа Бендера как несоветского героя: «Ильф и Петров, два замечательно одаренных писателя, решили, что если сделать героем проходимца, то никакие его приключения не смогут подвергнуться политической критике, поскольку жулик, уголовник, сумасшедший и вообще любой персонаж, стоящий вне советского общества... не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или даже просто плохой коммунист» (Nabokov 1981, p. 87; перевод Ю. К. Щеглова, цит. по: Щеглов 1990, с. 37).



вписывающегося в советскую систему человека, для которого характерны традиционные положительные качества и который в глазах общества является *хорошим человеком* — гораздо сложнее:

— Для того, чтобы спасти транспорт, придется, может быть... арестовывать товарищей... поэтому мы... не должны увлекаться тем, что вот тот — негодяй, а этот — хороший человек. Мы должны смотреть на него с точки зрения рабоче-крестьянской власти [Выступление Ф. Э. Дзержинского на пленарном заседании 4-й конференции губернских транспортных и особых отделов ЧК. 1920].

Разрешить это этическое противоречие можно, поставив в системе ценностей советскость выше положительности и утвердив представление о том, что, проявив недальновидность, даже самый *хороший человек* может быть обманут и втянут в нехорошее (= антисоветское). «В идейном мире времени террора “враг” постоянно изменяет свой облик, он проскальзывает в идентичность нестойких людей. За маской кого бы то ни было потенциально скрывалась физиономия “врага”» (Штудер, Унфрид 2011, с. 146). А значит, *надежность* и *бдительность* символически оказываются гораздо важнее изначальной *положительности*. Замечательной иллюстрацией такой иерархии является приводимый Ш. Фицпатрик пример, когда «партком отклонил просьбу жены заставить мужа платить алименты, мотивируя свое решение тем, что муж — хороший человек, коммунист, красноармеец запаса и пилот-любитель» (Фицпатрик 2008, с. 175).

Показательны также результаты, полученные советскими лингвистами при исследовании лексики красноармейцев конца 1920-х годов. Опросы солдат показывают, что слово *моральный* было знакомо немногим<sup>15</sup>. Показатель верного определения значения этого понятия (опрашиваемым было предложено выбрать из вариантов *бессовестный, грязный, морской, честный*) — меньше 50 %. В другом эксперименте, когда опрашиваемым самим предлагалось описать значение этого слова, 8 % опрошенных сочли, что *моральный* это *честный*, а 5 % считали *морального богатым*. Большинство опрошенных не могли описать значение этого слова (Шпильерн, Рейтынбарг, Нецкий 1928, с. 101, 133).

Сделать хорошим коммунистом *морального, хорошего, но не советского* человека, труднее, чем исправить *плохого коммуниста*, поскольку когда речь идет о *плохом* (недостаточно хорошем), но партийном человеке, сделать его *хорошим* помогали эффективные инструменты коллективного воспитания — проработки, чистки и всевозможная «обработка человеческого материала» — выражение из доклада Н. Бухарина «О работе среди молодежи» на XIII съезде РКП(б) в 1924 году<sup>16</sup>:

<sup>15</sup> Возможно, дополнительным фактором, затрудняющим освоение этого слова, могла служить его история попадания в язык. См. о заимствованиях советской эпохи: (Селищев 1928, с. 28–36).

<sup>16</sup> «Нам нужно заботиться и о том, чтобы надлежащим образом была поставлена обработка человеческого материала для того, чтобы подготовить наших средних функционеров, строящих социалистическое общество» (Тринадцатый съезд... 1963, с. 511).



— Тов. Резников систематически получал несколько взысканий от нач[альника] управления, строгий выговор с предупреждением от обкома КП(б)У, разошелся с женой, с которой прожил 15 лет, связался с женщиной сомнительного поведения, имеет много недостатков в работе, а мы ему не помогаем, а ждем, когда он докажется до того, что нужно будет исключать из партии, нужно серьезно помочь товарищу, пока не поздно [Из протокола закрытого партсобрании сотрудников УГБ УНКВД по Днепропетровской области об обсуждении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г. 9—10 января 1939];

— Условия военно-топографических работ весьма затрудняют перевоспитание и исправление плохого состава красноармейцев [Красная звезда. 1930. 4 нояб.].

Превращение *плохого* в *хорошее* при помощи очистки и обработки удивительным образом сближает это новое советское употребление прилагательного *хороший* с его этимологическим значением. Изначальная семантика корня \**chor-* — ‘грубый’, ‘темный’, ‘шершавый’,<sup>17</sup> семантическое развитие прилагательного *хороший*, восходящего к этому корню, можно условно представить как: ‘природный’ (необработанный) > ‘обработанный, очищенный’ > ‘соответствующий положительной оценке’. Однако считать *хорошим* только *изначально советское* и *сделанное советским*, вовсе отрицая ценность этических добродетелей, все же было невозможно — слишком уж устойчиво было и остается представление о хороших людях, согласно которому под *хорошим* и *человеческим* в личности в первую очередь понимается способность делать добро и отсутствие эгоизма.

Поступать с *хорошим несоветским человеком* так же, как с *нехорошим советским*, то есть подвергать его обработке, было нельзя, поскольку трудно себе представить обработку *хорошего*, но *несоветского* человека без его собственного желания меняться. В такой ситуации антисоветской положительности должно было быть противопоставлено что-то соизмеримое, но при этом советское<sup>18</sup>. Подобной промежуточной кате-

<sup>17</sup> Можно обратить внимание на существование большого количества производных слов с корнем \**chor-*, имеющих значение ‘очищать, обрабатывать’: полес. *хорошит* ‘лущить, чистить’, белор. *хорошыць* ‘чистить’, *хорошіць* ‘очищать овощи от листьев и корешков’; белор. диал. *хорошыты* ‘чистить рыбу, морковь, картошку’ (ЭССЯ, с. 81, 83). См. также н.-луж. диал. *chorrawu* ‘неровный’, болг. *храпавый* ‘ухабистый’ (Там же, с. 82—83). Эти слова со значением обработки и очистки позволяют предположить, что значение корня \**chor-* было связано с представлениями о природности и изначально состоянии объекта — грубом, шершавом, необработанном, неочищенном.

<sup>18</sup> Недостаток подобной промежуточной категории хорошо виден в цитате из мемуарных записей Д. Самойлова: *Когда приходит ко мне человек, я... сбиваюсь на домашние оценки и говорю: «Хороший мальчик. Он не лжет, не крадет, не бранится, не сделает мне пакости, не обманывает жену, подает нищим, пишет диссертацию о Расине, потому что не может писать о Софронове. «Хороший мальчик». А на самом деле: кой черт его чистота, если он белоручка, если он пальцем не шевельнет для своих убеждений, если он отрекается от работы для народа, если он ищет легчайшего пути!* [Д. Самойлов. Поденные записи. 1948].



горией между *хорошим человеком* и *хорошим коммунистом* стало обозначение *настоящий человек* — одновременно добродетельный и советский:

— Милюков прежде всего хорош и глубок как *настоящий человек* и *настоящий комсомолец* [П. Филонов. Дневник. 1930—1939];

— «*Настоящий человек на настоящем месте*» [Красная звезда. 1927. 17 июня];

— Никто не заставляет делать паровозы из старых ведер или консервы из картофельной шелухи. А я должен сделать не паровоз и не консервы, а *настоящего советского человека*. Из чего? [А. Макаренко. 1935];

— Передо мной гражданин нашей страны в подлинном смысле этого слова, со всеми его отличительными особенностями мужеством, простотой, зоркостью, чуткостью и искренней добротой. Это характерные черты кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР товарища Майорова. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что он — *настоящий, стойкий коммунист* [Вечерняя Москва. 1938. 9 июня].

Прилагательное *настоящий*, в отличие от прилагательного *хороший*, имеет более однозначную шкалу оценки — *настоящий* 'соответствующий представлениям о том, каким должен быть подобный объект' vs *не настоящий* 'не соответствующий представлениям о том, каким должен быть подобный объект' (ср. дробную оценочную шкалу *хорошего*: *хороший, неплохой, нехороший, плохой*). За счет этой большей однозначности и более прямой связи с представлениями о норме прилагательное *нормальный* обычно обозначает в советском языке или соответствие норме (*настоящих* 'такой, каким должен быть каждый'): *Настоящих людей взрастили / Нашей партии свет и тепло! / Комсомол / молодежной силе — / Превосходное русло!* [А. Безыменский. 1923] или сильное превосходство над нормой (*настоящий* 'такой, которым в прекрасном мире будущего должен быть каждый'): «*Повесть о настоящем человеке*»<sup>19</sup>; ср. также: *Все летчики любили Чкалова, О нем говорили так: «Это настоящий человек, наш парень»* [Вечерняя Москва. 1938. 17 дек.].

Несмотря на тенденцию заменить *хорошего человека*, на *настоящего*, прилагательное *хороший* активно использовалась для характеристики советских коммунистов. В таких контекстах значение этого прилагательного сводится к маркеру соответствия идеологической норме — 'такой, который соответствует принципам и требованиям социалистического мира':

— Преподавателями истории партии нужно выделить лучших большевиков, надежных, устойчивых, теоретически стойких и образованных. Никакой кон-

<sup>19</sup> Однако в 1940-е годы стремление к самому хорошему: *Это была та самая встреча с Ч., когда он подарил мне свой портрет с надписью: «Если быть — так быть лучшим»* [В. Каверин], сменяется самовосприятием, основанном на идее *среднего, простого и нейтрального* и возникающим в результате формирования и тиражирования представлений о норме: *Я такой же, как все. / Я не лучше, не хуже* [К. Симонов]; *Я как все, не хуже, не лучше* [А. Баркова]; *Быть может, юность дней моих, / стянув ремень рабочий туже, / была не лучше всех других, / но уж, конечно, и не хуже* [Я. Смеляков].



троль не поможет, если не обеспечено главное – хороший, идейно крепкий состав лекторов, преподавателей, руководителей [Правда. 1935. 7 марта (передовая «Глубже изучать историю партии!»)];

– Есть целые села, где сознательно патент для торговли вином Е[диное]П[отребительское]О[бщество] не берет по желанию населения. Так вот, по-моему, этот клин должен быть вышиблен: <...> [п]осылкой хороших, выдержанных, стойких коммунистов. Сейчас, особенно секретаря ячейки и райпарткомов, предов преодолевают (sic!) за кампанию выпить. А хороших послать надо, их хорошо обязательно материально обеспечить [Письмо М. Наумова И. В. Сталину. 1926];

– Тов. Филиппе – член ЦК играл и продолжает играть очень значительную роль в негритянской работе, среди молодежи и партии. Он способный и хороший товарищ, из которого может выйти хороший руководитель негритянских рабочих [Из информационного письма руководителей Союзов молодежи США в Исполком коммунистического интернационала молодежи. 1925].

#### 4. Качества материала и «материальные» качества

Помимо прилагательного *хороший*, выражающего наиболее общую положительную оценку, для характеристики правильного советского человека также часто использовались и другие – *твердый*, *крепкий*, *стойкий*, *несгибаемый* и *надежный*. Все они описывали такого коммуниста, для которого характерна большая степень коммунистичности, сохраняющаяся несмотря на воздействие внешних факторов и окружающую его враждебную стихию<sup>20</sup>, то есть человека практически механического:

– Он *твердый коммунист* [Докладная записка Е. Г. Евдокимова И. В. Сталину от 18 января 1933];

– В партии его считали *крепким коммунистом* [В. Зазубрин. Горы. 1934];

– *Васеев растаскивать колхоз не дает, бросился на Васеева, хотели изжить Васеева, но стойкий коммунист отбросил далеко негодяев* [Письмо в редакцию «Крестьянской газеты». Конец 1938];

– *Во главе политического бюро должен стоять уездный начальник милиции, обязательно надежный коммунист, не менее чем с двухгодичным партийным стажем* [Из циркулярного письма ВЧК и НКВД РСФСР губернским отделам управления Советов от 15 февраля 1920].

Совсем другое значение слова *крепкий*, *стойкий*, *твердый* и *надежный* имеют в сочетании со словом *человек*. Все они характеризуют человека как ‘такой, который, несмотря на воздействие внешних факторов, сохраняет собственное мировоззрение и принципы’. В отличие от *крепкого* (*стойкого*, *твердого*, *надежного*) коммуниста, который максимально де-субъективизирован и механичен, характеризуемая таким образом индивидуальная личность очень субъектна:

<sup>20</sup> См. толкование слова *крепкий* и в особенности лексемы *крепкий*, написанное Т. В. Крыловой для Активного словаря русского языка: ‘Такой, который характеризуется большой интенсивностью или степенью и сохраняется, несмотря на воздействие внешних факторов’ (АС 2024, с. 537).



— [Председателя местного отделения чрезвычайной комиссии Орлова характеризует следователь Туманович] *Вы хорошо говорите, господин Орлов! <...> И вы очень твердый человек. Я чувствую в вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках* [Б. Лавренев. 1924];

— *Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим. Благородные, духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще...* [М. Горький. 1925];

— *Я требовал воспитания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива* [А. Макаренко. 1933].

Особенно интересно употребление в качестве человеческой характеристики прилагательного *прочный*, часто описывающего личность, но, в отличие от *твердого* и *крепкого*, не выступающего эпитетом для коммуниста. Характеризуя человека, это прилагательное означало 'такой человек, какая-либо из сфер жизни которого (психика, физическое здоровье, экономическое положение, быт) устроена надежно и хорошо'<sup>21</sup>:

— *Я вспомнил, как он (А. Блок. — К.К.) загорал, благотно, как загорают очень спокойные и прочные люди, какое у него было — при кажущейся окаменелости — восприимчивое и подвижное лицо* [К. Чуковский. 1921];

— *Продолжается самопоедание ком(м)унистов и выдвигание новых людей без традиций, желающих власти и земных для себя благ — среди них не видно прочных людей* [В. Вернадский. 1938];

— *Границы этой биологической прослойки (людей, склонных к самоубийству. — К.К.) расширяются. В отчаяние приходят и люди более прочные* [А. Луначарский. 1927].

В советскую эпоху прилагательное *прочный* описывает далеко не только людей и утилитарные материальные объекты (*прочный мир <союз>; прочный фундамент; прочный авторитет*), оно становится практически универсальной характеристикой:

— *Советская власть — вещь прочная. Рабочие и крестьяне создали ее не на год и не на десять лет!* [Советское искусство. 1939. 22 янв.];

— *Установив прочный национальный мир как залог несокрушимости Советской власти в Закавказье... мы выражаем твердую уверенность в том, что под испытанным и умелым Вашим руководством и под знаменами Коминтерна мы добьемся здесь, в преддверии Востока, могучего укрепления Советской власти* [Бакинский рабочий. 1922. 13 дек.];

— *Новые учебные планы (1937 г.) дают также недостаточное количество часов для прочного усвоения русского языка учащимися национальных школ (ЦК ВКП(б)... 2009, с. 323).*

<sup>21</sup> В советском языке в сочетании со словом *человек*, это прилагательное сохраняло нормы употребления XIX века: *Она нашла прочного человека, способного подержать ее. Он ее любит, просит ее руки, соглашается сразу на то, чтобы она была актрисой* [П. Боборыкин. 1882]; *Вообще говоря, и это глубоко отрадно, на Нижегородской ярмарке было много цельных, прочных русских людей; уметь заметить этих скромных, бесшумно работающих — половина сделанного дела* [К. Случевский. 1897].



Идея *надежности* и *прочности* всего вокруг выражалась в советском языке и другими рассмотренными выше прилагательными (*стойкий, надежный* и в особенности *крепкий* и *твердый*): *крепкий фундамент, крепкие [твердые] убеждения, твердый план, твердые знания, твердый (фиксированный) список лиц: Экзаменующиеся не распределены по экзаменаторам твердыми списками, как это было на уголовном праве; каждый волен выбирать себе экзаменатора* [Н. Устрялов. 1932]; *Поручить наркомам установить твердый список лиц, имеющих право знакомиться с решениями ЦК* [Постановление Политбюро по предложению Сталина. 8 апреля 1932. Протокол №95].

Советская метафорика, наполненная «металлическими» и «твердыми» названиями и понятиями (*железный занавес, перековка, Молотов, Каменев, Сталин*), легко включает в себя и рассмотренные выше характеристики *твердый, прочный, железный, крепкий, стойкий*. Характеризуя людей и другие типы объектов, эти прилагательные развивают образный потенциал металла, железа и бетона — новых материалов, заменивших в XX веке камень, — и логично встраиваются в общую тенденцию к «металлизации», которая в общих чертах может быть осмыслена как очередное «затвердевание культуры» (Паперный 1996). Неудивительно, что в такой затвердевающей системе *хороший коммунист* — это коммунист *крепкий, твердый, надежный и прочный*. Именно такими должны быть «люди-винтики» — материал, нужный на большой советской стройке, который куется, перековывается, а потом сдается в утиль. Главная роль человека — быть работником, совершать необходимые механизированные действия, а механическую работу, как отмечает Л. Мамфорд в своей книге о влиянии техники на развитие человечества, может выполнять только машина. «Личность рабочих, пока они были заняты трудом, как бы сводилась исключительно к рефлексам, чтобы обеспечивать механически совершенное исполнение» (Мамфорд 2001, с. 260)<sup>22</sup>.

Стремясь к технологическому прорыву и индустриализации, советская система переносила эти тенденции и на язык, поэтому характеристики, основанные на метафорическом осмыслении названий металлов, становились практически эмблематическими и хорошо подходили для выражения идеи *настоящего советского*. К ним можно отнести не только сочетания типа *крепкий (твердый) коммунист*, но выражения вроде *железная воля (рука)* или *стальные нервы*. Технические характеристики материалов, выступая как характеристики человека, описывали не только устойчивость его идеологической позиции, но и способность выдерживать нагрузки, работать без «сбоев», создавая особый идеологический образ советского субъекта, основанный на представлениях о прочности, стойкости и надежности и позволяющий увидеть, как качества «материала» превращаются в «материальные» качества человека.

<sup>22</sup> Усиленной механизации человеческого тела также способствовала война, которая «начинает превращать в реальность металлизацию человеческого тела, бывшую до того предметом мечты» (Беньямин 1996, с. 63).



## 5. Заключение

В статье осуществлена попытка показать, как семантическая эволюция слов *хороший* и *плохой* отражает важнейшие идеологические установки раннесоветской эпохи. Прилагательное *хороший* заняло центральное место в советском дискурсе благодаря своей универсальности и эмоциональной окраске, подходящей для выражения оптимизма и веры в социалистическое будущее. В этом контексте *хороший* становится не просто оценкой, а своего рода инструментом идеологического воздействия. Однако такая универсализация значения прилагательного *хороший* привела к его семантическому упрощению. В раннесоветской риторике оно часто утрачивает свою первоначальную функцию оценки, превращаясь в инструмент пропаганды, который подчеркивает положительные стороны окружающей действительности и скрывает внутренние противоречия. Более того, употребление *хорошего* в советских текстах нередко подразумевало не объективную характеристику, а нормативную установку: *хорошим* должно быть все, что связано с социалистическим проектом, а *плохое* либо изгоняется за пределы советского мира, либо подлежит исправлению.

Одновременно с этим *хороший человек* уступает место идеалу *настоящего человека*, который сочетает традиционные этические качества с социалистической идеологией. Особый интерес представляет противопоставление *хорошего человека* и *хорошего коммуниста*. Если первый остается носителем традиционных моральных качеств (доброты, честности, порядочности), то второй обретает новое содержание, связанное с идеологической лояльностью, дисциплиной и преданностью партии. Эта подмена ценностных ориентиров отражает глубокую трансформацию общества, где личные качества перестают быть самодостаточной основой для положительной оценки. Таким образом, понятие *хороший человек* отходит на второй план, уступая место новым категориям, таким как *настоящий человек* или *стойкий коммунист*, которые объединяют в себе личностные и идеологические характеристики.

Мы видим, как язык становится инструментом «перековки» не только людей, но и представлений о нормах и ценностях. *Хороший* в советском дискурсе символизирует не только позитивную оценку, но и соответствие новым социальным стандартам. Это отражается в текстах различной направленности — от лозунгов и официальных документов до детской литературы, где через упрощенные схемы *хорошего* и *плохого* воспитывается новое поколение советских граждан. Таким образом, анализ изменений в семантике *хорошего* и *плохого* показывает, как язык становится зеркалом идеологии, а также активным инструментом формирования нового типа личности. Эти наблюдения дают возможность глубже понять не только специфику советской языковой политики, но и более общие механизмы взаимодействия языка, общества и власти.

*Благодарности.* Автор благодарит Елизавету Эдуардовну Бабаеву, многократно читавшую и обсуждавшую эту работу.



## Список литературы

БЕНЬЯМИН, В., 1996. *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе*. Пер. с нем. С. А. Ромашко. М. [Benjamin, W., 1996. *Proizvedenie iskusstva v epokhu ego tekhnicheskoi vosproizvodimosti. Izbrannye esse* [A work of art in the era of its technical reproducibility. Selected essays]. Translated by S. A. Romashko. Moscow (in Russ.)].

Булыгина, Т. В., Шмелев, А. Д., 1997. *Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)*. М. [Bulygina, T. V. and Shmelev, A. D., 1997. *Yazykovaya kontseptualizatsiya mira (na materiale russkoi grammatiki)* [Linguistic conceptualization of the world (based on the material of Russian grammar)]. Moscow (in Russ.)].

Вайс, Д., 2007. Сталинистский и национал-социалистический дискурсы пропаганды: сравнение в первом приближении. *Политическая лингвистика*, 23, с. 34–60. [Weiss, D., 2007. Stalinist vs. Fascist Propaganda: How much do they have in common? *Political Linguistics*, 23, с. 34–60 (in Russ.)] EDN: JVMQVP.

Винокур, Г. О., 1925. *Культура языка*. М. [Vinokur, G. O., 1925. *Kul'tura yazyka* [Language culture]. Moscow (in Russ.)].

Винокур, Г. О., 1943. *Маяковский новатор языка*. М. [Vinokur, G. O., 1943. *Mayakovskii novator yazyka* [Mayakovsky is an innovator of language]. Moscow (in Russ.)].

Гройс, Б., 1993. *Утопия и обмен*. М. [Groys, B., 1993. *Utopiya i obmen* [Utopia and exchange]. Moscow (in Russ.)].

Гюнтер, Х., 2000. Соцреализм и утопическое мышление. *Соцреалистический канон*. Х. Гюнтер, Е. Добренко, ред. СПб., с. 41–48. [Gunther, H., 2000. Socialist realism and utopian thinking. In: H. Gunther and E. Dobrenko, eds. *Sotsrealisticheskii kanon* [The Socialist Realism canon]. St. Petersburg, pp. 41–48 (in Russ.)].

Добренко, Е., 1999. *Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры*. СПб. [Dobrenko, E., 1999. *Formovka sovetskogo pisatelya. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoi literaturnoi kul'tury* [The shaping of a Soviet writer. The social and aesthetic origins of Soviet literary culture]. St. Petersburg (in Russ.)].

Добренко, Е., 2000а. Соцреализм и мир детства. *Соцреалистический канон*. Х. Гюнтер, Е. Добренко, ред. СПб., с. 31–40. [Dobrenko, E., 2000a. Socialist realism and the world of childhood. In: H. Gunther and E. Dobrenko, eds. *Sotsrealisticheskii kanon* [The Socialist Realism canon]. St. Petersburg, pp. 31–40 (in Russ.)].

Добренко, Е., 2000б. Соцреалистический мимесис, или «жизнь в ее революционном развитии». *Соцреалистический канон*. Х. Гюнтер, Е. Добренко, ред. СПб., с. 459–471. [Dobrenko, E., 2000b. Socialist realist mimesis, or “life in its revolutionary development”. In: H. Gunther and E. Dobrenko, eds. *Sotsrealisticheskii kanon* [The Socialist Realism canon]. St. Petersburg, pp. 459–471 (in Russ.)].

Земцов, И. Г., 1985. *Советский политический язык*. Лондон. [Zemtsov, I. G., 1985. *Sovetskii politicheskii yazyk* [Soviet political language]. London (in Russ.)].

Карцевский, С. И., 1923. *Язык, война и революция*. Берлин. [Kartsevsky, S. I., 1923. *Yazyk, voyna i revolyutsiya* [Language, war, and revolution]. Berlin (in Russ.)].

Мамфорд, Л., 2001. *Миф машины. Техника и развитие человечества*. Пер. с англ. Т. Азаркович, Б. Скуратова. М. [Mumford, L., 2001. *Mif mashiny. Tekhnika i razvitie chelovechestva* [The myth of the machine. Technology and the development of mankind]. Translated by T. Azarkovich and B. Skuratova. Moscow (in Russ.)].

Мартин, Т., 2011. *Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в СССР, 1923–1939*. Пер. с англ. О. Р. Щелокова. М. [Martin, T., 2011. *Imperiya*



«*polozhitel'noi deyatel'nosti*»: *natsii i natsionalizm v SSSR, 1923 – 1939* [The Empire of “positive activity”: nations and nationalism in the USSR, 1923 – 1939]. Translated by O. R. Shchelokova. Moscow (in Russ.).

Мокиенко, В. М., Никитина, Т. Г., 1998. *Толковый словарь языка Совдепии*. СПб. [Mokienko, V. M. and Nikitina, T. G., 1998. *Tolkovyi slovar' yazyka Sovdepii* [Explanatory dictionary of the Soviet language]. St. Petersburg (in Russ.).

Ожегов, С. И., 1974. *Лексикология. Лексикография. Культура речи*. М. [Ozhegov, S. I., 1974. *Leksikologiya. Leksikografiya. Kul'tura rechi* [Lexicology. Lexicography. Culture of speech]. Moscow (in Russ.).

Паперный, В., 1996. *Культура Два*. М. [Paperny, V., 1996. *Kul'tura Dva* [Culture Two]. Moscow (in Russ.).

Постоутенко, К., 2000. Исторический оптимизм как модус сталинской культуры. *Социалистический канон*. Х. Гюнтер, Е. Добренко, ред. СПб., с. 481 – 491. [Postoutenko, K., 2000. Historical optimism as a mode of Stalinist culture. In: H. Gunther and E. Dobrenko, eds. *Sotsrealisticheskii kanon* [The Socialist Realism canon]. St. Petersburg, pp. 481 – 491 (in Russ.).

Селищев, А. М., 1928. *Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком последних лет (1917 – 1926)*. М. [Selishchev, A. M., 1928. *Yazyk revolyutsionnoi epokhi: iz nablyudenii nad russkim yazykom poslednikh let (1917 – 1926)* [The language of the revolutionary era: from observations on the Russian language of recent years (1917 – 1926)]. Moscow (in Russ.).

Селищев, А. М., 2003. *Труды по русскому языку*. Т. 1: Язык и общество. М. [Selishchev, A. M., 2003. *Trudy po russkomi yazyku* [Works on the Russian language]. Vol. 1: Language and Society. Moscow (in Russ.).

Ушаков, Д. Н., ред., 1940. *Толковый словарь русского языка: в 4 т.* Т. 4: С – Ящурный. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов и др., сост. М. [Ushakov, D. N., ed., 1940. *Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Explanatory dictionary of the Russian language: in 4 volumes]. Vol. 4: S – Yashchurnyi. Moscow (in Russ.).

Фицпатрик, Ш., 2008. *Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город*. Пер. с англ. Л. Ю. Пантина. 2-е изд. М. [Fitzpatrick, Sh., 2008. *Povsednevnyi stalinizm. Sotsial'naya istoriya Sovetskoi Rossii v 30-e gody: gorod* [Everyday Stalinism. The social history of Soviet Russia in 1930s: a city]. Translated by L. Y. Pantina. 2nd ed. Moscow (in Russ.).

Чудакова, М. О., 2001. *Избранные работы*. Т. 1: Литература советского прошлого. М. [Chudakova, M. O., 2001. *Izbrannye raboty* [Selected works]. Vol. 1: Literature of the Soviet Past. Moscow (in Russ.).

Шмелев, А. Д., 2012. Эволюция русской языковой картины мира в советскую и постсоветскую эпоху. *Константы и переменные русской языковой картины мира*. Зализняк, А. А., Левонтина, И. Б., Шмелев, А. Д. М., с. 537 – 549. [Shmelev, A. D., 2012. The evolution of the Russian linguistic worldview in the Soviet and post-Soviet era. In: A. A. Zaliznyak, I. B. Levontina and A. D. Shmelev, eds. *Konstanty i peremennye russkoi yazykovoi kartiny mira* [Constants and variables of the Russian linguistic worldview]. Moscow, pp. 537 – 549 (in Russ.).

Шпильрейн, И., Рейтгынбарг, Д., Нецкий, Г., 1928. *Язык красноармейца: Опыт исследования словаря красноармейца Московского гарнизона*. М.; Л. [Shpilrein, I., Reitynbarg, D. and Netsky, G., 1928. *Yazyk krasnoarmeitsa: Opyt issledovaniya slovarya krasnoarmeitsa Moskovskogo garnizona* [The language of the Red Army soldier: The experience of studying the vocabulary of the Red Army soldier of the Moscow garrison]. Moscow; Leningrad (in Russ.).

Штудер, Б., Унфрид, Б., 2011. *Сталинские партийные кадры. Практика идентификации и дискурсы в Советском Союзе 1930-х гг.* Пер. с нем. И. А. Золотарева. М. [Studer, B. and Unfried, B., 2011. *Stalinskie partiinye kadry. Praktika identifikatsii i*



*diskursy v Sovetskom Soyuze 1930-kh gg.* [Stalinist party cadres. Identification Practice and Discourses in the Soviet Union of the 1930s]. Translated by I. A. Zolotareva. Moscow (in Russ.).

Щеглов, Ю. К., 1990. Романы И. Ильфа и Е. Петрова: Спутник читателя: в 2 т. Т. 1: Введение. Двенадцать стульев. Вена. [Shcheglov, Yu. K., 1990. *Romany I. Il'fa i E. Petrova: Sputnik chitatelya: v 2 t.* [The novels of I. Ilf and E. Petrov: The reader's companion: in 2 volumes]. Vol. 1: Introduction. Twelve chairs. Vienna (in Russ.).]

Щеглов, Ю. К., 2009. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. 3-е изд. СПб. [Shcheglov, Yu. K., 2009. *Romany Il'fa i Petrova: Sputnik chitatelya* [The novels of I. Ilf and E. Petrov: the reader's companion]. 3d ed. St. Petersburg (in Russ.).]

Marx, K., 2022. *Thesen über Feuerbach*. Bonn.

Mazon, A., 1920. *Lexique de la guerre et de la révolution en Russie (1914–1918)*. Paris.

### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

АС – Активный словарь русского языка, 2024. Т. 4, ч. 2. Электронные текстовые данные. М. [AS – *Aktivnyi slovar' russkogo yazyka* [AS – Active Dictionary of the Russian language], 2024. Vol. 4, part 2. Electronic text data (in Russ.)] <https://doi.org/10.31912/978-5-4439-3806-6>.

БАС – Словарь современного русского литературного языка: в 17 т., 1965. Т. 17: X – Я. М.; Л. [BAS – *Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t.* [BAS – Dictionary of modern Russian literary language: in 17 volumes], 1965. Vol. 17: Kh – Ya. Moscow; Leningrad (in Russ.).]

Гайдар, А., 1972. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М. [Gaidar, A., 1972. *Sobranie sochinenii: v 4 t.* [Collected works: in 4 volumes]. Vol. 2. Moscow (in Russ.).]

Евгеньева, А. П., ред., 1988. МАС – Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4: С – Я. 3-е изд. М. [Evgenieva, A. P., ed., 1988. *MAS – Slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [MAS – Dictionary of the Russian language: in 4 vol.]. Vol. 4: S – Ya. 3d ed. Moscow (in Russ.).]

Левидов, М., 1927. Простые истины (о читателе; о писателе). Л. [Levidov, M., 1927. *Prostye istiny (o chitatele; o pisatele)* [Simple truths (about the reader; about the writer)]. Leningrad (in Russ.).]

Луначарский, А. В., 1929. Молодая рабочая литература. Речь на собрании комсомольских писателей и поэтов. Искусство и молодежь. М., с. 66–94. [Lunacharsky, A. V., 1929. Young working literature. Speech at a meeting of Komsomol writers and poets. In: *Iskusstvo i molodezh'* [Art and youth]. Moscow, pp. 66–94 (in Russ.).]

Петров, Е., 2001. Мой друг Ильф. М. [Petrov, E., 2001. *Moi drug Il'f* [My friend Ilf]. Moscow (in Russ.).]

Тринадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет, 1963. М. [Trinadtsatyi s"ezd RKP(b). *Stenograficheskiy otchet* [The Thirteenth Congress of the Russian Communist Party(b). Verbatim report], 1963. Moscow (in Russ.).]

Трубачев, О. Н., ред., 1981. ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 8: \*ха – \*jъvъlga. М. [Trubachev, O. N., ed., 1981. *ESSYa – Etimologicheskii slovar' slavyanskikh yazykov. Praslavyanskii leksicheskii fond* [ESSA – Etymological Dictionary of Slavic Languages. Proto-Slavic lexical fund]. Issue 8: \*ха – \*jъvъlga. Moscow (in Russ.).]

ЦК ВКП(б) и национальный вопрос, 2009. Кн. 2: 1933–1945. М. [TsK VKP(b) i *national'nyi vopros* [The Central Committee of the CPSU(b) and the National Question], 2009. Book 2: 1933–1945. Moscow (in Russ.).]

Nabokov, V., 1981. *Strong Opinions*. New York.



## Об авторе

Ксения Павловна Костомарова, младший научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

ORCID ID: 0000-0003-0760-4774

E-mail: kostomaa@gmail.com

### Для цитирования:

Костомарова К. П. Что такое *хорошо*: к истории оценочных прилагательных в языке раннесоветской эпохи // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, № 3. С. 169–188. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-11.



## WHAT IS GOOD: TO THE HISTORY OF EVALUATIVE ADJECTIVES IN THE LANGUAGE OF THE EARLY SOVIET PERIOD

*Ksenia Kostomarova*

Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences,  
18/2 Volkhonka St., Moscow, 119019, Russia

Submitted on 10.12.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-11

*The article is devoted to the semantic evolution of the evaluative adjectives 'horoshii' and 'plohoi' ('good' and 'bad') in the early Soviet language. Through the use of party documents, propaganda slogans, letters to the government and literary texts of the 1920–1930s, the article reveals how these words turned into universal markers reflecting conformity to new social and political standards. The first part of the article analyzes the role of the adjective 'good' as a universal rhetorical tool used to create an optimistic image of socialist reality. This word gradually loses its subjective evaluative value, turning into a standard ideological stamp symbolizing positivity and conformity to socialist norms. The second section discusses the reinterpretation of the concept of a good person and the emergence of the opposition between a good person and a good communist, where the former remains the bearer of personal virtues and the latter – the embodiment of socialist ideals. The concept of a true person is seen as a compromise between these categories. The third section is devoted to the metaphorical concepts of strength, resilience, and reliability, which become central to the description of Soviet man and social structures. These characteristics, formed on the basis of technical metaphors, reflect the industrial and collectivist spirit of the era. The methodology includes discourse analysis and semantic research, which make it possible to examine how language, in shaping normative concepts, becomes a crucial instrument of ideological influence by consolidating socialist values through the semantic transformation of everyday language.*

**Keywords:** soviet lexicon, semantic evolution, ideology, good, bad, discursive change, early Soviet period, language policy



### The author

*Ksenia Kostomarova*, Junior Research Fellow, Institute of Russian Language of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0003-0760-4774

E-mail: kostomaa@gmail.com

#### To cite this article:

Kostomarova, K.P., 2025, What is *good*: to the history of evaluative adjectives in the language of the early Soviet period, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 169–188. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-11.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed (CC BY-NC 4.0) LICENSE ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

**СЕМИОТИКА КОНЦЕПТА «НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК»  
В ТВОРЧЕСТВЕ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ:  
ОТ ЦИКЛА «МИР ПОЛУДНЯ»  
ДО РОМАНА «ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ»**

***Т. В. Савина***

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ,  
630102, Россия, Новосибирск, ул. Нижегородская, 6  
Поступила в редакцию 29.10.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-12

*Предпринята попытка реконструкции генезиса концепта «новый советский человек» в русле коммунистической идеологии. Междисциплинарная исследовательская оптика позволяет анализировать развитие концепта «советский человек» на границе между лингвистикой и историей сквозь призму художественного текста братьев А. Н. и Б. Н. Стругацких. В результате художественный текст рассмотрен здесь как семиотическая модель коммуникации, в которой отправитель текста и его адресат связаны между собой языком повествования в качестве объектов исторического анализа. Тема «нового человека» составляет историсофское ядро творчества братьев Стругацких. Уже в ранних произведениях братья Стругацкие сформулировали магистральные характеристики концепта «советского человека» как человека труда (дела), человека долга (жертвы) и человека науки (просвещения). Этот концепт претерпел в творчестве Стругацких существенную трансформацию. Анализ семиосферы романа «Град обреченный» (1975) показывает, что Стругацким удалось через знаковую систему образов проследить генезис концепта «советского человека», от революционера-разрушителя 1920-х годов к строителю-созидателю 1930-х; от человека-исполнителя («винтика государственной машины») 1940–1950-х годов до человека «развитого социализма» 1960–1970-х. Это, в свою очередь, позволяет обозначить как дефициты концепта «нового советского человека» (в первую очередь, его зависимость от идеологии), так и его вневременную витальность и привлекательность.*

**Ключевые слова:** «новый советский человек», концепт, семиотика, братья Стругацкие, «Град обреченный»

## **1. Введение**

К фундаментальным вопросам современного гуманитарного знания принадлежит проблема осмысления феномена советской цивилизации и, как ее частный случай, — реконструкция генезиса «советского человека». Трансформацию традиционных социальных ролей и формирование советской идентичности акторов активно изучает историческая наука. Исследователи строят разные объяснительные модели,



которые порой разнятся радикальным образом. Палитра черт советской идентичности крайне широка: от приспособления и мимикрии до полной идентификации с ценностями советского современного проекта<sup>1</sup>.

Синтез объяснительных моделей позволяет выдвинуть тезис о четырех магистральных характеристиках «нового советского человека». Во-первых, проект «советского человека» представлял собой плод реализации базовых идей эпохи Просвещения, в первую очередь — идей эмансипации в области образования, гендерной эмансипации, эмансипации молодежи и т.д. Клаус Гества констатировал: «Миф о “новом человеке” — изобретение вовсе не советское, это часть европейской истории идей, начинающаяся с XVIII в. <...> Но ни в одной другой стране миф о “новом человеке” не имел настолько сильного влияния на характер социальной идентичности и политическое воздействие, как в Советском Союзе» (Гества 2013, с. 111). Во-вторых, «новый советский человек» был человеком труда в обществе, где труд воспринимался как высшая социальная ценность. В-третьих, «советский человек» обязательно был человеком героическим, а Советский Союз — страной героев (Савин 2019). В-четвертых, «советский человек» в обязательном порядке был «человеком политическим», причем степень его политического участия была максимальной с учетом того, что советская власть политизировала все сферы жизни, начиная с работы и заканчивая досугом.

Филологическая наука также интенсивно изучает советский проект и изменения в русском языке советского периода. В основном усилия лингвистов направлены на исследования семантических трансформаций в языке, происходивших под давлением идеологии, с привлечением обширных лексикографических источников в виде толковых словарей и прецедентных текстов<sup>2</sup>. В целом лингвисты опираются на тезис, сформулированный М.М. Бахтиным, что язык сам по себе не может выражать никакой политической идеологии — только носитель языка способен транслировать идеологию через язык, адаптируя лексические средства к политическому заказу (Бахтин 1986), поэтому именно язык становится ключом к пониманию революционной трансформации русского ментального мира в мир «советского человека» (Халфин 2023).

Специфика развития русского языка под давлением идеологии помещает исследования идеологием советского времени, к которым, несомненно, относится концепт «нового советского человека», на границу между историческим знанием и лингвистикой. В результате привычные методы изучения концептов как взаимоотношения языковых еди-

---

<sup>1</sup> Написанная историками литература на тему «нового советского человека» огромна. В качестве двух полярно противоположных точек зрения см.: (Fitzpatrick 2005; Куомиа 2003). Судьба советского проекта по созданию «нового человека» в постсталинский период с разных точек зрения рассматривается, например, в сборнике статей (Пинский 2018).

<sup>2</sup> Лингвистических исследований концепта «советский человек» гораздо меньше. Необходимо выделить исследования: (Купина 1995; 2012). См. также: (Савина 2023; Сичинава 2022; Фокин 2022) и работы А.П. Чудинова в русле политической лингвистики, изучающей влияние общественных и политических событий на изменения в языке.



ниц и языковых элементов не срабатывают. Семантический анализ также оказывается недостаточным для того, чтобы проследить глубинные смыслы и трансформации концептов с учетом экстралингвистических факторов. Языкознание, в свою очередь, рассматривает идеологические концепты в политическом диалоге между властью и населением как «сверхтекст», то есть как совокупность высказываний, объединенных содержательно и имеющих единую модальную установку (Купина 1995, с. 53). По мысли Ю.М. Лотмана, текст работает как «мыслящее устройство» — не только передает значения, но и порождает новые смыслы. Такая постановка вопроса дает возможность поместить идеологические концепты в семиотическую модель коммуникации (Лотман 2000, с. 152), в которой отправитель текста и его адресат как объекты исторического анализа связаны между собой языком. Язык таким образом является единым каналом информации, идеологема становится знаком, а лингвистический инструментарий исследования получает решающее значение (Иванова 2020).

Цель настоящей статьи — воспользоваться методологическими новациями лингвистического поворота в истории и попытаться реконструировать сложный процесс генезиса формирования «нового советского человека» с использованием оригинальной исследовательской оптики — посредством анализа семиотики ряда произведений А.Н. и Б.Н. Стругацких с акцентом на роман «Град обреченный».

Исследователи советского проекта не впервые обращаются к творчеству братьев Стругацких. Так, Райнер Гольдт рассмотрел проблему формирования нравственного идеала личности ученого в условиях постсталинского времени в романе «За миллиард лет до конца света», который он охарактеризовал как «программный» «для научного этоса позднего СССР» (Гольдт 2012, с. 85). Существует множество философско-религиозных, социально-политических, психологических и прочих интерпретаций романа «Град обреченный». Однако с точки зрения жанра «Град...» более всего подходит под определение «романа-метафоры»: исторический процесс XX века и человек в нем сливаются в один образ, а нарратив имеет явно знаковую природу.

Тема «нового человека», человека будущего, коммунара, человека труда составляет историософское ядро творчества Стругацких. Вопрос о том, как из человека прошлого воспитать или сделать человека будущего, в том числе путем насилия, — коренной вопрос творчества Стругацких — явно или подспудно присутствует во всех их главных произведениях: герои «Мира Полудня», «прогрессоры» из романа «Трудно быть богом», «людены» из романа «Волны гасят ветер». Но и здесь «Град обреченный» (1972–1975), впервые полностью опубликованный в 1989 году, занимает особое место. Это также роман-ретроспекция: авторы, будучи сами продуктами советской эпохи, последовательно проводят героя через все стадии развития коммунистической идеологии, от романтизированной идеи революционного преобразования мира до застывшей «площади со статуями» эпохи так называемого «застоя». Иными словами, братья Стругацкие предприняли попытку в художе-



ственной форме проследить трансформацию концепта «советский человек» вплоть до семидесятых годов и даже предсказать дальнейшее его развитие.

## 2. Концепт «нового советского человека» в «Мире Полудня»

### 2.1. «Человек труда»

Литература «оттепели» ознаменовала начало разрушения официального языкового канона. Уже первые произведения братьев Стругацких заметно отличались языком повествования, который был практически лишен языковых шаблонов и стремился к естественности. При этом парадоксально, но практически все их произведения, входящие в цикл коммунистического «Полудня», можно отнести к «производственному» роману, хотя они написаны в жанре научной фантастики (Тулчинский 2024). Как отмечал Г. Горин (1959) в рецензии на «Страну багровых туч», «их тема — люди в космосе, простые советские люди». Собственно, от фантастики там остался только антураж — покорение Венеры, космические корабли, поиски урановой Голконды. Конфликты же и ситуации — полностью производственные, которые могли случиться при работе, допустим, в пустыне или горах. «Советскость» героев определяется не столько гражданской идентичностью, сколько преданностью своему делу. Так, например, и космонавт-индус, найденный мертвым в своей ракете, и британский астронавт, терпящий бедствие в космосе, и китайский звездолетчик — все они объединяются авторами в сообщество людей, которые трудятся на своем посту. «Путь на Амальтею» и «Стажеры» тоже не выходят за рамки «производственного романа», поскольку коллизии путешествия «оверсаном» на Юпитер вполне соответствуют земным проблемам на дальних маршрутах или в исследовательских партиях на Крайнем Севере. Локальные указатели, входящие в идеологему пространства *Советский Союз*, говорят о том, что на раннем этапе творчества будущее мыслилось Стругацкими определенно коммунистическим: «На вершине глыбы, вытянув руку над городом, весь подавшись вперед, стоял Ленин <...>. Ленин протягивал руку над этим городом и над этим миром, над сияющим и прекрасным миром, который он видел два столетия назад» (Стругацкий, Стругацкий 1992а, с. 79).

### 2.2. Деидеологизация концепта.

#### *От «человека труда» к «человеку дела»*

В ранних произведениях Стругацких все еще очень силен пафос «борьбы», «героя» и «жертвы». Инерция развития литературного процесса предшествующих периодов была такова, что в концепт «советского человека» оказалась прочно вшита семантика «подвига». К 1970-м годам литература и кинематограф создали целую галерею «героев-революционеров», «пионеров-героев», «героев-фронтовиков», «героев трудового подвига». Формула «мы — советские люди» в литературе всегда



предполагала изображение крайних ситуаций — если не подвига, то героического поступка, или напряжения всех сил, или решительного шага, или непростого решения<sup>3</sup>.

Жертвуют жизнью и герои «Страны багровых туч», и герои «Стажеров», но не ради некоей политической идеи, а ради науки, то есть ради своего дела. Уже в произведениях цикла «Полдень, XXI век» авторы настойчиво подчеркивают ядерное значение семантического поля концепта «советский человек» — это человек *дела*, когда подвиг является лишь производной, он возможен в крайней ситуации, но не абсолютно обязателен. Для Стругацких «советский человек» — это уже не герой, жертвенно кладущий свою жизнь на «подходящий алтарь»<sup>4</sup>, а человек дела. Пожалуй, впервые в советской литературе прозвучала тема «маленького советского человека» в противовес «героической» литературе 1930–1940-х годов.

«Маленькие советские люди» Стругацких не все летают в космос, но на них держится «равновесие мира», поскольку каждый из них занят своим делом. Словами героя «Стажеров» Ивана Жилина, штурмана звездного корабля, авторы формулируют свое кредо: «Такими, какими мы становимся, нас делают люди. <...> Раньше главным было дать человеку свободу стать тем, чем ему хочется быть. А теперь главное — показать человеку, каким надо стать для того, чтобы быть по-человечески счастливым» (Стругацкий, Стругацкий 1992б, с. 182). В противопоставлении «раньше» и «сейчас» уже прослеживается сдвиг от официальной партийной идеологии в сторону общих социальных ценностей.

Интересно, что уже на раннем этапе творчества Стругацкие избегают использовать слово «труд» в его идеологизированном и героизированном значении: передовой отряд трудящихся, социалистический труд, класс трудящихся, советские люди, трудящиеся всех стран и т. п. В этом смысле значение понятия «дело» больше тяготеет у них к «работе», чем к «труду». При этом «дело» намеренно лишено каких-либо оценочных эпитетов, свойственных употреблению слова «труд» («священный», «великий», «святой» или, в духе агитационной поэзии В. Маяковского, «боевой»). Единственный, пожалуй, эпитет, который используют Стругацкие, это «дело всей его жизни», что вполне соответствует общему посылу их произведений.

Замена в семантической парадигме понятия «советский человек» семьи «труд» семьей «дело» способствовала опосредованной и неявной деидеологизации всего концепта, это была скорее всего интуитивная попытка разрушить официальную языковую формулу, не посягая на ее

<sup>3</sup> Например, сборник рассказов Бориса Полевого «Мы — советские люди» (Полевой 1948) включал сюжеты не только военных, но и трудовых подвигов на стройках, производстве, в частной жизни, даже в искусстве. Сборник получил Сталинскую премию второй степени.

<sup>4</sup> Примечателен диалог между героями «Стажеров»: один видит «смысл жизни в том, чтобы положить живот на подходящий алтарь», то есть в подвигах и героической смерти, другой убежден в том, что «рисковать жизнью разрешается только ради жизни. Это придумали не люди. Это продиктовала история, а люди только сделали эту историю» (Стругацкий, Стругацкий 1992б, с. 243–244).



содержание. Происходил принципиальный, но пока очень тонкий сдвиг — «советский человек» оставался человеком труда, но труд мыслился Стругацкими как *modus operandi* любого человека вне зависимости от его гражданской идентичности.

### 2.3. От «коммуниста» к «коммунару»

При замене семы «труда» на сему «дело» «советскость» ранних героев Стругацких становится внепартийной. Да, они живут в коммунистическом завтра, но заняты не столько политическим и социальным, сколько технологическим преобразованием мира. Пожалуй, единственный случай, когда Стругацкие акцентировали партийную принадлежность героев «Страны Багровых туч», таков: «Их человеческие черты сцементированы общим для всех глубоким, бесценным фоном: все они коммунисты, люди чести и дела» (Стругацкий, Стругацкий 1993а, с. 99). Однако в целом Стругацкие практически не используют слово «коммунист», предпочитая номинацию «коммунар» и в этом проявляется существенная разница: «коммунист» — это партийная принадлежность, в то время как «коммунар» для них — это идейная и даже этическая основа человеческих поступков и суждений. «Коммунар» — это романтизированное представление самих Стругацких об идее всеобщего счастья. Даже в более позднем творчестве они не отказываются от идеи «коммунаров». Один из героев повести «Трудно быть богом», разведчик Земли на отсталой планете, говорит: «В каждом из нас благородный подонок борется с коммунаром. И все вокруг помогают подонку, а коммунары один-одинешенек — до Земли тысяча лет и тысяча парсеков. <...> Останемся коммунарами» (Стругацкий, Стругацкий 1990б, с. 136).

Для Стругацких «коммунар» — это отнюдь не член коммунистической партии, но это определенно идеолог, чье предназначение, однако, они понимали иначе, чем советская власть (Стругацкий 2001). По их убеждению, «коммунар» должен был заниматься воспитанием личности, а не «дрессировкой человек» (Стругацкий, Стругацкий 1993б, с. 422), то есть только политическим воспитанием. По этой причине в произведениях Стругацких совершенно отсутствуют «трудящиеся массы» как «передовой отряд», поскольку в коммунистическом завтра они, по мысли авторов, уже качественно изменились. СобираТЕЛЬНЫЙ герой Стругацких — это только представитель научной интеллигенции, то есть человек рефлексирующий, который уже действует не по внешнему, а по выбору.

Идея «нового человека», которого воспитает новое общество, была настолько привлекательной, что даже при очевидной дискредитации советской политической практикой она оказалась невероятно устойчивой к разрушению по всем четырем базовым составляющим: человек-просветитель, человек труда, герой и активный участник социальных преобразований. Трудно спорить с объективно положительным зарядом каждой из составных частей этого концепта. Однако, если убрать цементирующую этот концепт идеологическую модальность, то каж-



дый из элементов поддается если не демифологизации, то критическому переосмыслению. Именно это сделали Стругацкие в романе «Град обреченный», поместив рядового советского человека в пространство, в котором изначально нет не только подобия идеологии, но даже какого-либо внятного социального строя.

### 3. «Советский человек» в идеологическом вакууме «Града обреченного»

Братья Стругацкие писали роман «Град обреченный» в 1970-х годах в состоянии мировоззренческого кризиса. Как они вспоминали позднее, «единственная существующая теория перехода к Обществу Справедливости оказалась никуда не годной, а никакой другой теории на социологических горизонтах не усматривается» (Стругацкий, Стругацкий 1993б, с. 429). Роман писался «в стол», поэтому авторы не были ограничены ни соображениями цензуры, ни конъюнктурой. Сами Стругацкие утверждали, что основной задачей романа было «показать, как происходит перелом в психологии, как происходит перелом в мировоззрении человека, который начинает как верующий раб, потом теряет веру, теряет бога, теряет хозяина и остается в безвоздушном пространстве, без опоры под ногами» (Бондаренко, Курильский 2014, с. 474).

Главный герой Андрей Воронин попадает в рамках некоего Эксперимента из СССР 1951 года в искусственное пространство — Город, Жители которого раз в месяц меняют работу на основании закона «о праве на разнообразный труд». Воронин последовательно становится мусорщиком, следователем прокуратуры, главным редактором городской газеты. В этой точке карьеры он переживает политический переворот и попадает на вершину сообщества — становится советником господина президента. В этом качестве он возглавляет экспедицию, чтобы дойти до края мира. Потеряв по дороге команду и оборудование, пережив сюрреальные события, он в итоге стреляется и возвращается в 1951 год.

С точки зрения метакоммуникативной функции текста дата «1951 год» является, несомненно, культурным кодом для читателя. Начало 1950-х годов — это пик сталинской власти, когда форма и содержание идеологического высказывания были слиты воедино (Юрчак 2014, с. 268), то есть возможность сверттекста «порождать новые смыслы» жестко подавлялась идеологическими рамками.

#### 3.1. «Разрушитель-мусорщик»

В начале романа Воронин появляется в Городе со всем накопленным советским идеологическим багажом. Абсолютно закономерно, что по своей первой профессии в Городе он — *мусорщик*, а пространство, в которое помещен Воронин, — это *руины* прошлого города. Мотив разгребания *мусора* и строительства *нового* весьма характерен для литературы и поэзии 1920-х годов в полном соответствии с месседжем «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем /



Мы наш, мы новый мир построим...» Он готов трудиться и бороться, пусть даже с неясными целями. Он стремится к переделке мира, в который попал, пусть даже не осознавая, какими средствами. Он — настоящий «советский человек», готовый пожертвовать жизнью во имя Сталина, даже при его отсутствии в этом пространстве.

Человеческий ресурс Города конструируется Стругацкими как многонациональный — здесь и русские, и немцы, есть шведка, китаец, японец, американец, итальянец, поляк. Воронин с ходу включает всех в свое личное пространство как участников борьбы в мировых масштабах. Правда, ему не совсем понятно, за что именно — ну пусть будет, допустим, «установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами» (Стругацкий, Стругацкий 1990а, с. 63).

В целом Воронин-мусорщик показан как «советский человек» двадцатых-тридцатых годов XX века в его «накаленном, героизированном варианте» (Черняховская 2011, с. 65), но что действительно прописано выпукло, так это его высокомерие «советского человека». Как с горечью говорил Борис Стругацкий, «выросло... поколение... нравственно изуродованных, сгорбленных, скрюченных до того, что сами себе казались высокими и стройными, а весь мир вокруг представлялся им изуродованным, сгорбленным и скрюченным, а следовательно — нуждавшимся в решительном исправлении» (Стругацкий, Стругацкий 1993в, с. 433). Воронин искренне полагает себя носителем уникального опыта по переустройству мира и на этом основании считает себя лучше других, с ходу поучая шведку Сельму, как жить и что делать: «В люди бы вышла... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм». Узнав, что Сельма Нагель — проститутка, Воронин гордо прощает ее: «И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счета» (Стругацкий, Стругацкий 1990а, с. 45–46). Советский человек искренне считал, что *мы* — лучшие, потому что у нас за плечами такие жертвы; *мы* лучше всех знаем, как надо, потому что у нас такой опыт; *мы* лучше других умеем, потому что столько всего сделали — семантика превосходства над «другими», не «советскими», была прочно и надолго встроена в концепт «советского человека».

### 3.2. «Советский человек» как «винтик»

При смене профессии Воронин становится следователем прокуратуры, человеком — винтиком государственной машины, что отражает концепт «советского» человека, доминировавший в 1940–1950-е годы. Пространство вокруг Воронина наполнено пугающей угрозой — мифический Антигород (источник возможной агрессии), мифическое Красное здание (источник разрушающего скептицизма и сомнения), мифические люди, падающие с Желтой стены (источник внутренней угрозы). Выполняя «свой долг перед Экспериментом», Воронин отправляет в тюрьму лучшего друга, жертвует связями с близкими, совершает предательство по отношению к самому себе, но все это ради общественного блага. «Что такое единица? Ноль без палочки. Не о



единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы обязаны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писанные и неписанные законы. У нас один закон: общественное благо» (Там же, с. 145). «Советский человек» сталинской эпохи был только *деталью* одного большого дела.

Интересно, что для описания именно этого периода Стругацкие создают впечатляющую метафору Красного здания, попадая в которое Воронин играет в шахматы с не названным по имени «великим стратегом», в котором без труда узнается Сталин. Жертвует фигуру за фигурой, Воронин мучается мыслью: «Я... всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И никакой я не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик<sup>5</sup> в его колоссальной машине» (Там же, с. 110). В этих рассуждениях Воронина отчетливо виден тот значительный сдвиг в модели «советского человека», который произошел к середине тридцатых годов, от индивидуального к массовому (Молостова 2012, с. 171). Формировался человек, чувствовавший себя только частью общего дела — построения коммунизма. И труд, и героизм утратили индивидуальные черты, стали коллективными, а раннесоветские идеи просвещения «советского человека» приняли форму массовой социальной мобильности, когда посредством трудового или военного подвига можно было не только выйти на другой социальный уровень, но и войти в партийную элиту.

Приобщенность к одному большому делу формировала чувство ответственности. Воронин-следователь постоянно апеллирует к своему «долгу перед Экспериментом», однако при этом он удивительно инфантилен, не может самостоятельно принять ни одного решения и постоянно советуется с Наставником. Наставник — одна из самых загадочных фигур в этом пространстве. По мнению Воронина, он обладает уникальным знанием об этом мире, является организатором Эксперимента и некой направляющей силой. Наставник вездесущ и мудр. Он единственный, кто является носителем идеологии, хотя отчетливо видно, что это идеология самого Воронина. Отношения между Ворониным и Наставником явно патерналистские и демонстрируют иерархию отношений, сложившуюся между партией и населением позднесталинского периода: только партия обладает знанием цели и ведет к нему незнающее большинство. Именно эта идеологическая модальность скрепляла воедино составные части концепта «советский человек». Емкий девиз «Партия — наш рулевой» авторства С. В. Михалкова семантически расширил значение «советский» до «коммунистический», поглотив и «большевиков», и «комиссаров» в их романтизированном и героизированном, но уже не актуальном значении.

---

<sup>5</sup> Использование Стругацкими метафоры «винтик» напрямую отсылает к знаменитому тосту И. В. Сталина на приеме в Кремле в честь участников парада Победы 25 июня 1945 года: «Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за “винтики”, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей» (Сталин 1997, с. 232).



### 3.3. «Советский человек» между потреблением и идеей

Назначение Воронина на третью профессию, редактора газеты, совпало с государственным переворотом. «Мы больше не признаем Эксперимент» — заявляет Воронин, хотя Наставник дает ему понять, что и хаос, и переворот — части Эксперимента. Перевороту предшествует нарастание тревоги, конфликт между руководством Города и частью населения, и как итог — хаос в Городе: над ним «выключили» солнце. Метафорически это можно понимать, как утрату идеологических ориентиров после смерти Сталина, непродуманных реформ Хрущева и «дворцового переворота» Брежнева. Если согласиться с мнением политолога А. Эванса, что после смещения Хрущева брежневское руководство столкнулось с проблемой «идеологического вакуума» (Evans 1994, p. 107), официально отказавшись от части прежней идеологии («мы больше не признаем Эксперимент»), но не придумав на замену ничего нового («Эксперимент продолжается»), то новой квазиидеологией становится идея всеобщего благосостояния, а социальная структура предельно проста: есть государственная элита и остальное население. В сущности, по отношению к остальным элита занимает место Наставников — руководит, объясняет, направляет. И Эксперимент действительно продолжается, поскольку в Город постоянно прибывают новички.

После переворота Воронин входит в элиту — становится советником нового президента. Элита занята пропагандой и потреблением, массы — просто потреблением. «Мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. <...> Или ты действительно считаешь, что это быдло можно поднять до элитарного уровня? <...> Быдло есть быдло» (Стругацкий, Стругацкий 1990а, с. 222–223). Новая пирамида привилегий не требовала трудового подвига, героизма или жертвы — только лояльности. При этом литература и кинематограф в Городе находятся в состоянии загнивания. Обитатели Города после переворота один час в день должны отработать на Великой стройке. Они все роют какую-то яму, никто, включая Воронина, не знает зачем. Каждый должен пройти тест на «уровень интеллигентности», тоже неизвестно для чего. «Вы отбираете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно», — говорит один из героев, предрекая «сытые бунты» (Там же, с. 222).

Парадоксально, но при отсутствии скрепляющей идеологической модальности концепт «советского человека» не развалился на части — каждый его элемент по отдельности утратил движение или рутинизировался. Оказывается, деидеологизированное общество неспособно развиваться, не имея цели (Черняховская, 2010, с. 83), и вместо «советского человека» появляется ироническая и критическая номинация



“*homo Sovieticus*”<sup>6</sup>, который, по оценкам ряда социолингвистов, есть просто «рупор партийных идей» (Юрчак 2014, с. 39). Ставка на массовость, когда советская идеология стремилась воспитать идеального исполнителя, обернулась безликостью массы и ее равнодушным отправлением ритуалов и обрядов.

### 3.4. «Советский человек» в «идеологическом вакууме»

Отправляясь в экспедицию, чтобы дойти «до конца этого мира или до его начала», Воронин, по сути, совершает побег. Он в буквальном смысле оказывается в вакууме, вне привычных рамок какого-либо общественного, экономического или политического уклада. Тем не менее в его команде существует та же иерархическая пирамида: «знающее» командование (элита), приближенные к элите научные кадры и солдаты-исполнители. Опять назревает бунт — команда не хочет идти, не зная куда и зачем. Из всех членов экспедиции с ним остается только Изя Кацман.

Здесь необходимо подчеркнуть, что Стругацкие, конструируя систему образов в «Граде» четко понимали, что имеют дело с разными поколениями советских людей: «Мы отличались от поколения отцов разве что тем, что полагали для себя возможным мрачно молчать в ситуациях, когда отцы наши вынуждены (или рады?) были исступленно возглашать славу или ура» (Стругацкий, Стругацкий 1993в, с. 433). Воронин — представитель поколения «отцов», в то время как второй герой романа Изя Кацман принадлежит следующему поколению. Кацман появляется в пространстве Города из 1967 года, то есть он представитель «поколения, глотнувшего свободы», порождение «оттепели», но и жертва отката назад. Несмотря на свое явное диссидентство, Кацман — тоже «советский человек», но его «советскость» другого качества. Он говорит Воронину: «Ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе» (Стругацкий, Стругацкий 1990а, с. 348). Но и сам Кацман поклоняется идее — он «жрец храма культуры». Жрецы храма — это те, «кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует» (Там же, с. 344). В целом вполне удовлетворительная цель для интеллектуалов и интеллигентов из круга читателей братьев Стругацких, но откровенно элитарная и поэтому не работающая для большинства, даже в качестве «потребителей, которые вкушают» от храма культуры.

Пожалуй, именно в этой части романа Стругацкие решились развернуть перед читателем весь спектр возможных целей, к которым может стремиться человек. Не «советский», а просто человек. «Хрустальный дворец» — сытость и комфорт, «Башня» — потребительские товары, «Плантация» — видимо, плотские удовольствия, «Музей» — книги

<sup>6</sup> Относительно дискуссии вокруг номинации *homo sovieticus* с двух противоположных точек зрения см.: (Фокин 2021).



и архивы. Воронин дошел до всех целей и... прошел мимо. Путешествие Воронина по сюрреальному пространству «Града обреченного» закончилось, по сути, ничем. По мировоззрению своему он так и остался «советским человеком»: он будет трудиться, он пойдет на подвиг и даже на жертвы, чтобы найти цель своего движения вперед. Но для начала он займется переделкой мира вокруг себя.

Воронин в конце своего пути закономерно оказывается снова в 1951 году. И сами Стругацкие по своему мировоззрению были и остались «советскими»: они были убеждены, что человека можно и нужно делать лучше, но хорошо бы обойтись без глобального переустройства мира. По их мнению, советский проект предлагал верную этическую основу поведения личности, только неверными методами. Борис Стругацкий на закате жизни писал о себе, и о брате, и обо всем поколении «рожденных в СССР»: «В сущности, они по воспитанию своему и в самой своей основе были — большевики. Комиссары в пыльных шлемах. Рыцари святого дела. Они только перестали понимать — какого именно» (цит. по: Витицкий 1995, с. 68).

#### 4. Выводы

Постоянное присутствие остаточной идеологии и попытка к бегству от нее — основная черта семиосферы романа «Град обреченный» — позволили авторам через знаковую систему образов проследить генезис концепта «советского человека» от революционера-разрушителя 1920-х годов к строителю-созидателю 1930-х; от человека-исполнителя («винтика государственной машины») 1940–1950-х годов до безликого «строителя коммунизма» 1960–1980-х. Введенный в советское идеологическое пространство сразу после революции концепт «нового советского человека» не был монолитен в течение всей советской истории, получая разную идеологическую нагрузку. Идеологические установки заставляли расширять личное пространство человека до масштабов страны, а то и всего мира, что в итоге оказалось чревато утратой достижимой цели. Однако, уже в раннем творчестве Стругацких заметна мысль, что даже без идеологического цемента концепт «советского человека», в основе которого труд, подвиг, долг, жертва, невероятно трудно разрушить. Это самая устойчивая дефиниция, самая искренняя, не по должности, а по духу, которая действовала еще долго после того, как перестал существовать СССР. Она оказалась настолько витальной и привлекательной, что даже перешла в новое идеологическое поле, сохранив значительную часть установок на определенное поведение и мировоззрение личности.

#### Список литературы

Бахтин, М.М., 1986. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. *Эстетика словесного творчества*. М., с. 297–325. [Bakhtin, M.M., 1986. The problem of text in linguistics, philology and other humanities. In: *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow, pp. 297–325 (in Russ.)].



Бондаренко, С.П., Курильский, В.М., сост., 2014. *Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники. 1985 – 1991 гг.* Волгоград. [Bondarenko, S.P. and Kurilsky, V.M., eds., 2014. *Strugatskies. Materialy k issledovaniyu: pis'ma, rabochie dnevniki. 1985 – 1991 gg.* [The Strugatsky brothers. Research materials: letters, work diaries. 1985 – 1991]. Volgograd (in Russ.).]

Гества, К., 2013. Homo Sovieticus и крах советской империи: неприятные социальные диагнозы Левады. *Вестник общественного мнения*, 3–4 (116), с. 111–117. [Gestwa, K., 2013. Soviet Man. The history and ambivalence surrounding a collective singular form. *Vestnik obshchestvennogo mneniya* [Bulletin of Public Opinion], 3-4 (116), pp. 111–117 (in Russ.)] EDN: VJCJGW, <https://doi.org/10.24411/2070-5107-2018-00004>.

Гольдт, Р., 2012. Личность и этос науки в позднесоветский период: Об одном «померанцевском подтексте» у братьев Стругацких. *Человек и личность в истории России, конец XIX – XX век: матер. междунар. colloквиума (Санкт-Петербург, 7–10 июня 2010 года)*. СПб., с. 83–99. [Goldt, R., 2012. The identity and ethos of science in the late Soviet period: a “Pomerants subttext” in the texts of the Brothers Strugatsky. In: *Chelovek i lichnost' v istorii Rossii, konets XIX – XX vek: materialy mezhdunarodnogo kollokviума* [Man and personality in the history of Russia, the end of the XIX – XX century: proceedings of the International Colloquium] (St. Petersburg, June 7–10, 2010). St. Petersburg, pp. 83–99 (in Russ.)] EDN: TRJPMH.

Горин, Г., 1959. Путешествие на Венеру. *Знание – сила*, 12, с. 50. [Gorin, G., 1959. A trip to Venus. *Znanie – sila* [Knowledge is power], 12, p. 50 (in Russ.).]

Иванова, М.Е., 2020. Язык идеологии и идеология языка: аспекты взаимодействия. *Manuscript*, 13 (1), с. 133–140. [Ivanova, M.E., 2020. Language of ideology and the ideology of language: aspects of interaction. *Manuscript*, 13 (1), pp. 133–140 (in Russ.)] EDN: NHRJVC, <https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.1.27>.

Купина, Н.А., 1995. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург; Пермь. [Kupina, N.A., 1995. *Totalitarnyi yazyk: slovar' i rechevye reaktsii* [Totalitarian language: vocabulary and speech reactions]. Yekaterinburg; Perm (in Russ.)] EDN: SIQGFV.

Купина, Н.А., 2012. Советский конформизм в зеркале языка. *Политическая лингвистика*, 2 (40), с. 27–32. [Kupina, N.A., 2012. Soviet conformism as reflected in the language. *Political Linguistics*, 2 (40), pp. 27–32 (in Russ.)] EDN: PCAVPB.

Лотман, Ю.М., 2000. Внутри мыслящих миров. *Семiosфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров*. СПб., с. 150–220. [Lotman, Yu.M., 2000. Inside the thinking worlds. In: *Semiosfera. Kul'tura i vzryv. Vnutri mysl'yashchikh mirov* [The semiosphere. Culture and explosion. Inside the thinking worlds]. St. Petersburg, pp. 150–220 (in Russ.).]

Молостова, Е.С., 2012. Модели «нового человека» в советский период: подступы к трансгуманизму. *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право*, 20 (139), с. 168–175. [Molostova, E.S., 2012. Models of the “new man” in the Soviet period: approaches to transhumanism. *НОМОТНЕТИКА: Philosophy. Sociology. Law*, 20 (139), pp. 168–175 (in Russ.)] EDN: SYBAPL.

Пинский, А., ред., 2018. *После Сталина: позднесоветская субъективность (1953 – 1985)*. СПб. [Pinsky, A., ed., 2018. *Posle Stalina: pozdnesovetskaya sub'ektivnost' (1953 – 1985)* [After Stalin: late soviet subjectivity (1953–1985)]. St. Petersburg (in Russ.)] EDN: LOBHNA.

Савин, А.И., 2019. Путешествия советского героя. *Новое прошлое*, 1, с. 214–223. [Savin, A.I., 2019. Journeys of the Soviet hero. *Novoe proshloe* [The New Past], 1, pp. 214–223 (in Russ.)] EDN: NDAWXN, <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2019-1-214-223>.

Савина, Т.В., 2023. Русский язык советского типа: к определению понятия. *Сибирский филологический журнал*, 1, с. 297–310. [Savina, T.V., 2023. Russian language of the Soviet era: definition of the concept. *Siberian Journal of Philology*, 1, pp. 297–310 (in Russ.)] EDN: QNKAGL, <https://doi.org/10.17223/18137083/82/22>.



Сичинава, В. В., 2022. Концепт СОВЕТСКИЙ НАРОД в первой половине XX века: языковая репрезентация и концептуальная составляющая. *Филологические науки. Вопросы теории и практики*, 15 (1), с. 18–22. [Sichinava, V. V. 2022. The concept of the Soviet people in the first half of the 20th century: linguistic representation and conceptual structure. *Philology. Theory & Practice*, 15 (1), pp. 18–22 (in Russ.)] EDN: QLEKUL, <https://doi.org/10.30853/phil20210692>.

Тульчинский, Г. А., 2024. Кто и как производит будущее (новая философия общего дела А. А. Фёдорова). *Слово. ру: балтийский акцент*, 15 (4), с. 8–24. [Tulchinskiy, G. L., 2024, Who and how produces the future. Alexander Fedorov's new philosophy of common cause. *Slovo. ru: Baltic accent*, 15 (4), pp. 8–24 (in Russ.)] EDN: AQQGRA, <https://doi.org/10.5922/2225-5346-2024-4-1>.

Фокин, А. А., 2021. «Советский человек» одновременно существует и не существует. *Новое прошлое*, 4, с. 238–247. [Fokin, A. A., 2021. "The Soviet man" both exists and does not exist. *Novoe proshloe* [The New Past], 4, pp. 238–247 (in Russ.)] EDN: QOYBVQ, <https://doi.org/10.18522/2500-3224-2021-4-238-247>.

Фокин, А. А., 2022. «Советский народ»: от политической истории к истории понятий. *Новое прошлое*, 4, с. 202–211. [Fokin, A. A., 2022. "Soviet People": from political history to the history of concepts. *Novoe proshloe* [The New Past], 4, с. 202–211 (in Russ.)] EDN: XOWFJA, <https://doi.org/10.18522/2500-3224-2022-4-202-211>.

Халфин, И., 2023. Автобиография большевизма. Между спасением и падением. М. [Khalfin, I., 2023. *Avtobiografiya bol'shevizma. Mezhdru spaseniem i padeniem* [The autobiography of Bolshevism. Between salvation and fall]. Moscow (in Russ.)].

Черняховская, Ю. С., 2010. Власть и история в политической философии братьев Стругацких. *Власть*, 2, с. 80–83. [Chernyakhovskaya, Yu. S., 2010. Power and history in the political philosophy of the Strugatsky Brothers. *Vlast'* [Power], 2, pp. 80–83 (in Russ.)] EDN: JXKZQW.

Черняховская, Ю. С., 2011. Россия и проблема деидеологизации в историко-политической концепции братьев Стругацких. *Власть*, 4, с. 63–66. [Chernyakhovskaya, Yu. S., 2011. Russia and the problem of de-ideologization in the Strugatsky brothers' historical-political conception. *Vlast'* [Power], 4, pp. 63–66 (in Russ.)] EDN: NTWKMD.

Юрчак, А., 2014. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. [Yurchak, A., 2014. *Eto bylo navsegda, пока ne konchilos'*. *Poslednee sovetskoe pokolenie* [It was forever, until it was over. The last Soviet generation]. Moscow (in Russ.)].

Evans, A. B., 1994. *Soviet Marxism-Leninism: the decline of an ideology*. Westport.

Fitzpatrick, Sh., 2005. *Tear off the masks! Identity and imposture in twentieth-century Russia*. Princeton.

Kuromiya, H., 2003. How do we know what the people thought under Stalin? *Советская власть – народная власть? Очерки истории народного восприятия советской власти в СССР*. Т. Вихавайнен, ред. СПб., с. 30–49. [Kuromiya, H., 2003. How do we know what the people thought under Stalin? In: T. Vihavainen, ed. *Sovetskaya vlast' – narodnaya vlast'?* *Ocherki istorii narodnogo vospriyatiya sovetskoi vlasti v SSSR* [Is the Soviet government a people's government? Essays on the history of popular perception of Soviet power in the USSR]. St. Petersburg, pp. 30–49].

#### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Витицкий, С., 1995. Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики. М. [Vititskiy, S., 1995. *Poisk prednaznacheniya, ili Dvodtsat' sed'maya teorema etiki* [The search for purpose, or the twenty-seventh theorem of ethics]. Moscow (in Russ.)].

Полевой, Б., 1948. Мы – советские люди. М. [Polevoy, B., 1948. *My – sovetskie lyudi* [We are Soviet people]. Moscow (in Russ.)].



Сталин, И. В., 1997. *Сочинения*. Т. 15. М. [Stalin, I. V., 1997. *Sochineniya* [Essays]. Vol. 15. Moscow (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1990а. Град обреченный. *Град обреченный. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя*. М., с. 3–350. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1990a. The city is doomed. In: *Grad obrechennyyi. Otyagoshchennye zlom, ili Sorok let spustya* [The city is doomed. Burdened with evil, or forty years later]. Moscow, pp. 3–350 (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1990б. Трудно быть богом. *Сочинения*. М., с. 107–270. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1990b. It's hard to be a god. In: *Sochineniya* [The essays]. Moscow, pp. 107–270 (in Russ.)].

Стругацкий, А. Н., Стругацкий, Б. Н., 1992а. *Полдень, XXI век*. М. [Strugatsky, A. N. and Strugatsky, B. N., 1992a. *Polden', XXI vek* [Noon, 21st century]. Moscow (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1992б. Стажеры. *Стажеры. Фантастические повести*. М., с. 87–300. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1992b. The Apprentices. In: *Stazhery. Fantasticheskie povesti* [The Apprentices. Science fiction novels]. Moscow, pp. 87–300 (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1993а. Страна багровых туч. *Страна багровых туч. Рассказы. Статьи, интервью*. М., с. 10–252. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1993a. The land of crimson clouds. In: *Strana bagrovyykh tuch. Rasskazy. Stat'i, interv'yu* [The land of crimson clouds. Stories. Articles, interviews]. Moscow, pp. 10–252 (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1993б. Вопросы без ответов. *Страна багровых туч. Рассказы. Статьи, интервью*. М., с. 417–432. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1993b. Unanswered questions. In: *Strana bagrovyykh tuch. Rasskazy. Stat'i, interv'yu* [The land of crimson clouds. Stories. Articles, interviews]. Moscow, pp. 417–432 (in Russ.)].

Стругацкий, А., Стругацкий, Б., 1993в. Жить интереснее, чем писать. *Страна багровых туч. Рассказы. Статьи, интервью*. М., с. 432–440. [Strugatsky, A. and Strugatsky, B., 1993c. It's more interesting to live than to write. In: *Strana bagrovyykh tuch. Rasskazy. Stat'i, interv'yu* [The land of crimson clouds. Stories. Articles, interviews]. Moscow, pp. 432–440 (in Russ.)].

Стругацкий, Б., 2001. Комментарии к пройденному. *Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 7. Донецк*, с. 582–590. [Strugatsky, B., 2001. Commentaries on the past. In: *Strugatskie A. i B. Sbranie sochinenii: v 12 t. T. 7*. Donetsk, pp. 582–590 (in Russ.)].

## Об авторе

Татьяна Вячеславовна Савина, кандидат филологических наук, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заведующий кафедрой иностранных языков, Новосибирск, Россия.

E-mail: tsavina2005@mail.ru

### Для цитирования:

Савина Т. В. Семиотика концепта «новый советский человек» в творчестве братьев Стругацких: от цикла «Мир полудня» до романа «Град обреченный» // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 189–204. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-12.





## SEMIOTICS OF 'THE NEW SOVIET MAN' CONCEPT IN THE WORKS OF THE STRUGATSKY BROTHERS: FROM THE "NOON UNIVERSE" TO THE "DOOMED CITY"

*Tatiana V. Savina*

Siberian Institute of Management,  
Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration,  
6 Nizhegorodskaya St., Novosibirsk, 630102, Russia

Submitted on 29.10.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-12

*The article attempts to reconstruct the genesis of the concept of the 'new Soviet man' within the framework of communist ideology. An interdisciplinary research perspective enables an analysis of the development of the concept of the 'Soviet man' at the intersection of linguistics and history, viewed through the lens of the literary texts by Arkady and Boris Strugatsky. As a result, the literary text is examined as a semiotic model of communication, in which the sender and the recipient of the text are linked through the narrative language and regarded as objects of historical analysis. The theme of the 'new man' constitutes the historiographical core of the Strugatsky brothers' oeuvre. Already in their early works, Arkady and Boris Strugatsky formulated the principal characteristics of the concept of the 'Soviet man' as a person of labour (action), a person of duty (sacrifice), and a person of science (enlightenment). This concept undergoes a significant transformation over the course of their literary work. The analysis of the semiosphere of the novel "The Doomed City" ("Grad obrechennyi", 1975) demonstrates that the Strugatskys succeeded in tracing the genesis of the 'Soviet man' through a symbolic system of images: from the revolutionary-destroyer of the 1920s, to the builder-creator of the 1930s; from the obedient executor – a cog in the state machine – of the 1940s and 1950s, to the individual of 'developed socialism' in the 1960s – 1970s. This, in turn, allows for the identification of both the internal limitations of the 'new Soviet man' concept – above all, its dependence on ideology – and its transhistorical vitality and enduring appeal.*

**Keywords:** 'new Soviet man', concept, semiotics, Strugatsky brothers, "The Doomed City"

### The author

*Dr. Tatiana V. Savina*, Head of the Department of Foreign Languages and Language Didactics, Siberian Institute of Management, branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration.

E-mail: tsavina2005@mail.ru

### To cite this article:

Savina T. V., 2025, Semiotics of 'the new Soviet man' concept in the works of the Strugatsky brothers: from the "Noon Universe" to the "Doomed City", *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 189–204. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-12.



## РОЛЬ КАНОНИЧЕСКОГО ЖАНРА ИДИЛЛИИ В ВЫСОКОМ БИДЕРМЕЙЕРЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

*Е. И. Зейферт*

Российский государственный гуманитарный университет,  
Россия, 125993, Москва, Миусская пл., 6  
Московский государственный лингвистический университет,  
Россия, 119034, Москва, ул. Остоженка, 38, с. 1  
Поступила в редакцию 10.09.2024 г.  
Принята к публикации 15.04.2025 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-13

*На материале лирики Аннетте Дросте-Хюльсхофф и Эдуарда Мёрике изучен высокий бидермейер в его сближении с жанром идиллии. Бидермейер, который считали эпохой, направлением, стилем, в его разновидности «высокий бидермейер» на старте можно трактовать и принципиально по-новому – как необычный виток в судьбе жанра идиллии и идиллического модуса. Цель статьи состоит в изучении идиллии как одного из истоков высокого бидермейера. Эта проблема ставится впервые. Методы исследования – структурно-описательный и историко-типологический. Явление бидермейера разнолико, и описываемый характер присущ только высокому бидермейеру. В каноническом жанре немецкой идиллии, который распространил свое влияние и на другие жанры, в том числе прозаические, писатели увидели ряд возможностей бидермейера. Начав по-своему развивать идиллию, они уводят созданную ими разновидность жанра из романтического русла. Один из истоков высокого бидермейера – это, по всей вероятности, активное поведение канонического жанра идиллии, его инерция, разрастание, диффузия с другими жанрами и облучающее влияние на лирические, эпические и драматические жанры.*

**Ключевые слова:** *высокий бидермейер, идиллия, поэт-бидермейерист, Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф, Эдуард Мёрике*

### 1. Введение

Творчество Аннетте Дросте-Хюльсхофф (*фрау Бидермейер*, по меткому выражению К. Кальтхофф-Птикар (Kalthoff-Ptikar 1988, S. 15)) и Эдуарда Мёрике относят к высокому бидермейеру<sup>1</sup>. Их сентиментально-нежная лирика с мотивами природы, душевных переживаний любящего человека, буколической трактовкой деревни и проза с идиллическими хронотопом и локусами представляют собой образцы бидермейера. Для удобства предлагаю называть представителей этого направления бидермейеристами, а под понятием «бидермейеризм» понимать принадлежность к бидермейеру или окрашенность творчества и личности автора эстетикой бидермейера.

Аннетте Дросте-Хюльсхофф (1797–1848) в своем поэтическом и прозаическом творчестве противопоставляла растущему промышлен-

---

© Зейферт Е. И., 2025

<sup>1</sup> Придерживаюсь нормы написания «бидермейер», более близкой к русской традиции написания и звучания имен типа «Гейне».



ному городу идиллию дворянского поместья, лиризовала безмятежное пребывание за городом. Лирическая героиня близка поэтессе, чуждающейся города с его светской суетой. Феномен Дросте-Хюльсхофф интересен и тем, что ее поэзия пережила влияние романтизма, а проза — постромантизма. Возможно, именно бидермейер оцельняет ее разнородное творчество. Идиллия очень активна в творчестве немецкой поэтессы — достаточно упомянуть лирический цикл «Картины пустоши» (Heidebilder) и др.

Эдуард Мёрике (1804—1875) в 1846 году опубликовал книгу «Идиллия Боденского озера, или Рыбак Мартин и похитители колокола» в 7 песнях (Mörike 1846), которая представляет собой «малый эпос» с преобладанием в нем идиллического модуса художественности и идиллических мотивов. Поэт писал книгу, уединившись в своем доме недалеко от Вюрцбурга в Баден-Вюртемберге. В ней сконцентрировались его лирические и эпические устремления к безмятежности, душевному уюту, отрешенности от суеты. В. Б. Микушевич утверждал, что, испугавшись безумия Гёльдерлина (состоялась личная встреча поэтов), Мёрике «тянется к его поэтическому дару и бежит от его судьбы, бежит в предшествующую эпоху, когда Руссо открыл для себя и для интеллектуальной Европы природу»<sup>2</sup>.

И Дросте-Хюльсхофф, и Мёрике — страстные ценители фольклора, что добавляет глубины в их интерес к идиллии. «Дросте собирала сказки и предания для братьев Гримм и внесла свой вклад в составленный Уландом “Сборник народных песен”», примером для Мёрике «служили Гёте и античная поэзия, народность, как говорится, была у него в крови» (История немецкой литературы 1986, с. 140, 144).

Возникнув в поэзии Дросте-Хюльсхофф и Мёрике, бидермейер распространяется и на их прозу. Сразу обратим внимание, что в творчестве обоих авторов представлен чистый, кристальный, идиллический бидермейер, который называют «высоким» (Л. Н. Полубояринова). Другие варианты названия: «облагороженный» бидермейер (geadeltes Biedermeier) (О. Вальцель) или «поэтический» бидермейер (poetisches Biedermeier) (Й. Барк). Стоит заметить, что отдельных ученых словно обижает отнесение Дросте-Хюльсхофф и Мёрике к бидермейеру. В авторитетной работе по истории немецкой литературы читаем: «Долгое время взгляд на поэта Эдуарда Мёрике оставался ошибочным: о нем утвердилось мнение как о певце патриархальной идиллии; считалось, что его стилизованные стихи далеки от настоящей, истинной поэзии» (Там же, с. 143). Ошибочность здесь относится ко второму утверждению: стихи Мёрике оригинальные, а не стилизованные, благодаря его дару они отличаются органичностью и естеством. В переосмыслении скорее нуждается отношение к высокому бидермейеру (признание его интересным и полнокровным литературным явлением), а не принадлежность к нему Мёрике.

Идиллия Мёрике монографически исследована в диссертации швейцарской исследовательницы К. Мейер-Гуйер почти полвека назад

<sup>2</sup> Микушевич В. Б. Мёрике и Гёльдерлин. Из архива В. Б. Микушевича.



(Meyer-Guyer 1977). Однако в этой обстоятельной работе, как и в других немецких исследованиях творчества Мёрике и Дросте-Хюльсхофф, не ставится вопрос о сильном формирующем влиянии идиллии на бидермейер на его старте. Немецкие ученые, последовательно обращавшиеся к сочинениям обоих авторов, поднимают важные вопросы о роли античных истоков жанра, фольклорных корнях лирики (особенно в случае с Мёрике), политических и социальных предпосылках развития литературного процесса, соотношении эпических и драматических элементов в идиллической поэзии изучаемых авторов (Neubuhr 1974; Böschenstein-Schäfer 1977, S. 124 – 126; Jansen 1982).

Х.Й. Шюлер в монографии «Немецкий стихотворный эпос XIX–XX веков» говорит о превращении лирической идиллии Мёрике в малый эпос. Признаки эпоса ученый обнаруживает и в идиллии Дросте-Хюльсхофф. Дорога к идиллическому уединенному бытию (которой шли и другие авторы сентиментальных малых эпосов (“sentimental little pseudoepics”), однако они двигались к отступлению) у Мёрике ведет не от реальности жизни, а в сферу ограниченного уютом и бытом мира, где вечные ценности и истины выступают всё более ясно и четко (Schueler 1967, p. 37). В «Идиллии Боденского озера» автор постоянно возвращается к главной заботе – повествованию о жизни в ее элементарных и вечных аспектах. Радость и страдание, желанья и надежды мужчин и женщин, любовь и ненависть – вот нити, которые связывают здесь идиллию как «маленькую картину» мира. Немецкий поэт достигает перспективы тотальности и универсальности в своем малом мире. Природа – еще один вездесущий элемент, который усиливает универсальные свойства созданного Мёрике малого мира. Природа везде вплетена в повествование, она становится неотъемлемой частью людей, их дел и надежд.

Учеными проанализированы и отдельные идиллии Мёрике. Так, Х.Й. Шнайдер, обстоятельно изучая «Лесную идиллию» (“Wald-Idylle”), обращает внимание на взаимопроникновение в ней сказки и идиллии: «Тезис состоит в том, что Мёрике представляет две разнородные традиции сказки и идиллии (или буколики), которые также представляют противоположные традиции в эстетике с 1750 года – классический немецкий стих эпохи Просвещения против натурпоэзии, литературный стих против устного творчества, в перспективе романтическое и постромантическое сливаются»<sup>3</sup>. Шнайдер замечает общее развитие творчества Мёрике от романтически-лирического к повествовательно-описательному. «Лесная идиллия» демонстрирует этот поворот. Стремление к идиллической жизни нереально, сказочно, неисполнимо вне сказочного мира. Начало стихотворения, изображающее поэта в уединенном лесном местечке весной перед раскрытой книгой сказок, включает тему буколического *locus amoenus*. Повествовательное влета-

<sup>3</sup> “Die These lautet, daß Mörrike die beiden heterogenen Gattungstraditionen von Märchen und Idylle (bzw. Bukolik), die auch gegensätzlichen Positionen der Ästhetik seit 1750 repräsentieren – klassisch-deutsche Bildungsversus Naturdichtung, literarische versus mündliche Überlieferung – in der Perspektive eines romantisch-postromantisch Dichters zusammenführt” (Schneider 2004, S. 222).



ется не только в сказку, но и через нее в идиллию, происходит слияние внешнего и внутреннего миров. Мёрике обращается к классической буколке, которая через природное плодородие всегда прославляет только искусство (Schneider 2004, p. 238).

М. Майер отмечает, что общественность заметила достижения Мёрике в жанре идиллии (Mayer 2004, S. 239). Наследный принц Карл за «Идиллию Боденского озера» подарил поэту перстень с бриллиантом. Признание пришло от Л. Уланда и В. Гримма. Благосклонна была и критика. Но книга вызвала трудности понимания, что заметно по откликам А. Штара, Г. Майнкса, Б. Майер. Это обусловлено особой оптикой идиллии Мёрике, который разрушает идиллию. Красота бука и райского места таится в их отдаленности. «Идиллия Боденского озера» говорит о биографическом счастье автора, однако является семантически пограничным текстом: берег озера — граница между жизнью и смертью. По своему духу произведение имеет гибридный характер, находясь между греческой традицией и идиллической традицией Иоганна Петера Гебеля. Это не чистая идиллия, а скорее неустойчивый баланс идиллии и обмана, юмора и сарказма. Идиллия группируется здесь вокруг двойственной фабулы произведения, между язычески-ложным и христиански-истинным прочтением (Ibid., S. 254)<sup>4</sup>.

Творчество Дросте-Хюльсхофф изучено отечественными литературоведами в аспекте бидермейера (Иванова 2008), в этом контексте исследован и предметный мир Мёрике (Иванова, Майер 2013). Высокий бидермейер изучен и на материале Й. В. фон Шеффеля (Иванова 2009).

Интересно рассмотреть соотношение жанра идиллии и высокого бидермейера в связи с его особым интересом к идиллии. Автора статьи интересует старт высокого бидермейера, сильно облученный жанром идиллии.

## 2. Специфика бидермейера. Постановка цели

Г. Политцер, изучая творчество Ф. Грильпарцера, относит его к «ужасному бидермейеру» (abgründige Biedermeier) (Politzer 1972). Исследователи говорят об амбивалентности интенций бидермейера (Полубояринова и др., 2016). Высокий бидермейер как извод этого направления отличается от многогранного и разноликого бидермейера в целом («тривиального», «ужасного» и др.). Мы в настоящем исследовании сосредоточимся на высоком бидермейере. «В отличие от произведений “тривиального бидермейера” в творчестве писателей, представляющих

---

<sup>4</sup> Немецкие ученые обращают пристальное внимание на наличие эпических элементов в идиллии Мёрике, идущих от сказки и имеющей античные корни «двойной фабулы» идиллии (Schneider 2004; Schueler 1967). Однако об элегических идиллиях представителей бидермейера исследований не обнаружено, хотя эмпирический обзор материала об этом взаимопроникновении свидетельствует. И Х.И. Шнайдер отмечает элегический дистих (а не гекзаметр) «Лесной идиллии» (Schneider 2004, S. 221). Интересно в перспективе проанализировать диффузию идиллии и элегии бидермейера.



“высокий” бидермейер, значительное место занимает религия, искусство, а проблемы частной жизни показаны с большей глубиной и обстоятельностью» (Иванова 2009, с. 55).

Явление, обозначенное термином «бидермейер», изучается в литературоведении (Полубояринова 2001), искусствоведении (Geismeyer 1990; Тарасов 1990), музыковедении (Романова 2011). Из-за сложности определения бидермейер либо замалчивался, либо по-разному интерпретировался. Изначально он возникает в поэзии и только потом переходит в прозу. Бидермейер проявляется в отдельных видах искусства после окончания Наполеоновских войн до революционных событий во Франции, Италии, Германии и других странах Европы в 1848—1849 годах. Географический охват — Германия и Австрия, виды искусства — литература, живопись и музыка.

Цель настоящей статьи состоит в уточнении одного из истоков высокого бидермейера с помощью структурно-описательного и историко-типологического методов.

Термин «бидермейер» возник под занавес истории обозначающего его явления. Немецкое слово *bieder* переводится «простодушный», «честный», «непринужденный», «порядочный», «обывательский». В 1848 году немецкий поэт Й. В. фон Шеффель опубликовал два стихотворения «Вечернее уютное времяпрепровождение бидерманна» и «Сетования праздного Майера», а в 1850 году другой немецкий поэт Л. Айхродт из двух слов составил псевдоним *Готлиб Бидермейер* для публикации наивных стихотворений. Это были пародии на любительские и нелепые стихи провинциального школьного учителя С. Заутера.

В 1846 году увидела свет вышеупомянутая книга Эдуарда Мёрике. Стихотворения в жанре идиллии характеризуются здесь яркими приметами идиллического жанрового канона (хронотоп безмятежности, гекзаметр, оптимистический финал лирического сюжета и др.). Для вспышки идиллии это очень поздно: в 1840-е годы, после лирического всплеска в «золотом веке», литературные журналы отказываются от рубрики «Поэзия». Однако, как видим, идиллия проявляет себя в корпусе текстов первостепенного поэта и, хотя и начинается через два года уходить под осмеяние пародии (Л. Айхродт), но задерживается у того же Мёрике (“*Im Weinberg*”, 1856).

Н. Я. Берковский называл бидермейер стилем, но не находил достаточных доказательств для этого («Бидермейер был одним из стилей быта и искусства, не допускающих пытливости, исследовательского отношения к тому, что они в себе содержат. Бидермейер во всем и повсюду требует скромности, он требует ее и от познания: не слишком вникайте и не слишком проникайте» (2001, с. 427)). А. В. Михайлов последовательно изучал бидермейер с 1970-х годов, опираясь на работы германских ученых (Михайлов 1989; 1997; 2001). Он не считал бидермейер стилем: «Ни романтизм, ни реализм не есть стиль; тем более не стиль — бидермайер, который даже представляет собой объединение различных художественных начал, при полнейшей пестроте стилистических решений...» (Михайлов 1997, с. 99). Исследователь предостерегал от



обозначения бидермейера как эпохи, указывая на промежуточный характер бидермейера (между романтизмом и реализмом) и в то же время универсальную принадлежность бидермейера ко всей немецкой культуре: «...в значительной мере этот период бидермайера определил весь характер немецкой культуры XIX в. — культуры, внешне, на поверхности, очень приспособленной к людям, их потребностям, очень удобной, уютной для них» (Михайлов 1983, с. 130). Понятие «бидермейер», по мнению ученого, «не обозначает какое-то цельное направление, но обозначает слой или пласт в немецкой культуре, пласт, к которому так или иначе причастно все немецкое искусство этого периода, не утрачивающее от этого своей разнородности и разнонаправленности» (Там же, с. 129). С мнением авторитетного ученого о промежуточном характере исследуемого явления можно поспорить: бидермейер, по всей очевидности, протекает синхронно романтизму (Дросте-Хюльсхофф, Мёрике) и затем даже постромантизму (Шеффель). Термин «бидермайер» А. В. Михайлов безоговорочно принимает, чтобы не говорить об эпохе «Молодой Германии» и не возвращаться к политизированному понятию «предмартовский период литературы» (Там же, с. 130). Он считает, что писатели Э. Мёрике и А. Штифтер, романтически настроенные художники Л. Рихтер и М. фон Швинд, композиторы Р. Шуман и Ф. Лист не могут рассматриваться «вне бидермайеровской перестройки романтической традиции, без всего этого смыслового пласта бидермайера, переосмысляющего функцию искусств, приближающего искусство к людям, но очень часто и заземляющего художественные идеалы, почти во все вносящего умиротворенность и черты идиллического самоупокоения» (Там же).

Л. Н. Полубояринова, которая продолжительное время обстоятельно занимается бидермейером (1995; 2001; 2016), считает бидермейер «одним из течений реставрационной литературы» с особым стилем, отмечая при этом «бидермайеровскую полистилистику» (Березина 2005, с. 74). Ставится вопрос о русском (Иванова 2006) и в целом славянском бидермейере (Аникина 2016). По всей видимости, все же именно специфика германской картины мира (ключевой характер дома, уюта) вызвала к жизни бидермейер. Тем не менее вопрос о славянском бидермейере остается открытым и изучается.

Г. А. Лошакова, исследуя жанры и поэтику австрийского бидермейера в прозе, называет его течением («Предварительно мы обозначаем литературный бидермейер как течение, имея в виду также, что этот термин может быть использован для обозначения художественного стиля живописи или интерьера» (Лошакова 2014, с. 4; исправлена опечатка)) и причисляет к нему прозаиков А. Штифтера, Ч. Силсфилда (К. Постля), Й. Шрейфогеля, Ф. Хальма, М. Г. Зафира и др. Исследовательница выделяет три периода исследования немецкого бидермейера. На первом этапе его монографически изучали П. Клуххон, В. Битак, А. Беркхаут (Kluckhohn 1974; Bietak 1931; Berkhout 1942), на втором — Ф. Зенгле (Sengle 1980), считающий бидермейер эпохой. (Называть бидермейер эпохой или периодом развития немецкой литературы, на



наш взгляд, значит допускать неточность: эпоха с 1814 по 1848 – 1849 годы в Германии и Австрии разнолика.) Зенгле анализирует в ряду жанров и модальностей идиллию и идиллическое в бидермейере, не называя их истоком этого явления. Начало третьего этапа ознаменовано выходом сборника научных работ под редакцией М. Титцмана (Titzmann 2002).

Бидермейер называли смесью ампира с романтизмом, «сниженным ампиром», «псевдоромантизмом» (Г. Бёмер, Р. Леман, Л. Шротт), а сильных поэтов, причастных к этому явлению, относили к «высокому бидермейеру». Можно ли считать бидермейер вспышкой сентиментализма внутри романтизма и постромантизма, стремлением вернуться к сентиментализму? Особым стилем внутри романтизма и постромантизма? Художественным направлением (течением)? Уходит ли бидермейер вместе с романтизмом или прорастает в постромантистической эпохе?

Более привлекателен для определения бидермейера, на наш взгляд, термин «субтип», предложенный музыковедом Л. Романовой. Она пишет: «С нашей точки зрения, бидермайер представляет собой *субтип новоевропейской культуры эпохи Реставрации*, оригинально соединяющий традиционное и персоналистическое, романтическое и реалистическое мироотношения» (Романова 2011, с. 51). Это интересный взгляд.

Закат бидермейера совпадает с закатом задержавшейся в литературном процессе идиллии. Быть может, высокий бидермейер — художественная гипертрофия жанра идиллии? Никто из ученых не рассматривал высокий бидермейер как жанровый резонанс, усиление и (пародийное) искажение идиллии, диффузию идиллии с другими жанрами. Это повышает уровень актуальности настоящего исследования. Немецкая идиллия — сильнейший жанр на разных этапах своего развития (Bürgerliche Idylle 1975; Idyllen der Deutschen. Texte und Illustrationen 1978).

### 3. Жанр на стадиях поэтики: канонический характер идиллии

Жанр формируется и переживает изменения на трех этапах развития словесности в освещении исторической поэтики. Хронологические стадии, выделенные исследователями с учетом большого времени, в котором протекает медленное формирование эстетического объекта и его форм, определяют и жанровое созревание и развитие. А.Н. Веселовский выделял эпохи синкретизма и личного творчества, Ю.М. Лотман называл эти эпохи «эстетикой тождества» и «эстетикой противопоставления». После работ Э. Курциуса была принята трехчастная периодизация.

Первая, архаическая стадия развития поэтики не поддается точной датировке, она начинается в то время, когда нехудожественные и потенциальные художественные элементы живут в одном комплексе. В эпоху синкретизма (А.Н. Веселовский), или дорефлективного традиционализма (С.С. Аверинцев (см.: Аверинцев 1986), или мифопоэтическую эпоху (О.М. Фрейденберг) жанры только начинают формиро-



ваться, образуясь из речевых (М. М. Бахтин) и ритуальных жанров (Бахтин 1975). Веселовский утверждал, что форма проявляет себя в виде неизменных элементов, а содержание, как пишет О. М. Фрейденберг, пересказывая его работы, «подвижно, и вечно меняется», вливаясь в старые формы. «...новых форм нет, своеобразие — это сочетание новых содержаний с видоизмененными традиционными формами» (Фрейденберг 1997, с. 17). Поэтический словарь, стилистические приемы, символика, сюжетные схемы, образы — постоянные величины, созданные первобытной коллективной психикой, главенствующей над творческой личностью. Генезис их принадлежит доистории (Веселовский 1989). На данном этапе из стремления человека к защищенности формируются базовые эмоциональные установки будущего жанра идиллии.

Вторая эпоха, выделяемая в исторической поэтике, — эпоха рефлексивного традиционализма (С. С. Аверинцев), или эйдетическая поэтика (С. Н. Бройтман) (Бройтман 2001), или эстетика тождества (Ю. М. Лотман). Это время расцвета жанрового мышления. Возникает жесткая жанровая система и жанровая иерархия. Для этого этапа развития литературы важно создание произведений по правилам и образцам, в первую очередь жанровым. Идиллия — влиятельный средний лирический жанр.

В период «антитрадиционализма» (С. С. Аверинцев), «эстетики противопоставления» (Ю. М. Лотман), поэтики художественной модальности (С. Н. Бройтман) начинается жанровая диффузия, размывание жанровых границ (особенно бурная в лирике), возникают новые экспериментальные жанры, происходит замена жанрового канона на внутреннюю меру жанра. Жанр идиллии становится открыт для диффузии с другими. Рождаются неканонические жанры — как новые, так и возникшие из канонических. Канон, по А. Ф. Лосеву (1973), — это воспроизведение некоторого определенного оригинала и образца, оригинал и образец для всевозможных его воспроизведений, даже принцип их художественной оценки. Неканонические жанры, по Н. Д. Тмарченко, «сохраняют свою идентичность и обновляются, ориентируясь на образцы авторского выбора, а не воспроизведение первообраза-эйдоса» (Дарвин и др. 2011, с. 48). В традиционных жанрах инвариантной структурой был жанровый канон. Поставив вопрос о «константных структурах неканонических жанров», Н. Тмарченко вводит понятие «внутренней меры жанра», которая может быть выявлена на основе сравнительного анализа жанровых структур ряда произведений (Тмарченко 2004).

Опираясь на базовые эмоции, растущие из потребности защищенности и возникающие на первой стадии исторической поэтики, идиллия уверенно проходит вторую и еще больше укрепляется на третьей стадии вопреки начавшемуся размыванию жанровых границ. Немецкая идиллия усиливает свои позиции в XVIII веке на базе прочной традиции жанра (Анисимова 2017) и пасторальной топики поэзии XVII века (Синило 2014), русская идиллия переживает прямое влияние немецкой (Быченкова 2000). К рубежу XVIII—XIX веков идиллия становится одним из ведущих жанров литературного процесса.



Идиллия — канонический жанр с историей, идущей с древних времен. Каноническими считаются жанры, структуры которых восходят к определенным «вечным» образцам (Дарвин и др. 2011). Произведения неканонических жанров не ориентируются на готовые, унаследованные образцы художественного целого. Два этих вида жанров — канонические и неканонические — сосуществуют в течение многих веков (неканоническим жанром считается роман, историю которого принято начинать с эллинизма), но до середины XVIII века, как известно, в литературе доминируют именно канонические жанры. Сохраняется представление о том, что жанр — постоянно воспроизводимая система признаков произведения. Примеры канонических жанров: в эпосе — каноническая эпическая поэма, новелла; в лирике — ода, идиллия, элегия, послание; в драме — «классическая», «старая» драма (трагедия, комедия). Примеры неканонических жанров: в эпосе — роман, рассказ; неканоническая поэма; в лирике — отрывок, стихотворение в прозе, стихотворная новелла; в драме — неклассическая драма (Там же, с. 43–52). Канонический жанр обычно опирается на свою долгую историю и гипотетически способен на сильный резонанс. Согласно Ф. Зенгле, существуют определенные «излюбленные» жанры бидермейера 1820–1840-х годов — жанровые картины, зарисовки, очерки и эскизы, однако их появление, несомненно, облучено влиянием на них идиллии (Sengle 1980).

М. М. Бахтин определял жанр как трехмерное целое художественного высказывания. Три измерения — тема (организация внутреннего мира произведения), композиция (структура речевых форм и точек зрения) и стиль (язык). Идиллия характеризуется мотивами безмятежности, оптимистическим решением лирического сюжета, опорой на миф как «сплетение наших душевных процессов» (А. А. Потенбня), идиллическими стилевыми клише.

Возможность богатой трансформации каноническая идиллия получает на третьем этапе исторической поэтики — этапе художественной модальности (С. Н. Бройтман). По О. М. Фрейденберг, «поэтика есть наука о закономерности литературных явлений как *явлений общественного сознания*» (1997, с. 12).

#### 4. Анализ идиллической лирики Дросте-Хюльсхофф и Мёрике

В стихотворениях Аннетте Дросте-Хюльсхофф «Чайный столик» (“Der Teetisch”, 1839), «Дом в пустоши» (“Das Haus in der Heide”, 1842), «Степь» (“Die Steppe”, 1842), в лирическом цикле «Церковный год» (“Das geistliche Jahr”), который поэтесса писала с 1820 года более двадцати лет, и во многих других ее произведениях прослеживаются черты бидермейера — безмятежная тональность, внимание к подробностям «малого мира», идиллические мотивы. Обратим здесь внимание на даты, демонстрирующие апогей развития бидермейера.

Даже в своих стихах о смерти, которые должны были быть элегическими, поэтесса передает утешительную интенцию, как происходит, к примеру, в стихотворении «Последние слова»:



### LETZTE WORTE

Geliebte, wenn mein Geist geschieden,  
So weint mir keine Träne nach;  
Denn, wo ich weile, dort ist Frieden,  
Dort leuchtet mir ein ew'ger Tag!

Wo aller Erdengram verschwunden,  
Soll euer Bild mir nicht vergehn,  
Und Linderung für eure Wunden,  
Für euern Schmerz will ich erlehn.

Weht nächtlich seine Seraphsflügel  
Der Friede uebers Weltenreich,  
So denkt nicht mehr an meinen Hügel,  
Denn von den Sternen grüss' ich euch!

### ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

Друзья, коль дух меня покинет,  
Вы не жалеите обо мне;  
Там буду в мире я отныне,  
Там мне сияет вечный день!

Где стихнет скорбь земной юдоли,  
Не должен образ ваш пропасть,  
Успокоенья ран и боли  
Хочу я вымолить для вас.

Ночные ангельские крылья  
Навеют мир на Божий свет,  
Не вспоминайте холм могильный,  
Ведь я со звезд вам шлю привет (Немецкая поэзия 2012).

Дросте-Хюльсхофф изображает земную юдоль защищенной с небес ангельскими крыльями, в послесмертии она видит сияющий вечный день, пребывание в мире, покое, возможность вымолить для оставшихся на земле успокоение. Лирическая героиня даже в трудный момент излучает блаженное спокойствие. В стихотворении «Проповедник» («Der Prediger») Дросте-Хюльсхофф, описывая проповедника, переходит от нейтральной интонации к восторженной и восхищению. Она, почти ровесница Пушкина, обращается к писательницам Германии и Франции («An die Schriftstellerinnen in Deutschland und Frankreich»), благословляя преклонить колени пред кровью милосердного дарования.

Стихотворение «Жаворонок» (Die Lerche) из лирического цикла «Картины пустоши» наполнено свойственными бидермейеру подробностями описания птицы и ландшафта. Стиль Дросте-Хюльсхофф подчеркивает, на каком высоком уровне находится немецкая поэзия первой половины XIX века:



Hörst du der Nacht gespornten Wächter nicht?  
 Sein Schrei verzittert mit dem Dämmerlicht,  
 Und schlummertrunken hebt aus Purpurdecken  
 Ihr Haupt die Sonne; in das Ätherbecken  
 Taucht sie die Stirn; man sieht es nicht genau,  
 Ob Licht sie zünde, oder trink' im Blau.  
 Glührote Pfeile zucken auf und nieder  
 Und wecken Taues Blitze, wenn im Flug  
 Sie streifen durch der Heide braunen Zug.  
 Da schüttelt auch die Lerche ihr Gefieder,  
 Des Tages Herold seine Liverei (Droste-Hülshoff 1844, S. 113)

Мотивное поле этого стихотворения нацелено на благоговейное изображение пейзажа. Крик «ночного сторожа» дрожит в сумеречном свете; поднимает свою голову солнце из лиловых одеял, опускает в пространство эфира лоб; точно не видно, то ли свет зажигает, то ли пьет из синевы. Поэтесса наслаждается контекстом, чеканной строкой. Жаворонок поет, привлекая внимание кувшинки, маленькой ивы, горечавки, скрипача-сверчка, вокалистки-мухи, горниста-жука, басиста-пчелы, шмелей с контрабасами, которые сонастраиваются с пробуждающейся природой.

Поэтесса-бидермейерист с удовольствием повторяет идиллические мотивы («мир», «покой», «нежный»), детализированно изображает природу. Весь лирический цикл «Картины пустоши» включает в себя стихотворения с идиллическим хронотопом — ландшафтом, вызывающим ощущение ликования, блаженства, покоя (“Kinder am Ufer”, “Die Steppe”, “Die Krähen”, “Der Heidemann”, “Das Haus in der Heide” и др.). Даже стихотворение “Die Jagd” живописует блаженную победу благих сил над хищником. Любимую «пустошь» поэтесса изображает как родной малый мир, дробная картина которого оцельнена бидермейеризмом, любящим взглядом желающей безмятежности лирической героини.

Тяготение Эдуарда Мёрике к идиллии столь же велико. Так, в идиллии «Зимним утром. Перед рассветом» (“An einem Wintermorgen. Vor Sonnenaufgang”), включенной в книгу стихов 1838 года и написанной сверхдлинными строками (признак идиллии), лирический герой Мёрике восхищается «пушистым светом раннего утра», которое светится нежным удовольствием от существования любящегося им человека. Какой мир открывает внутри лирического героя картина прекрасного утра? Он полон волшебства, неги. У Мёрике здесь наблюдается перешлетение мифологических и христианских мотивов. Лирический герой ликует в предчувствии звуков пастушьей флейты, «как вокруг яслей той чудесной ночи». Скоро зазвучат радостные песни молодости, окутанные вином. Как видим, признаки идиллии сгущаются до прямых пасторальных мотивов, которые неожиданно сливаются с рождественскими. Душа летит до неба, внутри человека ликует гений. «Гений ликует во мне» (“Der Genius jauchzt in mir!”), — проникновенно пишет Мёрике. Глагол *jauchzen* («ликовать») — высокочастотный для немецкого поэта-бидермейериста и столь редкий у романтиков. Мёрике ис-



пользует мотивы для создания пейзажа, вызывающего ликование читателя. Как Бог, день в прыжке начнет свой королевский полет. Сквозь стихотворение, повторяясь, проходят символы *die Seele* (душа), *der Himmel* (небо), *der Traum* (сон, мечта). Душа человека, любующегося утренним светом, уподобляется кристаллу, в который пока не ударил ни один ложный луч. Эдуард Мёрике — один из наиболее нежных и благодарных Богу за сотворенный мир поэтов. Его идиостиль словно создан для того, чтобы нежить читателя восторгом, лаской, благодарностью.

Идиллия Мёрике облучает другие его лирические стихотворения — его поэтические молитвы и стихотворения с христианскими мотивами (в финале сливающиеся с идиллией, как, например, стихотворение с эпиграфом из апостола Павла «Стихии» (“Die Elemente”), начавшееся драматически и завершившееся идиллической разрядкой, в которой жизнь проходит перед человеком, словно сотканная из ночи и ароматов; светлым взглядом он движется вверх, потому что странствует в кристальной ясности), баллады, стихотворения, которые могли родиться элегиями. Возникают оптимистические концовки лирических и балладных сюжетов, идиллические мотивы, ликующая тональность. К примеру, «Веселая гостиница. Баллада для пения за вином» (“Lustige Wirtshaus, Ballade, beim Weine zu singen”) озарена идиллическим ликованием, усиленным вином, лишена трагического чудесного элемента, ее персонажи (среди которых пастух) поют и танцуют, играют на цитре, цимбалах, шалмее (“Ich spiele die Zither, das Hackbrett zum Tanz, Mein Liebster, der spielt die Schalmei” (Mörike 1838, S. 171)). Баллада полна ликующих восклицаний, исполняемых хором (“Heida! sa sa! Dein Liebster, der spielt die Schalmei”). «Сказки о моряке и русалке. Из хора о семи русалках» (“Schiffer- und Nixen-Märchen. Vom Sieben-Nixen-Chor”) изображают красивейших персонажей, которыми постоянно восхищается рассказчик, дракон здесь сладко пропевает волшебные звуки, тон повествования, в отличие от ряда жестоких немецких сказок, легкий, задорный, в произведении неустанно прославляется несущая добро детская сказка.

У Мёрике есть и более поздние идиллии — к примеру, «В винограднике» (“Im Weinberg”, 1856). В этом стихотворении поэт сочетает идиллику бидермейера с уходящей в глубинный подтекст религиозной темой защищенности человека Богом, восхищения сотворенным миром: мотылек принимает Библию за цветок. Однако большинство проанализированных стихотворений относится ко времени влияния бидермейера.

## 5. Бидермейер и идиллия: зоны совпадения

Основные черты жанра идиллии в высоком бидермейере не только сохраняются, но и подчеркиваются. Развитие бидермейера завершается пародийными идиллиями. Когда жанр освистывается пародией, это означает смещение жанра в периферию литературного процесса. Ав-



тор теории смещения жанра Ю. Тынянов утверждал: «...жанр *смещается*; перед нами ломаная линия, а не прямая линия его эволюции — и совершается эта эволюция как раз за счет “основных” черт жанра...» (Тынянов 1977, с. 169).

У относящихся (в разной степени) к высокому бидермейеру Аннетте Дросте-Хюльсхофф, Эдуарда Мёрике, Адельберта фон Шамиссо, Фридриха Хальма, Вильгельма Миллера, Йозефа Виктора фон Шеффеля есть общая черта — активный интерес к жанру идиллии в поэзии сразу на начале творческого пути и (или) идиллическому хронотопу или локусу в эпических или драматических произведениях, окрашенность творчества бидермейеризмом.

Почему идиллия в бидермейере отказывается от романтического наполнения? Это связано, во-первых, с некоторым возвращением идиллии к предыдущим стадиям развития — сентиментализму и Просвещению, во-вторых, в желании удержаться от размывания жанровых границ и ассимилирующей идиллию диффузии. Бидермейер хронологически «накладывается» на романтизм и постромантизм, создавая эклектику черт, идущих от Просвещения, сентиментализма, романтизма, постромантизма, но противостоит всем этим явлениям, особенно принципиально — романтизму с его исключительным человеком. Бидермейер существенно отличается от романтизма и не совпадает с ним: вместо безумной любви — любовь семейная, вместо бурных страстей — повседневные переживания, вместо исключительного романтического героя — обыкновенный человек со скромными запросами, покорностью судьбе, чувством меры.

К чертам бидермейера Г.А. Лошакова относит «особое ощущение жизни, которое связано с исторической сутью и бытовым укладом эпохи Реставрации», «ощущение защиты, закрытости от мира и его угроз» (2014, с. 15–16), «усредненность» искавших спокойствие, гармонию и красоту литературных героев, стремление к точному отображению материального мира с различных сторон и под различным углом зрения. А в качестве одной из центральных характеристик Г.А. Лошакова называет изображение ландшафта, «привязанность» (Landschaftsgebundenheit) к нему, из которой рождается идиллическое начало (Там же, с. 16), или, по Е.Р. Ивановой, «малый круг бытия» с его дробной картиной и бытовой ценностью вещи (2008). Опозиция «идиллия домашнего очага / внешний социальный мир» решается в пользу безмятежности. Черты как высокого бидермейера, так и идиллии — уход от «мировой скорби» элегии, современных общественных проблем в узкий мир семьи и друзей в деревню на лоно природы, эскапизм, внимание к малому во всем — от примет родной местности до нюансов переживаний. На смену сентиментальности приходит религиозность. Предпочтительны вариации одной темы (Иванова 2013, с. 77–79). Гармония между субъектом и объектом, совмещение внутренних границ «я» с внерольевыми событийными внешними границами в идиллии и идиллике (В.И. Тюпа) не допускает трагизма. Задача бидермейера и идиллии —



гармонизация внутреннего и внешнего на всех уровнях художественного текста. Названные исследователями признаки высокого бидермейера совпадают с жанровыми признаками идиллии. Константой и жанра идиллии, и высокого бидермейера является безмятежная тональность и природный локус (или хронотоп) безмятежности. Парадоксальным образом эта константа подразумевает и трагизм, и драматизм, тщательно избегая их. Эстетика эскапизма затем прорывается и позволяет пробиться этим типам эстетического завершения в полномкровном явлении бидермейера.

## 6. Заключение

Резюмируем результаты наблюдений. Бидермейер, который считали эпохой, направлением, стилем, в его варианте «высокий бидермейер» можно трактовать и принципиально ново — как необычный виток в судьбе жанра идиллии и идиллического модуса. Автор статьи переосмысливает статус этого литературного явления, которое на старте распространяется на часть поэзии. Обладая жанровым канонам, идиллия была способна противостоять романтической жанровой диффузии в первой четверти XIX века, но для этого ей нужно было создать разновидность — идиллию бидермейера, пропитаться бидермейеризмом. Богатые возможности это литературное явление на ранней стадии развития увидело в каноническом жанре немецкой идиллии, который стал одним из истоков высокого бидермейера и затем распространил свое влияние и на другие жанры, в том числе прозаические. Не бидермейер, рождаясь, сужается до идиллии, а идиллия расширяется до высокого бидермейера: возникая в идиллии, через этот жанр он начинает влиять на элегию, стихотворную молитву, балладу, а затем и на прозаические жанры, безусловно, преодолевая идиллию и обретая широкий диапазон модальностей и жанровых стратегий (трагизм, элегизм, драматизм и др.). Возникнув, высокий бидермейер, во-первых, лишает часть корпуса идиллии романтического посыла (концептуально противостоит романтизму и начавшемуся в нем размыванию жанровых границ, удерживая в своей власти канонический жанр идиллии) и содержания (идиллия усиливает сентиментально-мещанскую направленность); во-вторых, задерживает смещение идиллии в периферию литературного процесса, чему способствуют и события в Германии и Австрии. Высокий бидермейер не просто использует жанр идиллии в поэзии, но и изначально совокупностью признаков совпадает с ним. Таким образом, один из истоков высокого бидермейера — это, по всей вероятности, инерция канонического жанра идиллии, его разрастание, диффузия с другими жанрами и облучающее влияние на лирические, эпические и драматические жанры.

В перспективе исследования — дальнейшая разработка поставленной в статье проблемы, анализ немецкой идиллии в контексте высокого бидермейера.



### Список источников и литературы

Аверинцев, С. С., 1986. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации. *Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения*. М., с. 104–116. [Averintsev, S. S., 1986. Historical mobility of the genre category: the experience of periodization. In: *Istoricheskaya poetika: itogi i perspektivy izucheniya* [Historical poetics: results and prospects of study]. Moscow, pp. 104–116 (in Russ.).]

Аникина, Т. А., 2016. Международный научно-исследовательский семинар «Славянский бидермейер и его европейские контексты». *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Сер. 9, 2, с. 172–174. [Anikina, T. E., International Seminar “Slavic Biedermeier and its European context”. *Vestnik SPbSU. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism*, 2, pp. 172–174 (in Russ.)] EDN: XDCDKN, <https://doi.org/10.21638/11701/spbu09.2016.216>.

Анисимова, А. Н., 2017. Генезис и развитие жанра идиллии в Германии первой половины XVIII в. (от И. Х. Готшеда до М. Мендельсона). *Научный диалог*, 2, с. 101–114. [Anisimova, A. N., 2017. The genesis and development of the idyll genre theory in Germany in the first half of the 18th century (from I. H. Gushed to M. Mendelssohn). *Nauchnyy dialog*, 2, pp. 101–114 (in Russ.)] EDN: XYGEGB, <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2017-2-100-114>.

Бахтин, М. М., 1975. *Вопросы литературы и эстетики*. М. [Bakhtin, M. M., 1975. *Voprosy literatury i estetiki* [Questions of literature and aesthetics]. Moscow (in Russ.).]

Березина, А. Г., ред., 2005. *История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария: учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений*. СПб.; М. [Berezina, A. G., ed., 2005. *Istoriya zapadnoevropeiskoi literatury. XIX vek: Germaniya, Avstriya, Shveysariya: uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh fakul'tetov vysshikh uchebnykh zavedenii* [The history of Western European literature. XIX century: Germany, Austria, Switzerland: a textbook for students of philological faculties of higher educational institutions]. St. Petersburg; Moscow (in Russ.).]

Берковский, Н. Я., 2001. *Романтизм в Германии*. СПб. [Berkovsky, N. Ya., 2001. *Romantizm v Germanii* [Romanticism in Germany]. St. Petersburg (in Russ.).]

Бройтман, С. Н., 2001. *Историческая поэтика*. М. [Broitman, S. N., 2001. *Istoricheskaya poetika* [Historical poetics]. Moscow (in Russ.).]

Быченко, С. В., 2000. *Жанр идиллии в русской романтической поэзии первой трети XIX века*: дис. ... канд. филол. наук. М. [Bychenkova, S. V., 2000. *Zhanr idillii v russkoi romanticheskoi poezii pervoi treti XIX veka* [The genre of idyll in Russian romantic poetry of the first third of the 19th century]. PhD Dissertation. Moscow (in Russ.).]

Веселовский, А. Н., 1989. *Историческая поэтика*. М. [Veselovsky, A. N., 1989. *Istoricheskaya poetika* [Historical poetics]. Moscow (in Russ.).]

Дарвин, М. Н., Магомедова, Д. М., Тамарченко, Н. Д., Тюпа, В. И., 2011. *Теория литературных жанров*. Н. Д. Тамарченко, ред. М. [Darwin, M. N., Magomedova, D. M., Tamarchenko, N. D. and Tyupa, V. I., 2011. *Teoriya literaturnykh zhanrov* [Theory of literary genres]. N. D. Tamarchenko, ed. Moscow (in Russ.)] EDN: QWGNLL.

Дмитриева, А., ред., 1986. *История немецкой литературы: в 3 т. Т. 2*. М. [Dmitrieva, A., ed., 1986. *Istoriya nemetskoj literatury: v 3 t. T. 2*. Moscow (in Russ.).]

Иванова, Е. Р., 2006. К вопросу о «русском бидермейере». *Филологические науки*, 6, с. 33–38. [Ivanova, E. R., 2006. On the issue of the “Russian Biedermeier”. *Filologicheskie nauki* [Philological sciences], 6, pp. 33–38 (in Russ.)] EDN: HVTJCB.

Иванова, Е. Р., 2008. Поэзия А. Дросте-Хюльсхофф в контексте литературы бидермейера. *Вестник Челябинского государственного университета*, 16, с. 74–80.



[Ivanova, E. R., 2008. The poetry of A. Droste-Hulshoff in the context of Biedermeier Literature. *Bulletin of Chelyabinsk State University*, 16, pp. 74–80 (in Russ.)] EDN: MUF RDH.

Иванова, Е. Р., 2009. Традиции литературы «высокого» бидермейера в лирике Й. В. Шеффеля. *Вестник Пермского университета*, 1, с. 55–60. [Ivanova, E. R., 2009. Literary traditions of “high” Biedermeier in J. Sheffel's lyrics. *Vestnik Permskogo universiteta* [Perm University Herald], 1, pp. 55–60 (in Russ.)] EDN: JXOQCZ.

Иванова, Е. Р., 2013. Предметный мир в поэзии Эдуарда Мёрике. *Вестник Удмуртского университета*, 4, с. 88–92. [Ivanova, E. R., 2013. The world of things in the poetry of Edward Merike. *Bulletin of Udmurt University*, 4, pp. 88–92 (in Russ.)] EDN: RYDCRV.

Лосев, А. Ф., 1973. О понятии художественного канона. *Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки*. М., с. 6–15. [Losev, A. F., 1973. On the concept of the artistic canon. In: *Problema kanona v drevnem i srednevekovom iskusstve Azii i Afriki* [The problem of canon in the ancient and medieval art of Asia and Africa]. Moscow, pp. 6–15 (in Russ.)].

Лошакова, Г. А., 2014. Художественная проза бидермейера в Австрии: жанры и поэтика: дис. ... д-ра филол. наук. Нижний Новгород. [Loshakova, G. A., 2014. *Khudozhestvennaya proza bidermeiera v Avstirii: zhanry i poetika* [Biedermeier prose in Austria: genres and poetics]. PhD Dissertation. Nizhniy Novgorod (in Russ.)] EDN: VNEAJN.

Михайлов, А. В., 1983. Диалектика литературной эпохи. *Контекст 1982. Литературно-теоретические исследования*. М., с. 99–135 [Mikhailov, A. V., 1983. Dialectics of the literary epoch. In: *Kontekst 1982. Literaturno-teoreticheskie issledovaniya* [Context 1982. Literary and theoretical studies]. Moscow (in Russ.)]

Михайлов, А. В., 1989. Диалектика литературной эпохи. *Переход от романтизма к реализму в литературах Европы*: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М. [Mikhailov, A. V., 1989. *Dialektika literaturnoi epokhi. Perekhod ot romantizma k realizmu v literaturakh Evropy* [Dialectics of the literary epoch. The transition from romanticism to realism in the literatures of Europe]. PhD thesis. Moscow (in Russ.)] EDN: XFDPKD.

Михайлов, А. В., 1997. *Языки культуры*. М. [Mikhailov, A. V., 1997. *Yazyki kul'tury* [Cultural languages]. Moscow (in Russ.)] EDN: SUMCQV.

Михайлов, А. В., 2000. Стиль и интонация в немецкой романтической лирике. *Обратный перевод*. М., с. 58–90. [Mikhailov, A. V., 2000. Style and intonation in German romantic lyrics. In: *Obratnyi perevod* [Reverse transfer]. Moscow, pp. 58–90 (in Russ.)] EDN: WTSMAD.

*Немецкая поэзия в переводах Елены Зейферт. Композитор и исполнитель Юрий Ваиханский (гитара). Худ. Ханс Винклер. Запись произведена в мае 2012*. М. [Nemetskaya poeziya v perevodakh Eleny Zeifert. Kompozitor i ispolnitel' Yurii Vaikhanskii (gitara). Khud. Khans Vinkler. Zapis' proizvedena v mae 2012 [German poetry translated by Elena Seifert. Composer and performer Yuri Vaikhansky (guitar). Artist Hans Winkler. The recording was made in May 2012]. Moscow (in Russ.)].

Полубояринова, Л. В., 1995. «Кроткий закон» А. Штифтера и культура бидермейера. *Литература в контексте художественной культуры*. Вып. 2. А. М. Фурсенко, ред. Новосибирск, с. 39–49. [Poluboyarinoва, L. V., 1995. A. Stifter's “Gentle Law” and Biedermeier culture. In: A. M. Fursenko, ed. *Literatura v kontekste khudozhestvennoi kul'tury* [Literature in the context of artistic culture]. Issue 2. Novosibirsk, pp. 39–49 (in Russ.)].

Полубояринова, Л. Н., 2001. Литература эпохи Реставрации (Германия). Высокий бидермейер. «Предмартовская литература». Литература эпохи Реставрации (Австрия). Швейцария: основные тенденции развития литературы в XIX веке. *История зарубежной литературы XIX века: учебник*. Е. М. Апенко, ред. М., с. 45–74, 373–380, 405–411. [Poluboyarinoва, L. N., 2001. Literature of the Restoration pe-



riod (Germany). The high Biedermeier. "Pre-March literature". Literature of the Restoration period (Austria). Switzerland: the main trends in the development of literature in the 19th century. In: E. M. Apenko, ed. *Istoriya zarubezhnoi literatury XIX veka: uchebnyk* [The history of foreign literature of the 19th century: textbook]. Moscow, pp. 45–74, 373–380, 405–411 (in Russ.).

Полубояринова, Л. Н., Войтех, М., Ярош, И. и др., 2016. *Бидермейер в славянском и европейском контексте*. СПб. [Poluboyarinova, L. N., Voitek, M., Yarosh, I. et al., 2016. *Biedermeier in Slavic and European context*]. St. Petersburg (in Russ.) EDN: VWJGZV.

Романова, Л. В., 2011. Венский бидермейер и альбом из Гавриловки. *Дискуссия*, 7, с. 49–54. [Romanova, L. V., 2011. Vienna Biedermeier and the album from Gavrillovka. *Diskussiya* [Discussion], 7, pp. 49–54 (in Russ.)] EDN: OWDIHF.

Синило, Г. В., 2014. Пасторальная топика в немецкой мистической поэзии XVII века. *Пастораль вчера, сегодня, завтра*. Т. В. Саськова, ред. М.; Edinburgh, с. 13–23. [Sinilo, G. V., 2014. Pastoral topics in German mystical poetry of the 17th century. In: T. V. Saskova, ed. *Pastoral' vchera, segodnya, zavtra* [The pastoral of yesterday, today, tomorrow]. Moscow; Edinburgh, pp. 13–23 (in Russ.)] EDN: IZSTJJ.

Тамарченко, Н. Д., ред., 2004. Жанр. *Теория литературы: учебное пособие для студентов филологических факультетов высших учебных заведений: в 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика*. М., с. 361–408. [Tamarchenko, N. D., ed., 2004. Genre. In: *Teoriya literatury: uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh fakul'tetov vysshikh uchebnykh zavedenii: v 2 t.* [Theory of literature: a textbook for students of philological faculties of higher educational institutions: in 2 volumes]. Vol. 1: Theory of artistic discourse. Theoretical poetics. Moscow, pp. 361–408 (in Russ.).]

Тарасов, Ю. А., 1990. Бидермайер в немецко-австрийской живописи романтического и послеромантического времени. *Проблемы изобразительного искусства XIX столетия: межвуз. сб.* Вып. 4. Л., с. 69–82. [Tarasov, Yu. A., 1990. Biedermeier in German-Austrian romantic and post-Romantic painting. In: *Problemy izobrazitel' nogo iskusstva XIX stoletiya: mezhvuzovskii sbornik* [Problems of fine art of the 19th century: interuniversity collection]. Iss. 4. Leningrad, pp. 69–82 (in Russ.)] EDN: SNPFPH.

Тынянов, Ю. Н., 2002. Литературный факт [1977]. *Поэтика. Литературная эволюция. Избранные труды*. М., с. 167–188. [Tynyanov, Yu. N., 2002. A literary fact [1977]. In: *Poetika. Literaturnaya evolyutsiya. Izbrannye trudy* [Poetics. Literary evolution. Selected works]. Moscow, pp. 167–188 (in Russ.).]

Фрейденберг, О. М., 1997. *Поэтика сюжета и жанра*. М. [Freudenberg, O. M., 1997. *Poetika syuzheta i zhanra* [The poetics of plot and genre]. Moscow (in Russ.)] EDN: QZNKEL.

Berkhout, A. P., 1942. *Biedermeier und poetischer Realismus: Stilistische Beobachtungen über Werke von Grillparzer, Mörike, Stifter, Hebbel und Ludwig*. Purmerend.

Bietak, W., 1931. *Das Lebensgefühl des "Biedermeier" in der österreichischen Dichtung*. Wien.

Böschstein-Schäfer, R., 1977. *Idylle*. Stuttgart.

*Bürgerliche Idylle. Studien zu einer literarischen Gattung des 18 Jahrhunderts am Beispiel von Johann Heinrich Voß*, 1975. Bonn.

Droste-Hülshoff, A., 1844. *Gedichte*. Stuttgart.

Geismeyer, W., 1979. *Biedermeier*. Leipzig.

*Idyllen der Deutschen. Texte und Illustrationen*, 1978. Frankfurt a/M.

Jansen, J., 1982. *Einführung in die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts*. Opladen. Bd. 1: Restaurationszeit (1815–1848).

Kalthoff-Ptikar, C., 1988. *Annete von Droste-Hülshoff im Kontext ihrer Zeit*. Frankfurt a/M.

Kluckhohn, P., 1974. Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung. In: E. Neubuhr, hrsg. *Begriffsbestimmung des literarischen Biedermeier*. Darmstadt, S. 100–145.



- Mayer, M., 2004. Die Idylle, der Boden und der See: Zu hermeneutisch-poetologischen Problemen bei Mörike. In: W. Braungart und R. Simon, hrsg. *Eduard Mörike: Ästhetik und Geselligkeit*. Tübingen, S. 239 – 254.
- Meyer-Guyer, K., 1977. *Eduard Mörikes Idyllendichtung*. Zürich.
- Mörike, E., 1838. *Gedichte*. Stuttgart.
- Mörike, E., 1846. *Idylle vom Bodensee oder Fischer Martin und die Glockendiebe: in 7 Gesängen*. Stuttgart.
- Neubuhr, E., 1974. *Begriffsbestimmung des literarischen Biedermeier*. Darmstadt.
- Politzer, H., 1972. *Mythos und Psychologie. Das goldene Vliess. Franz Grillparzer oder das abgründige Biedermeier*. Wien; Zürich; München.
- Schneider, H.J., 2004. Vom Zünden der Tradition. Märchen, Idylle und lyrisches Subjekt in Mörikes 'Wald-Idylle'. In: W. Braungart and R. Simon, hrsg. *Eduard Mörike: Ästhetik und Geselligkeit*. Tübingen, S. 221 – 238.
- Schueler, H.J., 1967. *The German verse epic in the nineteenth and twentieth centuries*. The Hague.
- Sengle, F., 1980. *Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815 – 1848: in 3 Bdn. Bd. 3: Die Dichter*. Stuttgart.
- Titzmann, M., hrsg., 2002. *Zwischen Goethezeit und Realismus: Wandel und Spezifik in der Phase des Biedermeier*. Tübingen.

### Об авторе

Елена Ивановна Зейферт, доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет; ведущий научный сотрудник, Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия.

ORCID ID: 0000-0001-8117-7091

E-mail: seifert.ei@rggu.ru

#### Для цитирования:

Зейферт Е.И. Роль канонического жанра идиллии в высоком бiedermeiere: к постановке проблемы // Слово.ру: балтийский акцент. 2025. Т. 16, №3. С. 205 – 223. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-13.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ  
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International Deed ([HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC/4.0/DEED.RU](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru))

## THE ROLE OF THE CANONIC GENRE OF THE IDYLL IN HIGH BIEDERMEIER: FORMULATING THE PROBLEM

Elena I. Seifert<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Russian State University for the Humanities,  
6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russia

<sup>2</sup> Moscow State Linguistic University,  
1 Ostozhenka St., Moscow, 119034, Russia

Submitted on 10.09.2024

Accepted on 15.04.2025

doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-13

*The article examines high Biedermeier in its rapprochement with the idyll genre based on the poetry of Annette Droste-Hülshoff and Eduard Mörike. The idyll is very influential and active in both poets. Biedermeier, which was considered an era, a trend, a style, in its variety,*



'high Biedermeier' at the start can be interpreted in a fundamentally new way – as an unusual turn in the fate of the idyll genre and the idyllic mode. The purpose of the article is to study the idyll as one of the sources of high Biedermeier. This problem is posed for the first time. The research methods are structural-descriptive and historical-typological. The phenomenon of Biedermeier is diverse, and the described character is inherent only to high Biedermeier. In the canonical genre of the German idyll, which spread its influence to other genres, including prose, writers saw a number of possibilities of the Biedermeier. Having begun to develop the idyll in their own way, they led the variety of the genre they created away from the romantic channel. One of the sources of the high Biedermeier is, in all likelihood, the active behaviour of the canonical genre of the idyll, its inertia, expansion, diffusion with other genres and radiating influence on the lyrical, epic and dramatic genres.

**Keywords:** high Biedermeier, idyll, Biedermeier poet, Annette von Droste-Hülshoff, Eduard Mörike

### The author

Dr. Elena I. Seifert, Professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; Leading Research Fellow, Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia.

ORCID ID: 0000-0001-8117-7091

E-mail: seifert.ei@rggu.ru

### To cite this article:

Seifert, E.I., 2025, The role of the canonic genre of the idyll in high Biedermeier: formulating the problem, *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 16, no. 3, pp. 205–223. doi: 10.5922/2225-5346-2025-3-13.



## ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «СЛОВО.РУ: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ»

### Правила публикации статей в журнале



1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. При отправке рукописи в редакцию журнала автор автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично без согласия редакции.

3. Рекомендованный объем статьи — до 1,5 п.л.; научного сообщения — до 0,5 п.л. (включая заглавие, аннотацию, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках).

4. Все присланные в редакцию рукописи проходят двойное «слепое» рецензирование, а также проверку по системе «Антиплагиат», по результатам чего принимается решение о возможности включения статьи в журнал. Уровень оригинальности авторских материалов по данным системы «Антиплагиат» должен составлять не менее 80 % (с учетом оформленного цитирования и самоцитирования).

5. Плата за публикацию рукописей не взимается.

6. Для рассмотрения редакционной коллегией статья может быть отправлена по электронной почте главному редактору либо ответственному редактору журнала. Также статья может быть подана на рассмотрение через электронную форму на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <http://journals.kantiana.ru/>

7. Решение о публикации (доработке, отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения.

### Комплектность и форма представления авторских материалов

1. Статья должна содержать следующие элементы:

- индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основные правила индексирования по УДК см.: <http://www.naukapro.ru/method.htm>);

- название статьи строчными буквами на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и summary на английском языке (200–250 слов); аннотация располагается перед ключевыми словами после заглавия, summary — после статьи перед references;

- ключевые слова на русском и английском языках (4–10 слов); располагаются перед текстом после аннотации;

- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, и references на латинице (Harvard System of Referencing Guide);

- сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках (Ф. И. О. полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, e-mail, контактный телефон, почтовый адрес места работы).

2. Оформление списка литературы.

- Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, приводится в конце статьи в алфавитном порядке без нумерации. Сначала пе-

речисляются источники на русском языке, затем — на иностранных языках. Если в списке литературы есть несколько публикаций одного автора одного года издания, то рядом с годом издания каждого источника ставятся буквы *a*, *b* и др. Например:

Брюшинкин В. Н. Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148 – 167.

Кант И. Прелегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht ; Boston ; L., 1992.

• Источники, опубликованные в интернет-изданиях или размещенные на интернет-ресурсах, должны содержать точный электронный адрес и обязательно дату обращения к источнику (в круглых скобках) по образцу:

Walton D.A. Reply to R. Kimball. URL: [www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf](http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf) (дата обращения: 09.11.2009).

### 3. Оформление references.

В английский блок статьи необходимо добавить список литературы на латинице (references), оформленный по требованиям *Harvard System of Referencing Guide*: сначала дается автор, затем год издания. В отличие от списка литературы, где авторы выделяются курсивом, в references курсивом выделяется название книги (журнала). В квадратных скобках дается перевод на английский язык названия указанного источника, если он издан не на латинице. Например:

**Книга на кириллице:** Borisov, K.G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovanija processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh sezazej v sovremennoj vseobshhej sisteme gosudarstvo* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern system of universal], Moscow, 363 p.

**Книга на латинице:** Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

**Журнальная статья на кириллице:** Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja priority mezhdunarodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of international scientific and technological cooperation between Russia], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available at: [www.iep.ru/files/text/policy/2010\\_5/dezgina.pdf](http://www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf) (accessed 08 April 2013).

**Журнальная статья на латинице:** Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

Более подробно с правилами составления references можно ознакомиться на сайте: [libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm](http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)

### 4. Оформление ссылок на литературу в тексте.

• Ссылки на литературу в тексте даются в круглых скобках: автор или название источника из списка литературы и через запятую год и (для цитаты) номер страницы: (Кант, 1994а, с. 197) или (Howell, 1992, p. 297).

• Ссылка на многотомное издание: автор или название источника из списка литературы, затем через запятую год, номер тома и номер страницы: (Шопенгауэр, 2001, т. 3, с. 22).

5. Предоставленные для публикации материалы, не отвечающие вышеизложенным требованиям, в печать не принимаются, не редактируются и не рецензируются.

## Общие правила оформления текста

Авторские материалы должны быть подготовлены *в электронной форме* в формате А4 (210 × 297 мм).

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате *doc* и *docx* (Microsoft Office).

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, размещена на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <https://journals.kantiana.ru/slovo/rules/>

## Порядок рецензирования рукописей

1. Все рукописи, поступившие в редколлегию, проходят двойное «слепое» рецензирование.

2. Главный редактор журнала определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования определяются с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии устанавливается:

а) соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;

б) насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли в данной области;

в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;

г) целесообразна ли публикация статьи с учетом имеющейся по данному вопросу литературы;

д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором;

е) рекомендуется (с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков) или не рекомендуется статья к публикации в журнале.

5. Текст рецензии направляется автору по электронной почте.

6. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, главный редактор журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование.

7. Статья, не рекомендованная к публикации хотя бы одним из рецензентов, к повторному рассмотрению не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычной почтой.

8. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией.

9. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный редактор информирует об этом автора и указывает сроки публикации.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение пяти лет.



1. The journal welcomes relevant and novel contributions. Articles submitted should include problem formulation, results, and conclusions and comply with the guide requirements.

2. Submitted materials should be original and not published elsewhere. Upon submitting an article to the journal, the author undertakes not to publish the article elsewhere, in whole or in part, without consent from the editorial board of the journal.

3. The recommended length of an article is 40,000 characters and that of a report is 20,000 characters with spaces, abstracts, keywords, and references in Russian and English.

4. All submitted contributions are subject to double-blind peer review and plagiarism scanning. The acceptable similarity index is below 20%.

5. There is no charge for publication.

6. To be considered by the editorial board, contributions are submitted via e-mail to the editor-in-chief or the publishing editor. Alternatively, authors can use the submission form on the IKBFU Journals website at <http://journals.kantiana.ru/>

7. The decision on the acceptance, improvement, or rejection of articles is made by the editorial board, following peer review and discussion.

### Article structure and style

1. Contributions should include:

- a Universal Decimal Classification index (UDC) most relevant to the topic of the article;

- the title of the article in English and Russian, all lowercase;

- abstracts in English and Russian (200–250 words); the abstract in Russian is placed after the title and before the keywords; the summary in English is placed after the body of the article and before the references;

- keywords in Russian and English (4–10 words); keywords are placed before the body of the article after the abstract;

- references in Russian prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 and Harvard-style references in the Latin script;

- a brief autobiographical note in Russian and English, including the full name(s), academic title(s), affiliation(s), e-mail address(es), phone number(s), and work address(es) of the author(s).

2. References.

- References prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 are given at the end of the article in alphabetical order, unnumbered. Sources in Russian are listed first, followed by those in foreign languages. If works that have the same author and were written in the same year are cited, a lowercase letter (*a*, *b*, etc.) should be used after the date to differentiate between the works. For example:

*Брюшинкин В.Н.* Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148–167.

*Кант И.* Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht; Boston; L., 1992.

- If an online source is cited, the reference should include the exact URL for the article and the date of accession, parenthesised. For example:

Walton D. A. Reply to R. Kimball. URL: [www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf](http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf) (accessed 09.11.2009).

### 3. References in the Latin script.

The English-language part of the article should contain Harvard-style references in the Latin script: name of the author(s) followed by the year of publication. The title of the book (journal) should be italicised. If a work has not been published in a language using the Latin script, an English translation of the title should be provided in brackets. For example:

**Cyrillic-script book:** Borisov, K. G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovanija processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh sojazej v sovremennoj vseobshnej sisteme gosudarstv* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern universal system of states], Moscow.

**Latin-script book:** Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

**Cyrillic-script article:** Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja prioritety mezhdunarodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of Russia's international scientific and technological cooperation], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available from: [www.iep.ru/files/text/policy/2010\\_5/dezgina.pdf](http://www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf) (accessed 08 April 2013).

**Latin-script article:** Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

For more details on Harvard-style referencing, see [libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm](http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)

### 4. In-text referencing.

- In-text references should be parenthesised and include the name(s) of the author(s), the year of publication, and the page number (for citations), separated by commas. For example: (Howell, 1992, p. 297).

- References to multi-volume works: the name(s) of the author(s), the year of publication, the volume number, and the page number, separated by commas (Schopenhauer, 2001, 3, 22).

5. A failure to meet the above requirements may result in the rejection of a manuscript.

## Formatting

Manuscripts should be submitted in an electronic format as an a4-size document (210 × 297 mm).

Contributions are accepted in the *doc* and *docx* formats only (Microsoft Office).

For more details on the text, table, and figure formatting and referencing, see the IKBFU Journals website at <https://journals.kantiana.ru/slovo/rules/>

## Peer review process

1. All submitted contributions are subject to double-blind peer review.
2. The editor-in-chief establishes whether submitted works fit the scope and comply with the standards of the journal and submits them for review to an expert with relevant qualifications, holding a doctoral or postdoctoral degree.
3. The review period is such as to ensure prompt publication of accepted articles.
4. The review establishes:
  - a) whether the content of the article corresponds to its title;
  - b) whether the contribution is in line with the latest findings in the field;
  - c) whether the language, style, and layout of the text, tables, diagrams, figures, and formulae make the work clear to readers;
  - d) whether the article contains original research;
  - e) what the strengths and weaknesses of the article are and what improvements should be made;
  - f) whether the manuscript is suitable for publication in the journal.
5. The review is sent to the author via e-mail.
6. If a reviewer recommends reworking the article, these recommendations are sent to the author with suggestions for revision. The author(s) has(ve) the right to defend his/her(their) position. A revised article is resubmitted for review.
7. An article that has been rejected by at least one reviewer cannot be resubmitted. The text of a negative review is sent to the author via e-mail, fax, or regular mail.
8. A positive review is a necessary but not sufficient condition for publication. A final decision is made by the editorial board.
9. If a positive decision is made, the publishing editor notifies the author(s) and inform him/her(them) of the publication date.
10. The editorial board keeps reviews for five years.

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:  
BALTIC ACCENT

2025

Том  
Vol. 16

№ 3

ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: PRAGMALINGUISTICS:  
В ПОИСКАХ СИНТЕЗА IN SEARCH OF SYNTHESIS  
СЛОВО — КУЛЬТУРА — ЭПОХА WORD — CULTURE — EPOCH

Редактор *И. О. Дементьев*. Корректор *П. С. Шербаков*  
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Copy-edited by *I. Dementev, P. Shcherbakov*  
Layout by *G. Vinokurova*

Подписано в печать 15.08.2025 г.  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 20,1  
Тираж 300 экз. (1-й завод — 40 экз.). Заказ 79  
Свободная цена

Signed 15.08.2025  
Page format 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Reference printed sheets 20,1  
Edition 300 copies (first print: 40 copies). Order 79  
Free price

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта  
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14

Immanuel Kant Baltic Federal University Press  
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russia